

**Н О В Ы Й**

**М И Р**

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И**

**ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ**

**Ж У Р Н А Л**

**К Н И Г А**

**В О С Ь М А Я**

**А В Г У С Т**

---

**М О С К В А**  
4 • 9 • 3 • 1

Уполномоченный Главлита В 4608.

СТАТ-формат В/5 176 × 250

---

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова. «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Москва.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Вл. ЛИДИН. — Зимний ветер, повесть. . . . .	5
2. Бор. ПАСТЕРНАК. — Новые стихи. . . . .	40
3. Петр ШИРЯЕВ. — Земля рассказ. . . . .	45
4. Лев НИКУЛИН. — Записки спутника, воспоминания, продолжение. . . . .	53
5. Арк. СИТКОВСКИЙ. — Стихотворение. . . . .	80
6. Корн. ЗЕЛИНСКИЙ. — Колхозные страницы. . . . .	81
7. Алексей ТОЛСТОЙ. — Черное золото, роман, продолжение. . . . .	90
8. Мих. РУДЕРМАН. — Стихотворение. . . . .	108

### ЛЮДИ и ФАКТЫ.

9. Вяч. ПОЛОНСКИЙ. — Магнитострой, очерк с иллюстрациями. . . . .	109
10. Всеволод ЛЕБЕДЕВ. — Санчихеза, очерк с иллюстрациями. . . . .	152

### НАУКА и ЖИЗНЬ.

11. Н. МЕЦЕРЯКОВ. — О социалистических городах СССР. . . . .	161
--	-----

### ЛИТЕРАТУРА и ИСКУССТВО.

Иин. ОКСЕНОВ. — Монстры и натуралии Юрия Тынянова. . . . .	175
13. К. ЛОКС. — В лаборатории Достоевского. . . . .	180
14. Авг. РАШКОВСКАЯ. — Литература молодой Германии. . . . .	185

### ЗА РУБЕЖОМ.

15. Карл РАДЕК. — Брюнинг — паук у пулемета. . . . .	188
16. А. ИВИН. — Борьба двух миров. . . . .	193

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

Ю. ДОБРАНОВ. — Альманах «Земля и фабрика». . . . .	200
Арк. ГЛАГОЛЕВ. — Иван Шухов «Горькая линия». . . . .	201
Н. ТАРАСОВ. — Василий Каменский «Путь энтузиаста». . . . .	201

Дм. ГЕЛЬМАН. — Валерий Пушкин «Весна трех» . . . . .	202
К. ЛОКС. — Жюль Мэни «Сокровища града Китежа» . . . . .	202
Борис А. — И. Гриневский «Железо и хлеб» . . . . .	202
И. ШОРИН. — И. Экслер «Гренландские гости» . . . . .	203
Инн. ОКСЕНОВ. — Альберт Готопп «Баркас Ли Г. Ф. 13» . . . . .	203
Э. МУР. — Теодор Пливье «Кули кайзера» . . . . .	204
Н. МОИСЕЕВ. — Л. Мышковская «Работа Толстого над произведениями» .	205
Н. ПРЯНИШНИКОВ. — «Поп и мужик» . . . . .	206
КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА ОТЗЫВ. . . . .	208

# Зимний ветер

Повесть <sup>1)</sup>

Вл. ЛИДИН

В половине восьмого приходит молочница и оставляет у дверей молоко. Во дворе противоположного дома уже прогремели тяжелые кони, вывозя пустую посуду из-под минеральной воды. Жалюзи окон на улице Понсо давно подняты. Бернар Давид межит на широкой постели под балдахином, на которой тридцать два года супружеской жизни, затем вдовства спал отец. Будильник срывается и начинает рычать. Утренний сон под балдахином испорчен. Рука в полосатом рукаве ночной пижамы шарит по столику. Дымок сигареты поднимается кверху. Улица Понсо гремит подводами и грузовыми автомобилями. Конечно отец давно мог бы позволить себе переехать куда-нибудь на менее дрянную и прозаическую улицу. Но он ценил привычки дорожке удобства, как всякий истинный француз. Впрочем, пришлось, повидимому, время подыскать жилище более достойное. Бернар Давид скашивает глаза на портрет в золоченой рамке на ночном столике. Разумеется, в его положении могли бы быть перспективы более деловые... но он любит девушку — и это главное. Галльская кровь подарила миру романтику. В его бюро заведется друг, которому он сможет доверить дело. Она зайдет в его комнату и населит ее улыбками. Еще четверть часа мечтаний. Бернар Давид начинает потягиваться под одеялом. «Алис!» — говорит он вслух. Предметы расплываются и долго не могут обрести привычных очертаний.

Улица Понсо не располагает к любви. Она гремит и грохочет, как поезд. Пора, пора покидать насиженное отцовское гнездо! Зеркало шкафа отражает его фигуру в полосатой пижаме. Взбитая пена одевает его подбородок и щеки. Лопаточка безопасной бритвы привычно ходит по ним. Затем немножко умывания — сполоснуть сон с лица, распилить тугие волосы пробором, пригладить их щеткой. Несколько движений рукой, и серая перламутровая бабочка галстука садится под подбородком. Жалюзи уползают кверху. В окне противоположного дома висит перина, проветриваемая после ночи. Нет, улица Понсо, баюкавшая его детство, останется ему дорога только по воспоминаниям! Эта ежедневная перина, которая глядит на него красными полосами своего десятилетнего существования. Мадам Моро, вдова владельца картографического заведения, спит на ней. Когда-то он сам учился географии по этим картам! Он макает рогульку круассана в кофе.

Без четверти девять Бернар Давид сворачивает уже с улочки Понсо на Севастопольский бульвар по дороге к бюро. Надо дать объявление в газету. Отличная деловая квартира на улице Понсо, в центре Парижа. Сам же он подыщет где-нибудь подальше, где больше простора, немножко зелени и где жизнь несравненно дешевле, чем в центре. Он покупает сразу три газеты, чтобы просмотреть объявления о сдаче квартир. Дверь несгораемого шкафа привычно вздыхает, открываемая его рукой. Приходящая работница уже обмахнула пыль метелкой из перьев. Утренняя почта лежит на столе. «Господину Бернару Да-

<sup>1)</sup> 3-я часть трилогии «Могилы неизвестного солдата». Первую и вторую части см. «Новый мир», кн.кн. 3 и 7.

виду, ювелиру». Он смотрит на белые и голубые конверты. Да, он уже не наследник, он преемник, владелец—Бернар Давид. Затем он вскрывает конверты. День проходит до завтрака не скучно и не торопливо. Он успевает ответить на письма, прочесть газеты, обвести красным карандашом подходящие объявления, принять двух клиентов, подвести итог торговым выкладкам за прошлый месяц. Зима наступает. Тяжелые дожди сменяются ледяною крупой по временам. Печи перестают согревать комнаты. В первом часу Бернар Давид закрывает бюро до двух часов пополудни. Деловой Париж устремляется завтракать. Здесь он готов оценить привычки отца. Восемнадцать последних лет в один и тот же час отец завтракал в одном и том же ресторане. У него было свое место — самое удобное место в углу. Он знал всех рестораторов, сменившихся за эти годы, все свойства и недостатки кухни, все блюда, которые готовились здесь отлично, и блюда, которые он никогда не заказывал. На крючке вешалки недостает знакомого котелка и ручки черного зонтика, висевших в этот час неизменно в течение восемнадцати лет. Крючок вешалки перешел к нему, к Бернару Давиду. Фетровая шляпа заполняет зияющую брешь во времени. Ресторан уже полон запахов и людей. Чиновники и служащие магазинов, мелкие владельцы торговых предприятий и ценители скромной, но хорошей, а главное недорогой кухни. Тесновато, и столик приходится разделять со случайными соседями. Но все лица знакомы, люди торопятся посмотреть меню, исписанное копировальными чернилами. Итак, неплохо салат латук с маслом и уксусом, хороший кусок телячьей грудинки и мисочку со свежей сметаной. Легкий и возвышенный завтрак. Бернар Давид заказывает гарсону и смотрит мечтательно в хмурое окно. Мимо окна торопятся люди. Алис... скоро они сядут друг против друга, чтобы разделить этот час завтрака. Она сама смастерит завтрак своими проворными руками. Под окном не будет греметь грубая и будничная улица Понсо... Потный гарсон расшвыривает тарелки с блюдами. Листья латука хрустят на зубах. Нет, парижане еще умеют брать жизнь! Он — парижанин, Бернар

Давид. Он родился, рос, развивался, стал наследником, женится в этом городе. Кусок телячьей грудинки попадаетея неважный. Близко к кости и много волокон. Его настроение начинает портиться. Он тщетно жует волокна, обсасывает кости, подбирает кусочками хлеба соус — и остается голоден. Взять еще что-нибудь, но это вопреки правилам и, кроме того, это не дело. Теленок — не курица, здесь не должно быть ошибки. Он просиживает лишние пять минут после завтрака, чтобы разошлись соседи по столу. Потом он говорит гарсону:

— Позовите патрона.

Хозяин является оживленный и любезный.

— Добрый день, мсье Давид, — приветствует он со своей приятной улыбкой. Его черные усики закручены в стрелки.

— К сожалению, телячью грудинку нельзя было есть, — говорит Бернар Давид грустно. — Это были кости без мяса.

Хозяин деловито оглядывает тарелку с остатками непрожеванных волокон.

— Теленок был не из важных, — говорит он конфиденциально. — Повар купил молочного теленка, которого поили вероятно водой. Зато на обед будут фазаны и заяц. Что бы вы предпочли? Я велю припасти для вас кусочек лучше.

— Я предпочел бы фазана, — отвечает Бернар Давид.

Ему грустно за самого себя, что он остался голоден. В сущности предвкушение завтрака сменилось разочарованием. В этом большом городе мелочи подстерегают, чтобы испортить настроение. Улыбка хозяина — равнодушная и пустая улыбка предпринимателя. Он покидает рестораник и безрадостно возвращается в свое бюро. С двух часов начинают приходиться клиенты. Приносят пустячки, вещицы, осыпанные розочками, цепочки и брошки. Бернар Давид разочарованно назначает цену, пожимает плечами, недовольно распахивается. Всё это вдовы или люди, потертые Парижем до лоска. Ему становится скучно. В конце концов портится все. Рестораторы перестают уважать постоянных клиентов. Владельцы домов равнодушны к обитателям, населяющим их владения. В

Париже стало слишком много случайных людей, случайных клиентов, случайных обитателей. Он подпирает голову и в десятый раз перечитывает объявления, которые утром обвел красным карандашом. Сигнальный звонок входной двери звонит. Бернар Давид откладывает газету. Вошедший долго и медленно проходит сквозь залу, отделяющую от бюро. Наконец он появляется в дверях. У него жалкий и потухший вид. Его щеки, втянутые отсутствием зубов, опали и вдавились в скулы. Седоватая борода торчит на его подбородке.

— Мсье? — говорит Бернар Давид.

Человек подходит к его столу и не решается сесть.

— У вас есть что-нибудь для продажи?

Человек печально качает головой.

— Нет, у меня ничего нет для продажи.

— Тогда что вам угодно?

Станный вид посетителя начинает его внезапно тревожить.

— Что вам угодно, я вас спрашиваю?

Человек как бы пробуждается от раздумья.

— Я обхожу ювелиров Парижа, — говорит он невесело. — Раз в неделю я имею отпускной день... но ювелиров в Париже так много, и никто ничего не знает. Теперь я пришел к вам.

Бернар Давид ощущает слабость. неподвижный взгляд посетителя, его седоватая неживая бородка, сквозь которую просвечивает подбородок... Ему становится не по себе.

— Зачем вы обходите ювелиров Парижа? — произносит он слабым голосом.

— Я ищу своего товарища... несколько месяцев назад он ушел продавать ювелиру протез и не вернулся. Никто не знает, куда он исчез. Ни один ювелир не видел его. Я обошел почти всех ювелиров на больших бульварах.

— Протез? — повторяет Бернар Давид.

— Да, мсье. Мой протез. Шесть золотых зубов и пластинка.

Он раскрывает свой опавший рот и показывает на черное пустое пространство. Бернар Давид сидит, откинувшись

на спинку кресла. Он не может оторвать своих рук от локотников.

— Откуда вы пришли... почему вы явились ко мне? — произносит он невнятно, прикованный к призраку.

Человек поднимает на него угаснувший взгляд.

— Я нахожусь в данное время в клинике на улице д'Алезиа, — отвечает он. — Но раз в неделю меня отпускают, потому что моя болезнь ни для кого не опасна.

Бернар Давид проводит рукою по лбу.

— В клинике на улице д'Алезиа? — повторяет он. — Но ведь это клиника для душев... для нервных больных?

— Да, мсье, это клиника для нервных больных.

Какие-то видения приближаются и отплывают вновь.

— Но почему же вы явились именно ко мне? — произносит он голосом, лишившимся обычного равнодушия.

— Я обхожу всех ювелиров. Сегодня я пришел к вам.

Он не жмет, этот потухший человек. В длинной цепи преступлений он завязан в жалкий узел чьей-то опытной посторонней рукой. На этот раз Бернар Давид впервые начинает ощущать страх. Кроме того, облик человека пробуждает в нем еще и другие мысли. Руки его наконец отрываются от локотников.

— Я никогда не видел вашего товарища, — произносит он торопливо. — В моем деле он не был. Попробуйте поискать его в другом месте.

Он сидит напряженно и ожидает, что посетитель начнет сейчас делать. Но человек стоит молча, опустив голову.

— Я так и думал, — говорит он наконец. — Вероятно я и не найду его. В Париже столько ювелиров, разве можно всех обойти!

Он надевает обеими руками кепку, поворачивается и уходит шаркающими шагами, позабыв проститься. Руки Бернара Давида дрожащими пальцами ощущают деревянную резьбу на локотниках. На лбу его лежит пот. Это был слабоумный, со всеми признаками человека, впавшего в тишину. В другие периоды он вероятно становится опасен и буен. Последствия? Следы шумной жизни? Пот продолжает выступать на его лбу. Алис... он срывает со стены

портрет в бронзовой рамке и смотрит на улыбающееся лицо. Может быть, он заболевает? Грипп, который так свирепствует в переходное время в Париже? Нет, это нервы. Он вытирает пот и ходит по своему бюро. Жалкая тень, бедный умалишенный. Почему именно сегодня, когда он так плохо настроен, тот явился к нему? Может быть, его подослали? Но хороша полиция, которая только хвастается своими успехами, но не умеет оберегать покоя людей! Он ударяет в окно, чтобы глотнуть воздуха. Париж, как обычно, громаден и равнодушен. Старые крыши, старые трубы, серые жалюзи, которые не пропускают света и любопытства в дома. В нем развилось слишком много преступлений после войны, он стал опасен — этот город! И он, Бернар Давид, сидит в своем бюро как бы на перекрестке всей этой нужды и страстей. Мимо него ежедневно проходят люди со своей нищетой. Самые опасные — нуждающиеся люди. Он хватается себя за пульс, за виски. Он болен. Его нервы ослабели. Алис!.. Он снова глядит на портрет. Еще утром мечтал он о том, как покинет надоевшую улочку Понсо, чтобы поселиться вдвоем где-нибудь на отдаленной и тихой улице. Ему становится жаль себя. Ко всему примешивается голод. Он вспоминает телячью грудинку. Эта белая мочала волокон, которую он жевал! Черные усики хозяина издевались над его грустью. Какое сердце может быть у ресторатора? Боже мой, какое сердце? Он закрывает бюро раньше обычного. Он решает навестить семью Давида, дяди, брата покойного отца. После смерти отца между ними произошло охлаждение... конечно, причина всему, что дядя рассчитывал на некоторую долю наследства. Но в конце концов кому мог все оставить отец, как не ему, сыну?

Он проходит бульвар до остановки автобуса. Дядя живет на другом берегу Сены, в тихом квартале Парижа. Бернар Давид хочет провести вечер в кругу близких. В минуты несчастий или сомнений человека всегда влечет к близким. Он сидит у окна автобуса и безрадостно смотрит на знакомые улицы. Им овладевает сонливость. Он очень устал. Он устал от этой шумной парижской жизни! Нам нужно отдохнуть, Алис, на ти-

хой улочке, где много зелени, где не гремят автобусы и трамваи... Потом проходит Сена, медлительная и запятнанная огнями. Он дремлет.

— Улица Монж! — произносит кондуктор.

Бернар Давид просыпается и соскакивает уже на ходу. Он стоит на тротуаре и смотрит автобусу вслед. Он болен... он проспал весь этот длинный путь сквозь Париж. Неужели дядя не поймет всего и не примет его как близкого в этот вечер, когда он так нуждается в сочувствии? Его резиновые ноги вяло несут его. Бернар Давид! Это вы ли, Бернар Давид, с вашим мужеством, с вашим правом на жизнь, в которую вы только-что вступили?.. Этьен Давид сидит дома без пиджака. Он подливает уксусу в стеклянную банку с маринованными корнишонами.

— Дядя... я пришел к вам, дядя! — говорит Бернар Давид и хватается обеими руками его волосатую руку.

Прием у невропатолога начинается в четыре часа. Его квартира в лучшей части Парижа, и из окна видны деревья парка, мокрые от дождя. В просторной приемной с разостланным розоватым ковром стоят старинные кресла, шезлонги и диванчики, обитые линиялым шелком. Их локотники оканчиваются золочеными головами баранов. На стенах несколько темных пейзажей достойной голландской школы и гигантские барометры восемнадцатого века. В приемную приводят молодого человека с парализованными ногами. Его поддерживают двое близких. Бернар Давид с тайным ужасом смотрит на его бледное лицо. Наследственность. Проклятая наследственность! Маятник тяжелых часов угрожающе ходит взад и вперед. Потом часы роняют четыре гулких меланхолических звука. В тот же миг двери в кабинет доктора Аляжуанина распахиваются, как бы приведенные в движение механизмом. Их распахнула невидимая рука, и они остаются торжественно открытыми. Бернар Давид несмело поднимается с кресла. Доктор Аляжуанин сидит за своим столом. Его вытянутые короткие руки величественны и неподвижны.

— Добрый день, господин доктор, — говорит Бернар Давид в дверях.



Рука отрывается от стола и делает плавный и значительный жест, указывающий на кресло. Необыкновенно черные усы доктора закручены в кольца. Его седые волосы курчавы, как шерсть пуделя. Он низкоросл и медлителен, чтобы скрыть величием движений недостаток роста. Потом он встает и задерживает шелковую портьеру на двери. Кабинет погружается в тайну. На столе доктора стоят бронзовые часы и две красные розы в стеклянном бокале. Бернар Давид смотрит на розы. Потом он часто мигает и начинает свою исповедь. Рука доктора Аляжуанина по временам тянется к усам и проверяет их кольца. Колокольчик часов вызванивает четверть. Наконец Бернар Давид умолкает.

— Когда вы предполагаете жениться? — спрашивает доктор Аляжуанин.

Он сидит попрежнему в кресле и не сделал ни одного лишнего движения.

— Я хотел бы жениться этой весной, — отвечает Бернар Давид, — если конечно не будет препятствий...

— Сон? Аппетит? — говорит доктор Аляжуанин величественно.

— Сон хороший. Отличный аппетит.

— Слабость? Утомление? Головные боли?

— Слабость и утомление бывают... особенно после смерти отца.

Доктор Аляжуанин закрывает глаза. Говорливость пациента мешает ему сосредоточиться. Бернар Давид умолкает.

— Будьте добры пройти в соседнюю комнату.

Он следует за посетителем. В соседней комнате, похожей на будуар, стоит шелковый диванчик времен Директории. Над ним — лампа под пышным розовым абажуром.

— Сядьте сюда, на этот диван. Снимите ботинок.

Бернар Давид начинает расшнуровывать ботинок. Потом он закладывает волосатую ногу с задранной штаниной на другую ногу. Доктор Аляжуанин достает молоточек. Удар по коленке. Нога делает попытку качнуться. Молоточек выстукивает.

— Наденьте ботинок, — говорит доктор Аляжуанин.

Потом он подводит его к окну, при-

крывает его глаза ладонями и поигрывает ими, следя за зрачками. Наконец он возвращается в свой кабинет и садится обратно за стол. Он величествен и медлителен. Бернар Давид ждет решения своей судьбы.

— Каждая шумная молодость, — начинает доктор Аляжуанин, — дает свои последствия. Это естественно, и в этом нет ничего, что бы мешало встретить зрелые годы с чувством особого опасения. В конце концов добрая половина мужчин имеет основания вспоминать о молодости. Конечно я бы не мог похвалить состояние ваших рефлексов. Но маленькие недостатки рефлексов и кое-какие незначительные последствия редко служат препятствием для супружеского счастья.

Он придвигает блокнот, ставит размашистый знак, похожий на дизел, и пишет на узкой полоске рецепт.

— Благодарю вас, господин доктор, — бормочет Бернар Давид. — Вы снова вернули мне бодрость. Надо сказать, что за последнее время мои нервы действительно не в порядке.

Доктор Аляжуанин выслушивает его благосклонно. Затем он поднимается и опирается короткими руками о стол.

— Сколько я обязан вам, господин доктор? — произносит Бернар Давид почтительно.

— Двести франков, мсье, — отвечает доктор Аляжуанин коротко.

Кровь сразу подступает к глазам Бернара Давида. Он ослышался.

— Виноват, господин доктор? — лепечет он.

— Двести франков, мсье, — повторяет тот учтиво и неумолимо.

У Бернара Давида даже пот выступает у корней волос. Он нащупывает рукою бумажник. Пятидесятифранковая приготовленная бумажка остается лежать в карманчике пиджака. Доктор Аляжуанин, опершись руками о стол, выжидает величественно и бесстрастно. Он принимает бумажки.

— Мерси, мсье, — говорит он и идет проводить до прихожей. Бернар Давид с трудом находит свою шляпу. Он надевает ее задом наперед. Английский замок двери щелкает. Сумрачная парадная с мраморными перилами и чашами на закругленьях. Он спускается по пер-

вому пролету и останавливается на площадке. Шарлатан, невежда, грабитель! Двести франков за болтовню, за ничтожный рецепт — с него, с парижанина! Может быть, он принял его за иностранца? Бандит, пудель, курчавая обезьяна! Он яростно переворачивает шляпу на своей голове. Зачем он пошел к нему, к этому прославленному шарлатану? Нервы, истерика — и все благодаря равнодушию полиции! Ему нужно было отправиться в префектуру и потребовать, чтобы опасных сумасшедших не выпускали на улицу. Хороши порядки в клинике на улице д'Алезия! Его начинает даже подташнивать от возмущения и ярости. Двести франков за полчаса пустой болтовни... зачем он сделал это, ради чего? Алис... Он начинает проникаться к ней недоброжелательством. Получите меня таким, каков я есть. Да, у меня была молодость! Плох тот мужчина, у которого не было молодости. Да, у меня были женщины! Укажите мне на такого мужчину, у которого не было женщин. В конце концов я вас беру ни с чем в свой дом. Я создам для вас жизнь. Если этого мало, поищите себе бродягу с рефлексами. Может быть, вы проживете с одним его рефлексами. Зачем он, Бернар Давид, женится? Мало ли женщин в Париже! Потомство? Хорошо, он обратит свое состояние в процентные бумаги и сожжет их накануне смерти, чтобы все исчезло вместе с ним, с Бернаром Давидом!

Лестница наконец кончается. Вестибюль торжественно освещен лимонным светом сквозь цветные высокие стекла. Холод ударяет в лицо. Бернар Давид в возбуждении идет по сумрачной улице. Париж на самом деле перестает принадлежать парижанам. Парижане должны ходить лечиться в шаритэ или в Дома милосердия. Он так и скажет Алис: не ты меня берешь в свой дом, а я тебя беру в свой дом. Люби меня таким, какой я есть. О, многие девушки охотно поменялись бы с тобою, дружок! Его ярость постепенно остывает. Им овладевает прежняя самоуверенность. Он даже слегка сдвигает на бок шляпу. Ему хотелось бы помахивать тростью и насвистывать. Вы слишком рано понадеялись, господа,

что Бернар Давид свернет с завоеванной им дороги жизни! Вчерашний вечер, проведенный у дяди с его корнишонами, кажется ему пресным и похожим на скучное отроческое посещение воскресной службы в церкви Сент-Жак. Нет, дорогой дядя Этьен, наследник все-таки он, Бернар Давид. Напрасные намеки и напрасные попытки ссылаться на дружбу с покойным отцом. Брат есть брат, а сын есть сын. Разводите корнишоны и негодуите. Можно было бы еще послать двадцать франков в конверте доктору Аляжуанину. Он приложил бы учтивое и язвительное письмо: «Двадцать франков для вас — это сумма, для меня же это не составляет разницы». Хотел бы он взглянуть на лицо этого белого пуделя, о!

— Пardon, — говорит он, толкая зазевавшегося человека. — Пardon!

Он шествует дальше, грудью вперед. Хорошо бы провести вечер так, чтобы забыть об этом вчерашнем сумасшедшем, о своем посещении доктора, о двухстах бессмысленно потерянных франках—обо всем, обо всем. Он стоит на углу и помахивает тростью. Потом он переходит улицу, чтобы отдохнуть от пережитого и обдумать все за столиком в кафе.

Небо над Елисейскими полями раскалывается вечерней зарей. Она кратковременна и посещает город украдкой. Триумфальная арка возникает налитая закатом. Розовый автомобиль уносится к Булонскому лесу. По дороге он синее и меркнет. Туча затягивает зарю. Потом зажигаются фонари. Синеватое пламя гробницы колышется и дышит. Эфроим Цаткин садится на скамейку напротив. Он достает из кармана хлеб и начинает равнодушно жевать. Крошки застревают в его бороде. К семи часам он должен возвратиться в клинику на улице д'Алезия. Утомление смежает его веки. Он закрывает глаза, его рот жуёт медленней. Потом он подвигается на скамейке. Евсей Давидовский садится с ним рядом. Его голубая шинель запачкана песком и землей. Он отпустил черную сквозную бородку. Знакомый пахучий дымок «капорала» плывет из его трубочки.

— Никто не видел Леру. Ни один ювелир на больших бульварах не пом-

нит, чтобы он приходил к нему.—Спинка скамейки врезается в утомленную шею.—Может быть, его ограбили и бросили в Сену?

—Может быть, его ограбили и бросили в Сену,—повторяет Евсей Давидовский.

—Или его арестовала полиция?

—Или его арестовала полиция.

—В следующий раз я пойду в префектуру и заявлю, что протез был мой.

—Может быть, лучше тебе не идти в префектуру?—говорит Евсей Давидовский.

—В самом деле, может быть, лучше мне не идти в префектуру. А жаль... как было бы отлично, если бы мы сошлись снова вместе!

—Разумеется, было бы отлично если бы мы сошлись снова вместе.

Остановившиеся скуды опять начинают жевать.

—Мне надоела клиника на улице д'Алезиа. Во всем виновата контузия.

—Да, во всем виновата контузия,—соглашается Евсей Давидовский.

Эфроим Цаткин оглядывает площадь. Фонари уже зажжены на ней, и Елисейские поля, синевато блистая, уходят книзу.

—Это нарядное место, где ты лежишь,—говорит он одобрительно.—Однако здесь редко можно встретить интересного человека. Я еще никогда не встречал здесь интересного человека.

—Я тоже,—отвечает Евсей Давидовский.—Мне очень скучно.

Он зеваает. У него спереди недостает зубов.

—У тебя также недостает зубов, как и у меня,—говорит Эфроим Цаткин.

—Да, у меня также недостает зубов.

—Ты очень изменился. Ты постарел.

—Годы идут. Я устал от людей и от шума.

—Да, здесь очень много шума. Париж стал гораздо шумнее, чем прежде. Какой крепкий табак.

—Это «капораль». Разве ты не узнаешь его?

—Нет, я узнаю его. По-твоему, долго меня еще будут держать в этой проклятой клинике?

Евсей Давидовский затягивается трубкой.

—Я думаю, долго,—отвечает он наконец.—Я думаю, всю жизнь.

Эфроим Цаткин отодвигается от него. Нет, он не шутит. Он курит.

—Всю жизнь?—повторяет он.—А как же искусство?

—Искусство подождет. К тому же тебе дали цветные карандаши.

—Да, мне дали цветные карандаши.

—Рисуй карандашами. Потом тебе дадут краски.

Его плечи опущены. Он продолжает сидеть в своей голубой шинели, запачканной землей.

—Ты скучный сегодня—говорит Эфроим Цаткин, отодвигаясь.

—Да, я сегодня скучный.

—Ты всегда скучный?

—Да, я всегда скучный. Мне очень скучно.—Он снова зеваает.

—Теперь я пойду. Я хочу навестить нашу консьержку. Может быть, Леру заявился домой. К семи я должен быть в клинике, иначе меня оставят без обеда. Доброй ночи, Евсей.

—Доброй ночи.

Евсей Давидовский переходит площадь. Из Булонского леса несется автомобиль. Газовое пламя дышит. На этот раз венок из белых лилий лежит возле него. Эфроим Цаткин снова начинает жевать. Спинка скамьи врезалась в его шею. Он потирает шею. Потом он встает. Его заснувшие конечности вялы. Он сворачивает на авеню Марсо, чтобы сократить путь.

Без четверти шесть он доходит наконец до знакомой улочки. Ничто не изменилось на ней, и деревья, торчащие из садов, насупленно ждут зимы. Люси отстукивала по переулку своими крепкими каблучками. У нее были проворные ноги и свежее дыхание. Она проходила, как ветер. Он мог бы создать для нее картины и украсить фресками здание—только для того, чтобы она однажды взглянула на них. Впрочем, усталость мешает ему вспомнить ее в подробностях. Она отстукивала каблучками, она дышала вместе с ним одним воздухом улочки Крулебарб, ее нет... Он тоже не живет больше на этой улице. Ворота дома, тот же кабриолет во дворе. Он заходит во двор и смотрит издали на окно мастерской, завешанное обычно газетой. Окно освещено, и возле него из-

нутри стоит мольберт — поближе к свету. Мастерская нужна для художников. Он прожил здесь десять лет — с первого дня, когда война вернула его в Париж. Он создавал картины, которые не успел написать. Нужда приходила в его мастерскую и сидела, болтая ногами, как скверная и недостойная девка.

Мадам Педенон готовит обед. Горячий запах лука и мяса. Крышки на кастрюльках дрожат и постукивают, тревожимые живой силой пара. Она отрывается от плиты и недовольно откидывает кружевную занавеску. Внезапно она бледнеет. Ее красный бант начинает дрожать. Она хочет уцепиться за ручку двери, но голова посетителя уже просовывается в ее комнату. Потом он входит сам и снимает обеими руками кепку.

— Добрый вечер, мадам, — говорит он. — Вы узнаёте меня? — Он стоит смиренно и робко и держит кепку в руках. — У вас нет никаких оснований меня опасаться. Я ни для кого не опасен. Я пришел только спросить, не появлялся ли здесь мой товарищ? Вы помните наверное Гастона Леру? Он исчез, его нет, и его не видел никто. Может быть, он приходил к вам?

Теперь мадам Педенон начинает овладевать собой. Как он смел появиться снова — этот жалкий и опасный бродяга? После всего, что случилось? После тысячи неприятностей, которые они причинили ей, эти сообщники и преступники? Его смиренный вид приводит ее в бешенство. Ее руки шарят по столу, чтобы нащупать предмет, которым она могла бы в него запустить.

— Ваш товарищ? — говорит она наконец. — Вы ищете вашего товарища? Хорошо, я укажу вам, где вы сможете его разыскать. Обратитесь в префектуру полиции, которая знает адреса преступников и убийц... вам укажут в префектуре его местожительство!

Посетитель стоит с опущенной головой.

— Я так и думал, что следует обратиться в префектуру полиции, — говорит он задумчиво. — Вы правы, мадам. Благодарю вас.

Его кротость кажется ей подозрительной. Он издевается над ней. Он принимает все это как шутку. Она не привыкла шутить. Она может потребовать,

чтобы проходимцы не смели появляться в ее помещении, особенно в этот час, когда весь приличный Париж готовится сесть за обеденный стол. Может быть, его подослали? Он симулирует?

— Убирайтесь отсюда, пока я не пригласила полицию, — говорит она, наступая на него. — Вы — не художник, вы — бродяга... ваше место среди подонков Парижа!

Он надевает кепку и смотрит на нее испуганно и недоуменно. Затем он пятится к двери.

— Ваши скверные картины вы можете забрать с собой, — кричит мадам Педенон ему вслед, — я давно не знаю, куда мне девать этот хлам, эту пачкотню, эту...

Она остается за дверью разъяренная и неистовая. Тарелка цирюльника качается на ветру. Эфроим Цаткин идет, спотыкаясь. По временам он оглядывается и прижимается к каменным заборам, чтобы стать невидимым на этой пустынной улице. Его выпалый рот тяжело дышит. Казенные башмаки слишком велики и натерли ноги. Наконец он доходит до бульвара ОгюстаBlanки. Теперь близок дом, кров, убежище — серые корпуса клиники с ее большим садом, в котором бродит зима.

Ветер ударяет в окно и отгибает угол газеты. Маршан с улицы Боисси в третий раз взглядывает сердито на парочку. Им нет дела, что люди заняты, читают газеты и вынуждены совершать деловые поездки в пригородных поездах. Его глаза, округленные лорнетом, глядят теперь на них яростно и неумолимо.

— Я попрошу вас закрыть окно, мсье, — говорит он. — Весна еще не наступила. Никто не хочет получить простуды.

Он сразу нарушает их переглядывание, пожимание рук и равнодушие к постороннему спутнику. Молодой человек торопливо закрывает окно. Поезд отступает километры. Маршан продолжает водить лорнетом над газетой. Конечно поездка не из очень приятных. К тому же придется делать сочувственное лицо и называть вещи не прямо своими именами, хотя деловым людям следовало бы дозволить полную откровенность.

Но таково страдающее человечество! Оно всегда ищет сочувствия и обижается на равнодушные даже тех, с кем их ничего не связывало. Поезд приходит в Бельвю. Маршан складывает газету. Дом, в котором живет мсье Ренар, печален, и на окнах его опущены жалюзи. Короткий и не тревожащий звонок. Денис открывает дверь. Маршан пожимает ей руку с прочувствованным видом.

— Как больной? — спрашивает он.

— О, мсье Ламбер... — Денис разводит руками.

— Мужество, мужество, мадам, — произносит он сурово и возвышенно.

Он даже позволяет себе отечески похлопать ее по жирному плечу. Затем он вынимает платок, прочищает нос и следует за ней в столовую.

— Я получила ваше письмо, мсье Ламбер, — говорит Денис. — Меня тронуло ваше сочувствие.

— О, мы только люди... — бормочет он на ходу. — Если люди не будут сочувствовать в беде друг другу...

— Мало кто посещает моего бедного Анри. Все стали слишком заняты, у каждого свои дела. К тому же мы живем за городом. Прошу вас, садитесь, мсье Ламбер.

Они садятся в столовой возле черного камина. Из него дует ветер. Низкое прямое кресло хозяина пустует.

— Что говорят доктора? — спрашивает маршан, оглядывая стены с бретонскими фаянсовыми тарелками.

— Доктора! Разве можно когда-нибудь узнать, что думают доктора? Они советовали бы конечно увезти его куда-нибудь на юг. Но вы знаете сами, дорогой мсье Ламбер, что мы стали жертвами катастрофы... наши материальные обстоятельства...

Маршан сочувственно похрахтывает. Сколько еще придется потратить времени на сочувствие, на пустые разговоры, на расспросы о здоровье... Ему становится скучно. Люди придумали тысячи условностей, чтобы усложнить ими жизнь. Он выслушивает все же ее до конца.

— Что же теперь будет с вашей галлерей? — произносит он вдруг.

Его лицо несколько теряет сонливость и оживляется. Денис смотрит безнадежно перед собой.

— Наша галлерейя... — говорит она, —

она приносила не столько доходу, сколько радости... он так любит искусство. Анри! Как он проживет теперь без искусства?

Фаянсовые тарелки на дубовых полках утрачивают свою чинность. Маршан пощипывает и ерзает в кресле. Он даже вынимает платок и лишний раз прочищает нос.

— Мне бы хотелось повидать больного, — говорит он наконец. — Потолковать с ним о том, о сем... ведь он только не может двигаться, повиданному?

— О, мсье Ламбер... в том-то и дело, что ему нехватает только движений и речи. А так—он все помнит и все сознает. Было бы лучше, если бы его умная голова поменьше думала. Все произошло от того, что он слишком много думал, слишком переживал, слишком интересовался политикой, слишком любил искусство...

Маршан выслушивает терпеливо все ее восклицания.

— Увы, такова судьба всех мыслящих людей, — бормочет он на ходу. — Куда мне пройти?

Денис ведет его за собой в спальню. Мсье Ренар лежит на широкой постели уже второй месяц. Он пополнил, и даже его длинный нос как бы раздался в ширину. На его лысом черепе черная шелковая ермолка. Если бы не некоторая передвижка, произошедшая на его лице и оттянувшая книзу угол губы, от чего лицо получило ироническое выражение, можно было бы подумать, что он отдыхает. Маршан испытывает разочарование. Он ожидал увидеть человеческое подобие, тень смерти, скелет, но тот даже потолстел и порозовел, как после морских купаний. Его нос лоснится, и в ироническом выражении лица есть как бы некая плутоватость.

— Добрый день, дорогой друг, — говорит маршан и пожимает обеими руками его живую руку. Правая, торжественная и белая, лежит неподвижно на его груди, как трофей. — Я рвался к вам, я стремился к вам все это время!

Мсье Ренар кивает головой благосклонно. Он принимает все это как человек, заслуживший сочувствие. Маршан проникается негодованием. Если вы отслужили в конце концов свое, то изволь-

те уйти достойно! Но мсье Ренар начинает говорить сам.

— Брагодя... бы боце богры, бо бру, — говорит он. Он сопровождает свою речь движениями левой руки.

— Не трудитесь, не трудитесь, — восклицает маршан. — Лучше буду говорить я. Я радуюсь, что мой приход вам приятен. Я хотел бы, кроме того, чтобы он принес вам некоторую пользу...

Он оглядывается на дверь и придвигает кресло поближе к кровати.

— Мы — мужчины, — продолжает он. — Мы должны быть сильнее и предусмотрительнее женщин. Ваша бедная жена — что она может сейчас принести, какое решение, кроме слез? Но мы будем говорить, как сильные люди. Увы, дорогой Ренар, не мы определяем наши жизненные сроки, не мы располагаем собой. Для этого есть небо. — Он поднимает руку. — Небо! Оттуда повелевают нами, оттуда посылают на нас испытания. Вы честно и самоотверженно прожили вашу жизнь. Ваше имя не исчезнет из памяти бесследно. Нет, вы поработали для искусства, дорогой Ренар! Но — что делать. Все изнашивается, все приходит в негодность — особенно человек.

Глаза мсье Ренара начинают беспокойно и сердито вращаться.

— Бя боро быровею, — говорит он, трижды вскидывая свою левую руку.

На этот раз маршан понял его.

— Нет, дорогой Ренар, — отвечает он серьезно, качая головой, — вы скоро не выздоровеете. Не надо обольщать себя. Надо смотреть прямо в лицо жизни... и смерти тоже. Мы слишком много боролись, чтобы бояться смерти. Еще один удар — и кто знает, что ожидает вас? Подумайте о ней, о той, которая беззвучно плачет там, за дверьми. Вы должны смотреть жизненным обстоятельствам в глаза и постараться с честью выйти из того поединка, на который обрекла вас судьба.

Перекошенное лицо мсье Ренара багровеет. Его дыхание становится хриплым и непристойным. Маршан продолжает невозмутимо:

— Увы, в лучшем царстве, к сожалению, не собирают коллекций. Коллекции надо оставить земле. Прежде всего я пришел, чтобы оформить наше общее

дело... я имею в виду нашего Поттера. Кроме того, я хотел бы поговорить о других приобретениях... У вас есть недурной Утрилло... и наконец — ван-Хорст. Мы могли бы потолковать серьезно и без лишних волнений.

Левая рука мсье Ренара судорожно шарит по столику, находит блокнот и выводит дрожащими каракулями: «Врачи дают мне надежды. Я не хочу ликвидировать галерею». Маршан откидывается на спинку кресла.

— Неужели вы верите врачам? Этим шарлатанам и пустозвонам, которые за гонорар признают у вас любую болезнь, хотя бы вы были здоровы, и которые мешают обреченным людям уйти из жизни разумно и мудро. Нет, я не верю врачам! Когда наследники и кредиторы будут пускать с молотка ваше наследство, врачи не придут извиняться перед вами за свои ошибки. Они предпочтут сослаться на роковое стечение обстоятельств. Удар — не насморк, дорогой Ренар. Это грустно, но это так. Нужно быть готовым ко всему.

Рука мсье Ренара опять судорожно пишет. Маршан взглядывает мельком на его каракули.

— Юг здесь не при чем, — говорит он. — У вас не легочная болезнь, Ренар. Никто не может исправить этот аппарат, если он поврежден. — Он похлопывает себя по левой стороне груди. — Никто! Теперь мы поговорим о вашей галерее. Неужели вы думаете, что ваша бедная беспомощная жена сможет вести дело дальше? Кризис охватил всю Европу, ценности падают, торопитесь... скоро даже американцы перестанут покупать мировые сокровища.

Мсье Ренар лежит на спине. Его тугой набухший язык выгибается горбом и бубнит, ударяя в небо, как в бубен. Маршан, откинувшись в кресле, равнодушно и терпеливо выжидает, когда он кончит свою непонятную речь. Наконец мсье Ренар начинает захлебываться слюной.

— Ваше волнение совершенно напрасно, — отвечает бесстрастно маршан. — Я пришел только предупредить. Люди стали жестокосерды и равнодушны друг к другу. Но мы принадлежим к другому поколению, Ренар! Мы принадлежим к поколению, для которого живы еще по-

нятия чести, гуманности и справедливости. Наше поколение воспитывалось на высоких идеалах. Может быть, это старомодно сейчас, но это так!

У него самопожертвенный и разочарованный вид. Если его не хотят слушать, если ему не доверяют... Рука мсье Ренара снова судорожно выводит каракули. «Я разорен... виновато правительство... наши идеалы давно втоптаны в грязь... мне нужно подумать...» Маршан опять небрежно и мельком читает его строчки, похожие на запись сейсмографа.

— Хорошо... хорошо. Думайте, дорогой Ренар. Спросите совета у других. Может быть, найдется безумец, который начнет уверять вас в противном. Может быть, найдется... даже вероятно найдется шарлатан-врач, который будет уверять, что вас может исцелить юг, что болезнь ваша не представляет опасности... Хорошо, хорошо. Вы вспомните тогда ваших друзей!

Упрямство больного, его сопротивление начинают наполнять его ненавистью. Он ненавидит его... он ненавидит его горбатый нос, его волосы, которые вдруг почернели на висках, и несколько черных волосков, зачесанных на плешивую голову, образуют даже подобие пробора. Маршан закрывает глаза.

— Кризис, охвативший Европу, — продолжает он сомнамбулически, — грозит превратить всех нас в пепел... лава движется. Будущие археологи, обратившись к нашему веку, найдут многих из нас в тех позах, в каких застыла лава помпеян. К сожалению, наша эпоха оставит вместо фресок только документы о разорениях. Лопаются банки, Ренар... их стальные двери выгибаются, как картонные. — Он доволен своими метафорами и продолжает с пафосом. — Мой голос — только голос предупреждения... не испытывайте судьбу. Не осуждайте вашу любящую жену стоять в очереди за бесплатной похлебкой. Государство награждает только чиновников и военных. Наше незаметное дело остается вне его внимания... увы, такова судьба борборников культуры. Они одиноки. Они не рассчитывают на сочувствие современников.

Он наконец умолкает. Мсье Ренар лежит неподвижно. Его взор блуждает. Его посещают страшные видения. Он

перестает верить врачам. Его жизнь разбита. Ему не поможет юг.

— Побобибе бме, борого Бамбе... — произносит он.

— Я за этим и пришел, чтобы помочь вам, Ренар! — восклицает маршан, сам как бы умиленный своим великодушием. — Доверьтесь мне... надо ликвидировать дело с наибольшей выгодой для вас и с наименьшими потерями.

Он увлекается и начинает излагать свой план. Его сонливость исчезает. Платок в его руке, которым он взмахивает по временам, похож на сигнал старта. Денис появляется в дверях.

— Он молодец, ваш Анри, — говорит маршан, глядя на него благосклонно. — Он — настоящий мужчина.

Денис выслушивает его. Он пришел как друг и советник. В конце концов его планы разумны. Весь вопрос в том, сколько он хочет заработать на этом деле. Никто не приходит бескорыстно. Довольный вид маршана внушает ей сомнения.

— Но каковы будут наши деловые отношения, мсье Ламбер? — говорит она.

Маршан смотрит на нее сквозь лорнет. Он готов оскорбиться этим деловым голосом. Женщина всегда остается женщиной. Времена Жанны д'Арк прошли. Французская женщина стала слишком практичной.

— Мы отложим деловую беседу... мне было бы тяжело говорить об этом сейчас. Меня привела сюда дружба, а не расчет, мадам. — Он даже готов поверить в это сам. Его голос величественен. — Может быть, мы отстаем от нашего века... что делать, мы с Ренаром воспитаны в иных традициях. Старая кровь имеет свои законы.

Маршан покидает уединенный дом в Бельвю. Он доволен, и кончик его зонтика отстукивает по камням, как трость. Он даже проникается сочувствием к беспомощности Ренара. Конечно в его положении следовало бы быть более покорным судьбе... смешно рассчитывать на то, что река жизни обращается вспять. Увы, этого не бывает! Он прогуливается по перрону Бельвю. Курьерский поезд, вздымая пыль и песок, пронесется из Парижа. Маршан протирает глаза. Разумеется, больших дел здесь не сделаешь... но кое-что...

кое-что... Проволока семафора звенит. Поезд со своими вагончиками с будочками для кондуктора наверху подползает к станции. Маршан входит в пустое отделение вагона. Цеплянье за жизнь всегда оставляет жалкое впечатление. Если ваша карта бита, выходите из игры. Римляне умели умирать мужественно. Конечно шарлатаны-врачи не засоряли их своими иллюзиями... Бельвю уплывает. Дым застилает окно. Маршан сидит, опершись обеими руками о сиденье. Потом он начинает дремать, утомленный поездкой и своим красноречием. Человек подсаживается и дружественно похлопывает его по плечу. У него борода шоколадного цвета. «Мы, старые голландцы, охраняем традиции» — говорит он. Маршан запоминает его черный широкий плащ и шляпу, как на картинах Рембрандта. Он хотел бы ответить и даже помахать ему вслед. Но рука затекла и полна мурашек. Сон не обильно, но дружественно подсылает ему видения. Его голова качается и сползает от толчков в сторону. Скрипят тормоза. Серый сумрак парижского вокзала смыкает незнакомца, багровое упрямое лицо Ренара, деловую Денис, размышления о величии прошлого...

Снаряд ударяет в землю. Рыжая земля, извергнутая из недр, с гулом обрушивается на провиснувшие балки блиндажа. Люди отплеивают землю и протирают глаза. Опять снаряд, опять потоки земли. Саперные лопатки звякают, откапывая засыпанного человека. Пеллетье трясет его за плечи: «Ты жив, Рембо?» Человек начинает вращать глазами. Он жив. Сознание туго возвращается под его железную промятую каску. Потом он ощупывает себя руками. Сомма некогда текла, дополняя ландшафт. Ее спокойные воды отражали облака. Она ожесточилась теперь и полна уничтожения и смерти. «Да, кажется, я жив» — говорит человек. Черный сгусток слюны. «Дайте мне воды». Он пьет из фляжки, затем снимает свою зеленоватую каску, ощупывает голову и снова пьет. Его жесткий кадык ходит от глотков. Пеллетье смотрит на его горло. Оно живет — это горло. Оно хочет пить.

— Я думал, что ты погиб тогда, — говорит он.

— Нет, я остался жить, — отвечает человек.

Он выплескивает остаток воды из бутылки. Большие широкие камни мостовой. Городской пост таможни у заставы Парижа. Прежде здесь были фортификации. Рынок с отрезьями, опорками,хламом. Убежище нищеты.

— Я бы поел лукового супу, — говорит Рембо.

Он достает из кармана несколько медных монет со стертymi королевскими изображениями. Пеллетье смотрит из-за его плеча на монеты.

— Здесь франк и сорок сантимов... как раз на две порции супу, — говорит он.

— Ты забываешь сервировку и хлеб... это стоит еще десять су.

— В таком случае мы возьмем одну порцию супа и две порции хлеба...

Рембо опять звякает своими монетами, пересчитывая их.

— Да, это мы можем сделать, — говорит он.

Они проходят сквозь рынок с его коричневыми отрезьями и нищетой и заходят в харчевню.

— Порцию лукового супу и две порции хлеба, — говорит Рембо.

Хлеб попадает с пропеченной золотистой коркой. От его запаха даже спазма схватывает горло. В супе плавают полуколючки поджаренного лука. Две ложки черпают поочередно.

— На войне нас кормили не хуже, — говорит Рембо.

— А... ты вспоминаешь войну. Сегодняя я смотрел, как ты пил... мне вспомнилась Сомма. Тебя засыпало землей тогда... мы откапывали тебя саперными лопатками. Ты пил воду и не мог напиться, словно у тебя лопнул пузырь.

— Смерть нехорошо пахнет. Она пахнет плесенью и глиной. Ты думаешь, это еще не конец?

Пеллетье достает из кармана сложенную газету.

— Рабочие дерутся, Рембо, — говорит он, похлопывая по газете.

— Это — Гамбург, — произносит Рембо погода.

Его острый локоть лежит на газете.

— Да, это Гамбург. Неделю назад ты мог прочесть про Марсель.



Рембо отрывается наконец от газеты. Его длинный нос нюхает воздух.

— Я бы с'ел чего-нибудь еще, — говорит он тревожно. — Надо сказать, что на войне о нас заботились больше.

— Нас горопились накормить, чтобы мы лучше дрались... теперь это не входит в расчеты.

Они сидят минуту еще и покидают харчевню с ее задушевыми запахами. Жалкие люди блуждают вдоль рынка. Их лица выпцвели и равнодушны. Груда старых порванных фетровых шляп лежит на земле. Поверх них блистает цилиндр. Он почти новый, но вышел из моды, у него слишком загнуты поля.

— Может быть, его носил министр — этот цилиндр, — говорит Рембо.

Он останавливается и смотрит на стальную полоску света, играющую на шелковой полукружности.

— Это возможно, — отвечает Пеллетье. — Возможно также, что и сам министр давно свален вместе со старыми шляпами.

Париж у бывшей черты своих фортификаций выложен большими камнями. Небо утрачивает здесь свой городской вид. Фермерские повозки тарахтят большими колесами. Собрание металлистов назначено в восемь часов. Рабочие ближних заводов и делегаты из Тулона и Марселя.

— Шарля присудили к заключению на год, — говорит Пеллетье. — Полиция не простила ему, что разыскивала его в продолжение месяца. Дай бог разума нашим министрам. Если бы они поднажали еще на Германию... мы бы скоро гуляли с тобой не только в этой части Парижа.

Он останавливается и дергает спутника за рукав.

— Мы победили, мы, французы! — восклицает он. — Мы захватили колонии, мы разбили Германию... мы чудовищно богаты с тобой. На что бы ты променял свое богатство, Рембо?

— Я променял бы его на вторую порцию супа, — бормочет Рембо.

Он шагает с ним рядом. Его сбитые башмаки измеряют большие плоские камни окраины. Зала, в которой происходит собрание металлистов, переделана из ателье для кинематографических с'емок. Она высока и узка и походит на фут-

ляр для перевозки роялей. Деревянные скамейки придвинуты вплотную к эстраде. Курить нельзя, и все курят во дворе. Рабочие ближних металлических заводов и коммунисты этого аррондисмана Парижа. Высокие двери поглощают людей. Стол на эстраде покрыт красной материей. Мелодический всхлип колокольчика.

— Председательствует Трюден... это хорошо, — говорит Пеллетье.

Острый нос Рембо обращен к эстраде.

— Мы посвящаем сегодняшний вечер вопросу о положении рабочих в Европе, — произносит председатель. — Последние два месяца принесли еще свыше полутора миллионов безработных. Международная солидарность рабочего класса требует объединенных мер и объединенного сопротивления. Ни одна партия, кроме той партии, которой действительно дороги интересы рабочего класса, не сможет указать для рабочего движения правильного пути...

— У него была дельная статья в «Юманитэ», — говорит Пеллетье, ерзая и как бы притирая себя к скамейке. — Молодчина Трюден!

— Я предоставляю слово делегату от рабочих Марселя.

Председатель дает слово марсельцу. Марселец легко вскакивает с передней скамьи на эстраду. Он черномаз и похож на итальянца. На его черных курчавых волосах синий суконный берет. Делегат разом, со страстью, обрушивается на толпу. У него горячий темперамент, высокий, резкий голос и стремительные жесты ружанина.

— Рабочие Парижа, — восклицает он, вытягивая вперед свою волосатую руку с синей татуировкой, — события, произошедшие недавно в Марселе, достойны вашего внимания. Войска, посланные для разгона рабочей демонстрации, не стали ее разгонять. — Он с силой срыгает с себя синий берет и ударяет им о стол. — Мы сумели убедить наших солдат, что их интересы совпадают с интересами рабочих! Пускай правительство опирается на одни полицейские силы.

Его неудержимая страстность получает отклик. Аплодисменты сухо рассыпаются в кинематографическом ателье. Делегат продолжает приветствие. Его сменяет представитель Тулона. Опять

сухая трескотня ладоней. После приветствий берет себе слово председатель Трюден.

— События последнего года, — говорит он, — показывают, что мы были правы. Свыше десяти лет прошло с того дня, когда был провозглашен мир. Но десять лет мира давно превратились в подготовку к новой войне. Колоссальная доля бюджета европейских народов отдана вооружению. Вершители европейской политики ускоряют ход истории!

Его речь деловая и сумрачная. Он беден жестами. Он ходит по эстраде и выкрикивает фразы. Вязаный отворот фуфайки плотно охватывает его широкое горло.

— Кто платит нам репарации? Кто несет на себе неслыханную тяжесть послевоенных долгов? Буржуазия? Нет! Тысячу раз — нет! Рабочему классу Франции не нужна нищета рабочего класса другого народа. Дайте нам договориться самим. Мы знаем, на кого возложить бремя долгов!

Пеллетье хлопает.

— Молодчина Трюден!

Председатель продолжает речь. Его логика сурова. Он бросает ее в залу стремительную, как лозунги.

— Когда люди растеряны, они теряют представление о реальных вещах. Они готовы объяснить широкое рабочее движение в Европе только как результат безработицы. Жалкое обольщение! Коммунизм в Европе не призрак. Он очень реален, его можно потрогать руками.

Длинный нос Рембо устремлен к эстраде. Он даже забыл о голоде. Трюден овладел вниманием зала. Досчатые стены и застекленный потолок отражают слова жестко и убедительно.

— Сейчас государственные люди раз'езжают из страны в страну, чтобы договориться о способах смягчения кризиса. Они предлагают десятки мер, но ни одна из этих мер не действительна. Мы, одни мы, знаем меру, которая может вывести Европу из тупика. Эта мера была предложена. Ее не почтили вниманием. Ей предпочли болтовню. — Трюден повышает голос. — Эта мера — отказаться народам от вооружений, разоружиться, переассигновать неслыханные ассигновки военного ведомства на культурные и хозяйственные нужды. Дайте человече-

ству мир, который был обещан и взамен которого вот уже двенадцатый год оно видит только подготовку к новой войне!

Он продолжает свою речь. Потом треск ладоней наполняет высокое здание. Рембо сосредоточенно стучит ногами о пол. Его длинный нос сияет победительно. Собрание утрачивает первоначальную сосредоточенность. Люди говорят с мест. Возгласы летят на эстраду. Все хотят высказаться. Немолодой рабочий механической фабрики получает слово. Делегаты городов сидят за столом на эстраде. Внезапно высокая дверь позади открывается. Происходит движение. Все оборачиваются назад. Рабочий механической фабрики, начавший было свою речь, прерывает ее. Несколькими полицейскими идут по проходу. Минута — двое из них на эстраде.

— Собрание незаконно, и на основании действующих правил я предлагаю вам собрание закрыть, — говорит полицейский.

— Мы имеем разрешение... мы могли развесить афиши, — отвечает Трюден.

Люди в зале поднимаются с мест.

— Вы имеете разрешение на устройство доклада о перспективах металлургии. Между тем вы организовали коммунистический митинг. Закройте собрание и предложите присутствующим разойтись.

«Мы не уйдем отсюда!» — кричат из зала. — «Мы хотим говорить о наших нуждах». «Долой полицию»!

— Я даю вам пять минут для размышления, после чего будет введен полицейский отряд, — говорит агент.

Выкрики и свист. «Это насилие!» «Долой полицию!» Агент спокойно выжидает. По временам он поглядывает на часы в кожаной браслетке.

— Мы считаем появление полиции грубым нарушением интересов рабочих, — говорит Трюден.

Его шея налилась кровью. Агент бесстрастно постукивает носком башмака.

— Требование полиции вполне отчетливо. Вы нарушили правила, вы ответите за это по закону. Время истекает.

Опять возгласы, свист, стук скамеек. Сопровождение президиума происходит в стороне. Наконец Трюден выходит снова вперед.

— Мы считаем требование о закрытии собрания незаконным. Рабочие имеют право говорить о своих нуждах. Мы отказываемся подчиниться требованию.

Агент выслушивает его и кивает головой. Он взглядывает еще раз на часы в кожаном браслете. Минуту спустя двери распахиваются. Полицейские быстро занимают проходы. Во дворе видны конные. Цепь полицейских начинает планомерно оттеснять собравшихся к выходу. Треск скамеек, топот ног. Толпа сдавлена и продолжает сопротивление. В деревянном футляре ателье сразу становится душно. Все запыхались. Полицейские с ожесточением стянули свою цепь. Они утратили независимый вид и красны от напряжения и ярости. Люди, стиснутые их цепью, издеваются над ними: «Красные помидоры!», «Это вам не воевать на войне». Озорной голос восклицает сзади: «Не перетравите друг друга собственными газами!» Полицейские продолжают свой натиск. Опять треск скамеек, безмолвное сопротивление. С людей катится пот. Пеллетье, втиснутый в стену, следит за усилиями полицейских.

— Напирай, напирай еще, — бормочет он. — Мы выдавим их, как колбасу.

Внезапно высокий, частый голосок гудка раздается за стеной ателье. Красный, сияющий медными частями пожарный автомобиль везжает во двор. Пожарные в своих блистающих касках скакают на ходу. Суставчатые удавы шланг. Минуту спустя начинает работать паровая передача.

— Они выгонят нас водой. — говорит Пеллетье.

Веселый картавый голос рожка. Сигнал атаки. Удар струи в стену, затем в высокие двери прохода. Женщины визжат. Деревянная боковина запасного выхода выдавливается под натиском толпы. В брешь, как в прорванную дамбу, хлынули люди. Кто-то толкает пожарного с медным наконечником шланга. Удар струи по полицейской цепи. Хохот и свист. Полицейские отряхиваются и выбираются разъяренные из здания. Конные напирают своими лошадьми.

— Долой полицию! — кричит Рембо. Удар по плечу. Конный свешивается над ним. Лошадь привычно храпит и наступая на людей. Толпа вываливает-

ся за ворота двора. Остальные пробуют отбить задержанных. Мокрые полицейские оттеснили их в угол двора. Пеллетье видит среди них ожесточенное лицо Рембо. Он получил удар по плечу и по шее.

— Рембо! — кричит он во всю силу. — Не сдавайся, Рембо!

На него наваливается своим сытым, расчесанным боком полицейский конь. Сияющие струи шланг скрещиваются во дворе, как рапиры. Толпа, задержавшись в проходе, помогает скрыться марсельцу. Двор заполнен полицией. Здание освобождено. Разбежавшиеся по соседним дворам и улицам собираются понемногу по другую сторону площади. Голос запекает: «*Debout les damnés de la terre...*» Владелец паяльной мастерской высовывает из окна голову. За его спиной синее пламя паяльника.

— Где горит? — спрашивает он.

— Сгорел дворец президента, — отвечает Пеллетье на ходу.

Закопченное лицо искажается от ужаса. Потом паяльщик слышит пение.

— А, это опять коммунисты! — произносит он успокоенно. Молоточек паяльника снова начинает накаливаться на синем шумном огне. Зажжены редкие фонари окраины. Пеллетье добредает до конца улицы. Он садится на выступ карниза. Рембо остался во дворе здания... еще один — Рембо! В его носу щекочет, как перед насморком. «Это — сегодня, друзья... — бормочет он вслух. — Посмотрим, что будет завтра!» Потом он покидает карниз и поглощается сумраком окраины.

Зима бродит по Булонском лесу. Стволы деревьев становятся темны и угрюмы. Елисейские поля, авеню Великой армии, авеню маршала Фош, авеню Виктора Гюго, авеню Иена... по ним проносятся автомобили, чтобы скреститься на площади Звезды. Ателье мод — на улице Пьера Шаррон. Черная вуалетка густа, и мир преобразен ее шелковой сеткой. Он сумрачен, этот мир. Автомобиль ударяет мимо, как снаряд. Это — гоночная машина. Женщина сидит рядом с мужчиной. На нем кожаный шлем авиатора. Красная каретка такси пробегает навстречу. Надо перейти улицу. Асфальтовые островки для

пешеходов. Сесиль стоит на треугольнике островка. Полицейский в плаще свистит. Машины замедляют свой бег. Пешеходы перебегают улицу. Опять свисток. Машины устремляются дальше. Улица Пьера Шаррон. Сесиль замедляет шаг. Она достает четырехугольную пудреницу, уменьшительное зеркальце отражает сеть вуалетки. Особняки вдоль улицы Пьера Шаррон стоят, отгороженные палисадниками. У каждого из них свое прошлое. Они возникали рядом с прекраснейшей в мире улицей. Особняк, в котором сейчас салон мод, имеет свою аристократическую историю. У него есть прошлое, рожденное закатом империи. На доме нет вывески. Лучшие салоны не нуждаются в уличной рекламе. Их слава должна походить на легенду. Швейцар стоит в вестибюле. На его круглом лице курчавый плющ баков.

— Мадам Безье? — говорит Сесиль.

— Второй этаж, — отвечает швейцар.

На мраморной лестнице вишневая дорожка. Она ведет наверх, высокомерно принимая шаги. Надо вздохнуть на площадке перед дверью. Прерывистое дыхание просителя не располагает к вниманию. Звонок легко уносится в дальние комнаты. Потом шаги. Хорошенькая стриженная девушка открывает дверь.

— Я бы хотела видеть мадам Безье, — говорит Сесиль.

Ковры лежат вкрадчивые и глубокие, как шкуры. Высокая, молодая женщина, держа одну руку в другой, идет навстречу амфиладами комнат.

— Что угодно, мадам? — говорит она.

Ее улыбка дежурной модели не выражает ни одного чувства.

— Я бы хотела видеть мадам Безье, — повторяет Сесиль.

— По какому делу, мадам?

Руки женщины попрежнему лежат одна в другой.

— Я хочу предложить себя в качестве... я ищу подходящего места... мадам Безье меня знает.

Женщина оглядывает ее. Она хотела бы проникнуть под ее вуалетку.

— В таком случае вам придется ожидать, — говорит она разочарованно. — Мадам Безье занята в салоне. Сядьте в стороне за колоннами. Здесь приемная для клиентов.

На камине стоят часы. Бронзовый Эрос держит колчан. У них хрустальный голосок, как перезвон рюмок. Опять звонок. Молодая женщина идет неторопливо навстречу. Она останавливается на площадке. Ее руки лежат одна в другой. Посетительница поднимается наверх. У американки челюсти впаяны в золото. Ее худые ноги болтаются в модном шелковом платье. Драгоценнейший мех обнимает ее синюю шею. Толстые стекла рогового лорнета равны по силе телескопу. На этот раз женщина, стоящая на площадке, говорит по-английски.

— Good day, madame, — произносит она. — What can I do for you, madame? May I show you our latest models?

Тяжелая люстра вспыхивает и разливается радугами подвижных хрусталей. В каждом из них живет душа спектра. Зеркала, вделанные в стену, приходят в движение. Это — феерия. Они оказываются дверьми, как в балете. Они пропускают юность. Американка со своим телескопным лорнетом сидит в кресле. У нее квадратный подбородок в точках от сведенных волос. Девушки проходят перед ней. Их неживые улыбки могут сниться. На девушках платья, которые родила зима. Каждая зима рождает платья в Париже. Она рождает новые модели шляп, обуви, автомобилей, рисунки галстуков, расцветку перчаток... Легчайшие складки почти касаются пола. Платья облегают тела, которые создавали ваятели. Американка пропускает мимо себя парад, как старый генерал, производящий смотр. В толстые стекла лорнета глядят выцветшие пустые глаза. Перемена. Зеркальные двери замедлились в своем движении. Модели сменили новую дюжину платьев. Опять парад. Внезапно американка издает горловой звук. Модель задерживается перед ней. Хорошенькая девушка в платье, золотистом и смуглом, как летний загар. Она замедляет шаг, ее розовые губы раскрыты в улыбке.

— This! — говорит американка.

Девушка поворачивается. Легкая линия обозначает ее гибкую спину. Старшая модель склоняет голову набок. Она любит ее с улыбкой творца. Эта юность без оболочки искусства, которое создано здесь, была бы напрасной. Двери в глубине амфилады распахиваются.

На этот раз в ее перспективе показывается мадам Безье. Тучная короткая фигура, затянутая в корсаж, как в средневековые доспехи. На толстой красной шее драгоценная нитка жемчуга. Его зерна величиной с фасоль. Мадам Безье — друг великих людей, актрис, знаменитостей, королей экрана... Их фотографии с благодарственными надписями висят на стенах приемной. «Поэту моды...», «Дорогой мадам Безье — благодарная...». Ее салон посещал Родольфо Валентино. Его портрет в трауре. Мадам Безье говорит на шести языках. У нее заказчицы со всего мира. Ее модели равноценны золоту. Американку уводят в зеркальные двери. На нее наденут смуглое платье юности. Париж преобразается, в его власти сбрасывать годы, он счищает их, как накипь с металла. Квадратный подбородок в точках от сведенных волос может быть прекрасен. В сумочке из кожи антилопы синеватая чекочная книжка. Фамилия уже подписана, надо только проставить сумму. Цена юности — одно движение руки, отрывающей синеватый листок.

— Итак, — говорит мадам Безье, — что вам угодно?

Жемчуг на ее красной шее завязан узлом.

— Я — Сесиль, — говорит Сесиль. — Я Сесиль Санжу.

— Вы — Сесиль Санжу? — Теперь мадам Безье вглядывается в шелковую сеть вуалетки. — Вы в трауре, моя милая?

— Нет. Я перенесла тяжелую операцию. Я иду служить.

— Вы хотите быть снова моделью? — Сесиль молчит. — Что ж, у вас отличная фигура. Я была вами довольна в свое время.

— Но, мадам... — Она стоит, опустив голову. — Мне повредила лицо операция.

— Вам повредила лицо операция? Покажите лицо.

Сесиль медлит. Затем она откидывает вуалетку. Мадам Безье смотрит на нее. Ее толстое лицо содрогается.

— Довольно... закройте, — говорит она через минуту. — У вас следы ожогов.

— Да, мадам. Случилось так, что я обожгла себе лицо.

— Как это печально! Вы знаете сами, что модель должна быть безупречной.

Она всматривается еще в это лицо,

перетянутое белыми швами и широкими оспенными следами ожогов.

— Может быть, другую работу, мадам... я могла бы быть полезной в мастерской.

Мадам Безье качает головой.

— Нет, это невозможно. Мастерницы разносят работу. Кроме того, им приходится показываться заказчикам иногда. — Впрочем она не лишена чувства жалости. — Может быть, на дому... какие-нибудь вышивки... я поймею вас в виду. Вы были хорошей моделью в свое время.

Она похлопывает ее по плечу и вздыхает. Дурное впечатление испортило ее самочувствие. Зеркальные двери вращаются. В их глубине, освещенная светом продольных софитов, стоит американка в золотом платье юности. Створка поворачивается, видение исчезает. Кольца вишневого дорожки звенят, как невидимые шпоры военного. Плющ на круглых щеках швейцара возводит дом в покинутое величие прошлого. Газоны палисадников на улице Пьера Шаррон покрыты поблекшей травой. Сесиль идет вдоль Елисейских полей. Триумфальная арка уже заключила в свою полуокружность сумерки. Они висят в ней, как занавес. Теперь можно сесть на скамейку и смотреть безучастно на город. Мадам Безье права. С таким лицом не на что рассчитывать в Париже. Жизнь равнодушно и торопливо огибают площадь Звезды. Вуалетка сгущает сумерки. Человек переходит площадь. Воротник его пиджака поднят. У него костлявые плечи. Он направляется к скамейке, на которой она сидит. Она хочет подняться. Потом она говорит:

— Пеллетье!

Человек вглядывается в темную вуалетку.

— Я — Сесиль, — говорит женщина.

Его рука стискивает ее руку.

— Сесиль! Ты здесь? — Он трясет ее руку. — Это на самом деле ты, Сесиль? Две недели назад я пришел в больницу, чтобы тебя навестить, но мне сказали, что ты уже выписалась. Ты не оставила адреса.

— Да, я выписалась из больницы.

— Ты здорова?

— Почти. — Он молчит и смотрит на вуалетку. — Ты не веришь? Смотри

Она поднимает вуалетку. Он смотрит на ее лицо. Потом он опускает глаза.

— Разве с таким лицом можно жить? — спрашивает она. — Ответ мне, Пеллетье, с таким лицом может женщина в Париже жить?

— Дело ведь не только в лице... — бормочет он.

— Меня не принимают ни на одну службу, — говорит она. — Никто не хочет видеть ежедневно уродство. Зачем ты солгал мне про Шарля тогда? Я могла бы сорвать повязки.

— Разве я солгал про Шарля... он в Марселе — Шарль. Кто знает, может быть, он уехал с пароходом в другую страну.

Его голос вял и теряет убедительность. Лицо женщины ошеломило его. Это — Сесиль? Он опять смотрит на темную вуалетку. Его длинные руки беспокойно оглаживают колени.

— Шарль никогда не оставит тебя... ты должна дожидаться его возвращения, — говорит он наконец. — В конце концов все это произошло из-за него.

— Где Шарль? — повторяет она.

— Кто знает... может быть, он уехал на пароходе в Грецию или в Египет. Но почему ты здесь, на площади Звезды?

— Я искала поблизости службу.

Пеллетье смотрит на свои ноги в разбитых башмаках.

— Сюда приходит иногда русский художник... его выпускают из клиники. Он был другом Шарля. Он обещал в прошлый раз, что придет сегодня сюда. Но — его нет.

— Ты все еще без работы, Пеллетье?

— Мне обещают работу. Может быть, на автомобильный завод опять начнут принимать рабочих.

Сесиль поднимается со скамейки.

— Ты уходишь? — бормочет он.

— Да. Мне пора. Возьми вот это.

Она роется в сумочке.

— Что это?

— Это пятьдесят франков. Я получила вчера старый долг. Тебе они пригодятся. У меня есть еще деньги. Кроме того, мне дают работу на дом... я делаю вышивки. В салоне, где я прежде служила, мне обрадовались и предложили работу.

Пеллетье держит бумажку в руке.

— Я не могу взять эти деньги, — говорит он.

— Ты их возьмешь, Пеллетье. Хотя бы из дружбы к Шарлю. Я тебе даю их от всего сердца. Когда ты получишь работу, ты сможешь вернуть. Кроме того, пятьдесят франков — это маленькие деньги.

— Для меня это большие деньги... я живу на три франка в день.

— Тем лучше. Значит, они тебе пригодятся.

Он смотрит на нее испытующе.

— Куда ты идешь?

— Домой.

— Где твой дом?

— Я живу у подруги на улице Дидо...

— Я провожу тебя.

— Нет. Ты уже обедал сегодня?

Бумажка торчит в его растопыренных пальцах.

— Я не обедаю вторую неделю.

— Пойди пообедай. Сейчас как-раз время обеда.

— Я не могу взять этих денег, — повторяет он.

— До свиданья. Я приду сюда в среду в четыре часа. Ты будешь здесь в среду, на этой скамейке?

Она говорит оживленно. Он перестает верить ей.

— Мы пойдем вместе. Я провожу тебя до дома.

— Нет. Меня не нужно провожать до дома. Мне предстоит еще встреча. И так, в среду в четыре часа. Ты придешь?

— Я приду... — отвечает он.

Он остается стоять с бумажкой в руках. Подходит трамвай. Сесиль оборачивается с площадки и машет рукой. Под аркой голубеет синее пламя. Трамвай идет по авеню Клебэ, мимо Трокадеро, мимо кладбища Пасси. Деревья в парке Трокадеро неподвижны. Они ожидают зиму. Освещенный лифт всползает в Эйфелевой башне, как ртуть в термометре. Стремительные зигзаги огней опоясывают ее электрической судорогой. Затем печальный огонь танцует на ее вершине. На углу улицы Пасси Сесиль сходит. Скверик Альбони, затем мост через Сену. Шумные мосты — Каруссель, Риволи, Сольферино — они остались позади, осаждаемые предвечерними шествиями автомобилей. Теперь идут пустынные мо-

сты. Мост Гренелль, набережная д'Отей. Зеленые огни горят вдоль нее. Мужчины идут навстречу. Он замедляет шаг. Он всматривается в вуалетку и говорит: «Мы спешим на свиданье, малютка?» Он останавливается и смотрит минуту вслед. Затем он продолжает свой путь. Каменная ограда набережной имеет сходь вниз. Сюда приходят днем рыбаковы. Сесиль облокачивается о каменную ограду. Сена идет, и воронки на ней означают стремительность ее движения.

— Я не могу жить, Пеллетье, — говорит Сесиль серьезно и вразумительно. — Париж не прощает уродства.

Она опять смотрит на реку с ее широкими воронками. Далекие огни на мосту Мирабо отражаются в ней, как погребальные свечи.

— Мне нужно умереть, Пеллетье, — добавляет она и сходит по каменным ступеням. — Я брошусь в Сену, как тысячи других. Об этом много писалось в романах. — Сена плещется у ее ног. Холодная, мокрая судорога сведет их. Чудовищное раздутое безобразие, которое водолив на барже вытаскивает за мокрые волосы. Остался голос. Может быть, ходить по дворам и петь? Париж любит сентиментальные песенки. «Я не могу жить, Пеллетье» — говорит она. Ее вуалетка намокает. Она поднимает ее и проводит рукой по лицу со страшными шрамами и неровностями. Потом она опускает ее опять и возвращается к лестнице. Снова каменная ограда набережной. Сена остается внизу. Нет, только не это! Пустынная косая улочка Вильхем, затем улица Мирабо. В угловом окне аптеки зеленеет насквозь своей морской таинственной влагой шар. Он ненаселен и пустынен. В нем могли бы плавать медузы. Аптекарь в белом халате стоит за конторкой У него узкий желтый череп и уши, похожие на большие облатки.

— Мадам? — говорит он своим голосом, пропахшим специями и лекарствами.

— Мне нужен опий.

— У вас есть рецепт?

Сесиль роется в сумочке.

— Я забыла рецепт дома. Но я всегда принимаю опий.

— Это все равно. Я не могу отпустить без рецепта.

— Тогда дайте мне строфантин. У меня есть рецепт, — говорит она вдруг.

Она роется в сумочке и достает рецепт. Аптекарь смотрит на нее сначала в очки, затем поверх очков.

— Вам нужен опий или строфантин? — спрашивает он.

— Мне нужен строфантин. Я страдаю болезнью сердца.

— Почему же вы спрашивали опий? Какие-то сомнения заползли в его скучный желтый череп.

— У меня боли в желудке.

— Я могу дать вам другие капли, если у вас боли в желудке. — Он достает пузырек. — Хотите принять сейчас?

— Все равно.

Он наливает в стакан воду и накапывает капли. Вода начинает пахнуть эфиром. Он подносит стакан к ее рту. Она выпивает жидкость.

— Боли должны успокоиться, — говорит он. — Теперь строфантин. Вы будете ждать?

— Да, я буду ждать.

Он уходит за перегородку. Морской таинственный шар теплится на окне. Другой шар полон смуглого солнечного полдня. Он поглотил солнце и насытил им влагу. В ней мог бы цвести розовый куст. Фарфоровые надписи на полках похожи на клавиши. На конторке фиолетовое пятно пролитых чернил. Маятник часов ходит вяло, равнодушный к времени, которое он должен отстукивать. Колокольчик над дверью звякает. Входят женщина с девочкой. У девочки худые ножки в желтых башмачках. Ее бледное личико лишено любопытства. Женщине нужен скипидар. Красная плитка мозаики стерта у входа. Она первая принимает шарканье ноги проходящего.

— Вот строфантин, — говорит аптекарь.

Он переписывает рецепт, привязывает его как галстук к гофрированному жабо колпачка; затем завертывает пузырек и запечатывает сургучом. Сургуч пробуждает воспоминания о почтовой конторе, о марках и о Египте. Шарль уехал в Египет. Может быть, в Грецию.

— До свиданья, мадам... — говорит аптекарь.

Он остается за своей конторкой. Его узкий череп лоснится, как бы вымазанный вазелином. У него желтые пальцы, похожие на палочки ячменного сахара,

которым в детстве лечили кашель. Колокольчик над дверью вздрагивает. Улица д'Отей ведет к ипподрому, к южной оконечности Булонского леса. Там можно будет сесть на скамью. Она бредет по улице д'Отей. Эфирные капли, которые дал ей аптекарь, стянули желудок. Неизвестные перекрестки неведомой части Парижа. Не все ли равно, куда забрести. Наконец скамейка на скверике. Она садится на скамейку. Хорошо бы дойти до Булонского леса. Ей не хочется больше двигаться. Она роется в сумочке. Несколько монет, какие-то старые записки, пудреница, губной карандаш. Она рвет записки. Флакон в своем гофрированном жабо наряден. Аптекарь перетянул его белой ниткой. Она разрывает ее. Потом она раскачивает пальцами пробку. Триумфальная арка на площади Звезды затянута сумерками. Пеллетье будет ждать ее в среду в четыре часа. Он будет смотреть на огонь над могилой неизвестного солдата и прятать руки в карманы пиджака. Она не придет, Пеллетье!.. Мадам Безье выходит из глубины своей амфилады. Зеркальные двери распахиваются. Освещенная ослепительным светом стоит американка в золотом платье юности. Ее четырехугольный подбородок в синих точках от сведенных волос прекрасен. «Посмотрите на линию спины» — говорит мадам Безье. Американка издает горловой звук. Все замедляет движение. Жемчуг на шее мадам Безье разрывается и ложится вдоль улицы линией фонарей. Плечико вскинутого пузырька блестит, как грань зеркала. Строфантин пахнет горечью. Он льется в горло большими глотками, как вода Сены. Сердце расширяется навстречу ему тревожно и восторженно. На ипподроме в Булонском лесу происходят скачки. «Все это так грустно... так невероятно грустно, Пеллетье!» — говорит она и смотрит на его ноги в разбитых башмаках. «Но Парижу нужны деньги и молодость». Мадам Безье надвигается на нее. Она затянута в лиф, как в средневековые латы. На ее красной шее следы уплывшего жемчуга. «Покажите ваше лицо», — говорит она и холодными железными пальцами поднимает с ее лица вуалетку.

Мсье Нивуа, адвокат, проходит коридором манежа. Манеж пахнет цирковыми запахами молодости. Галифэ напоминают о годах военной службы. Это были гордые годы. Кроме того, бодрое бряцание шпор. Два часа карусели на хорошей английской кобыле, после которой приносишь в будничные запахи города дикий запах конского пота и кожи. Это лучшая поправка для нервов. Два раза в неделю двухчасовая карусель по манежу. Он лечится, его нервам прописан курс. Холодные обливания хороши для неврастеников. Ему нужны бодрая зарядка, ощущение своей посадки на лошади, утомление в икрах. Два часа верховой езды для каждого общественного деятеля, для каждого человека, расходующего себя на политические страсти. Он даже предпочитает кроткому нраву золотистой кобылы «л'Оранж» норовистого воронного жеребца «Анжелло». Мсье Нивуа говорит о лошадиных достоинствах и недостатках. Он хочет быть знатоком. Он похлопывает стэком по своим коричневым крагам. Он готовится к утру, полному размеренной рыси, перемены аллюров, щелкания бича, короткого манежного галопа. Мы отдадим на десятилетие наш закат... вы преждевременно торжествовали, жалкие ораторы и демагоги! Он чувствует себя исцеленным. Он отдохнул от политической жизни. Конечно нельзя угасить в себе темперамента борца, нельзя убить в себе политического деятеля, — но можно отойти от этого до лучшей поры, когда проходимцы перестанут отбрасывать людей, отдавших всю жизнь служению идеи. Он идет коридором манежа. В конюшне стучат лошади. Бодрое металлическое ржание. У него есть спутник — Бернар Давид, сын покойного Давида, над могилой которого он сказал речь. Они вместе лечат нервы. Что делать, молодое поколение живет такой же ускоренной жизнью! Внезапно из боковой двери вылетает и сталкивается с ним человек. На человеке котелок, сдвинувшийся назад от толчка, и палевые перчатки. Это — полковник д'Эшероль.

— Нивуа, — восклицает он. На его пепельных щеках красивые треугольники. — Я вас ищу, Нивуа! Я был у вас дома... я явился по вашему следу. Нам



необходимо переговорить... сейчас же, немедленно!

— Мне подадут через пять минут лошадь, — отвечает мсье Нивуа. — Кроме того — что случилось? Я не развлекаюсь в манеже, я — лечусь. Мне прописано это врачами.

— Вы лечитесь... — восклицает полковник. — Вы можете говорить об этом сейчас, когда решаются, быть может, судьбы Европы... когда происходят события! Вы ничего не знаете? — Он увлекает его за собой. Они садятся в пустой ложе длинного и сумрачного здания манежа. — В России переворот, — говорит полковник, скандируя. — Военное восстание, бунт... войска изменили вождям и перешли на сторону народа. Восточный коммунизм накануне гибели. Мы можем завоевать симпатии масс, если сумеем завладеть политическими высотами. История отдает себя в наши руки. Если на этот раз мы пропустим момент... кто знает, что будет назавтра!

Его скрипучий голос впервые обретает торжественную убедительность. Он начинает заражать адвоката. Шпора на его правой ноге сама собой дрожит и позванивает. Мсье Нивуа чувствует, как старый боевой дух поднимается в нем. Кроме того, он окрепнул, его возродила верховая езда... его икры приобрели твердость. Стэк в его руке не погонялка, а уверенная сила воздействия. Он дает шенкеля норовистому жеребцу «Анжелло».

— Откуда у вас такие сведения? — говорит он. — Опять из эмигрантских источников?

— Нет! — Глаза полковника полны необычного боевого огня. — Нет! На этот раз это проверенные сведения европейских телеграфных агентств. Корреспондент из Риги сообщает подробности восстания в Москве. Самые опасные фигуры сброшены и убиты. Может быть, завтра наши самолеты полетят на Москву. Восточная опасность рухнула, как глиняный колосс, ее раздавила история. Если на этот раз мы останемся в хвосте, тогда прав Карно... любой демагог сможет нас уничтожить. Сегодня в час дня завтрак в ресторане «Версаль». Будут редактор Журден и журналист Жюль Лярош... нам нужна

пресса. Мы повели слишком вяло нашу политическую борьбу... противник оказался сильнее.

Шпора мсье Нивуа звенит безостановочно. Может быть, опять сплетни, опять сенсации, опять газетные выдумки... Довериться им, снова окунуться в политическую борьбу? В конюшне страстно ржет жеребец. Приходит конюх и говорит:

— Лошадь готова, господин адвокат.

Мсье Нивуа смотрит на его черные усы. Отказаться опять от карьеры, которая сама отдается в руки... может быть, дожидаться, когда депутат Карно получит в новом министерстве портфель? Он чувствует, что не может совершить обычной двухчасовой тренировки.

— Я не поеду сегодня... — говорит он. — У меня срочное дело.

Конюх уходит. Жеребец ржет прощально и меланхолически. Боевой конь... он мог бы пронести по полям битв! Полковник д'Эшероль продолжает:

— Мы получим от Журдена последнюю информацию. Телеграфное сообщение с Россией прервано. В Москве происходят бои. Кремль пал. Нам нужна твердая тактика. Посмотрим, что запоют наши коммунисты, получив эти сведения.

Его вторжение в манеж перемешало всё в адвокате. Вороной жеребец поблек, и его металлическое ржание означает не более, чем жажду овса.

— Вы уверены в правильности этих слухов? — говорит мсье Нивуа.

— Вполне. Сегодня в газетах вы прочтете подробности.

— После Версальского мира это, пожалуй, самое выдающееся событие в Европе, — произносит мсье Нивуа.

— Если добавить к этому, что Германия, которая спекулировала все время ростом коммунизма и требовала новых отсрочек, — Германия не сможет продолжать свою авантюру. На этот раз мы приберем ее к рукам. Завтра возвращается из поездки по Восточной Европе военный эксперт полковник Морис... мы организуем с ним встречу. Он сочувствует нашему направлению, хотя предпочитает оставаться вне партий.

На этот раз полковник говорит деловито и убедительно. Мсье Нивуа отлаживает свое галифэ.

— Мне нужно заехать домой переодеться...

— Отлично. В нашем распоряжении полтора часа времени. Я буду сопровождать вас.

Париж продолжает жить своей обычной жизнью. Сенсация, кажется, не разбудила его. Но газетчики бегут с кипами полдневных газет. Адвокат просовывает руку в окошко автомобиля и покупает газету. Переворот в России. Бои на улицах Москвы. Это напечатано заглавными буквами. Итак, все свершилось. Восточный колосс, устранивший Европу, обрушился. Мировое коммунистическое движение потерпело аварию. Главное, направить страсти по нужному руслу. Он возбужден. Сухой горбатый нос полковника как бы вырезан из папье-маше. События переполняют тесную каретку такси. Мсье Нивуа хочется ускорить ее бег. У шофера тупой медлительный затылок. Крутые ступеньки деревянной лестницы скрипят. Галифе, свиные коричневые краги, черный короткий пиджак с красной гвоздичкой — все летит в кучу. Полковник дожидается его в кабинете. Адвокат в голубых кальсонах, схваченных на икрах подвязками, шагает по спальне. Черный костюм? Да, лучше всего черный строгий костюм. Это более всего подходит к моменту. Если бы тугая розетка Почетного легиона украшала его петлицу! Он взглядывает с сожалением на красную гвоздичку в петлице сброшенного пиджака. Наконец он готов. Полковник выкурил три сигареты. Из тучи несет косой дождь. Дует ветер, и каретка такси медленно едет по мокрому асфальту. Столик в ресторане накрыт в глубине, в самой отдаленной комнате. Хозяин понимает, что это не простой завтрак. Это политический завтрак.

Редактор Журден приходит следом. Это низковатый гасконец, с волосами, начесанными челкой на лоб, с галстуком, уехавшим на сторону, с десятком газет, торчащих из кармана его пиджака. Ему некогда. Он может уделить завтраку только полтора часа времени. Он развешивает на крючки вешалки зонтик, шляпу, пальто, тяжелый портфель. У этого человека в руках сила. Мсье Нивуа даже поглядывает на его толстые руки с короткими пальцами. Кто

знает, какая из идей в этом политическом круговороте станет руководящей идеей? Редактор садится, по-бычьему наклоняет свой лоб с черной челкой и молча дожидается начала. Его молчание значительно. Слишком много событий, чтобы можно было рассеять их пустой болтовней. Следом за ним приходит журналист Жюль Камилль Лярош. Журналист — высокий, полный молодой человек, один из тех удачливых репортеров, которые во-время сумели куда-то проникнуть, сделать сенсацию, разоблачить... кроме того, в течение года он был секретарем у выдающегося политического деятеля. Это дало ему связи. Молодой человек был в России и написал три года назад свою книгу путевых впечатлений: «Большевики и Европа». Он считается специалистом по русским делам. У него вид человека, знающего слишком много. Он снисходителен, несмотря на возраст, и прожорлив. Его двойной подбородок лежит на воротничке жирной складкой. Он засовывает движением гастронома в вырез жилета салфетку. Гора салата с хрустом исчезает в его рту. Первое время все едят и пьют. Изредка кто-нибудь произносит: «Не плохое вино», «Паштет приготовлен с орехами», «Эта салями должна быть нарезана тонко, как лепестки». Один только журналист ничего не произносит и ест. Он отпробовал всех закусок и кладет себе третью сардину. Он прополаскивает вином рот. На его толстом бритом подбородке амура блестит масло. Вино и своевременный завтрак настраивают всех предприимчиво. Редактор выжидает, пока уберут тарелки. Затем наконец он начинает беседу.

— Наш сегодняшний завтрак приурочен к некоторым событиям, — говорит он отрывисто и не глядя ни на кого. — Я бы сказал, к событиям чрезвычайным. Нам следовало бы обменяться мнениями в тесном кругу. События, произошедшие за последние дни, свидетельствуют о конце жесточайшего за всю историю человечества режима... московское правительство свергнуто. Все дело в том, какие формы примет народное движение. Мы не должны себя обольщать. Побежденные не сдадутся так быстро. Они могут еще готовить сюрпризы. Наша задача — это осветить истин-

ный смысл событий и подумать о том, каким способом мы сможем протянуть руку помощи героическому народу!..

Гарсоны сменяют тарелки. На этот раз это рыба «тон», прожаренная в масле. Редактор делает передышку.

— Я участвовал в ловле «тон» в Бретани, — говорит вдруг журналист. — В прошлом году. В Дюарненэ. Необыкновенный случай, одна рыбина запуталась в сардиночной сети.

Всем кажется, что он сказал это умышленно, чтобы не продолжали беседы при посторонних. Но он ест безмятежно и обсасывает рыбы кости. Этот молодой человек далеко пойдет. Первым берет слово полковник. Он начинает сразу горячо и поднимает настроение у остальных.

— Довольно болтовни. Пора действовать! На этот раз демагоги сломают себе шею. В Париже был штаб, это несомненно... он получал директивы из Москвы. Пускай попробуют теперь организовать мнение рабочих. Военный эксперт полковник Морис возвращается из Восточной Европы... он сможет нам дать информацию о том впечатлении, какое произвели на восточных соседей московские события.

Журналист неохотно отрывается от рыбы.

— Мы имеем и без него информацию, — говорит он высокомерно.

Затем он вытирает о салфетку жирные пальцы. Полковник д'Эшероль продолжает:

— Закат коммунистических идей должен способствовать расцвету радикальных и прогрессивных идей на Западе. Если оставить в стороне русские события, мы прежде всего должны обратиться к странам, проигравшим войну. Я говорю о Германии. Свыше десяти лет прошло после Версальского мира, но получила ли Франция всё, что она должна была получить? Мы дважды уже пересматривали вопрос о долгах. Германия спекулирует на событиях, она не хочет платить. Она ссылается на экономический кризис. Побежденный народ должен стоять на коленях! Наше поколение родилось с тоской о реванше. Мы бредили Эльзасом... но где торжество наших побед? Где? Мы торжественно перенесли в Париж прах героя, чтобы

над его священной могилой исказить величие нашей победы. Крах коммунизма означает для нас движение вперед. Мы против пересмотра договоров, мы против сентиментальных планов новых отсрочек платежей. Победа есть победа! Если кто-нибудь из министров думает иначе, он будет свален в ящик истории.

Редактор молча выслушивает его речь. Мсье Нивуа впервые внимательно слушал полковника. Это старое поколение... в нем горячая кровь, истинный патриотизм, неугасающий дух великих традиций! Один журналист сидит сонно и шиплет хлеб. Его оскорбляют речи, как речи профанов в присутствии знатока. Он дожидается конца перерыва и с жадностью набрасывается на пулярку. Ему достается филе. Белое мягкое мясо, скользковатое от нежности. Его движения впервые утрачивают сонную медлительность. Нож его стучит о тарелку. Он выворачивает косточку с остервенением и искусством оператора. Он обгладывает на ней хрящеватые части и соединения. Пулярка разом прерывает общее красноречие. Все едят, похрустывают костями, высасывают из них сладкий мозг. Белое легкое вино тем временем сменили тяжелым красным. Вилками и кусочками хлеба все поддевают беловатый густой соус с шампиньонами. Журналист вытирает пальцы, подбородок и щеки. Он отяжелел. Он оглядывает собеседников. Теперь он мог бы начать говорить. Он говорит небрежно, оставляя за каждым словом нераскрытый смысл. Он говорит наполовину, скорее намеками, как истинный деятель, который не должен всего договорить до конца.

— Еще три года назад, когда вышла моя книга о России, я предсказывал падение большевизма, — говорит он. — Поездки по России, знакомство с жизнью народа дали мне понимание русского вопроса. Большевики держались на терроре. Я совершил поездку по Волге до Астрахани на пароходе и поездку на Кавказ... я ехал до Тифлиса по дикой Военно-Грузинской дороге. Я слишком многое видел! Уже тогда недовольство рабочих готово было вылиться в бунт. Теперь это случилось. Застает ли это Европу врасплох? Нет, мы подготовле-

ны. Конечно мы не можем руководить отсюда народным движением. Но здесь есть русские деятели, которые волей истории были оторваны от руководства страной. Кроме того... в высшей степени разумна и поучительна была бы помощь народов, непосредственно граничащих с Россией. Я не имею в виду интервенции. Наш генеральный штаб пропустил все сроки. История впишет ему это в послужной список. Я имею в виду посылку некоторых частей для поддержания порядка... это могут сделать Польша, Румыния и Финляндия. Впрочем это вопрос особый, здесь не место о нем говорить. Ближайшие дни сами наметят нужные действия. Что касается нашей задачи, то первое: нам необходимо организовать общественное мнение... (редактор кивает головой)... дать ряд разоблачительных статей... (редактор снова кивает головой)... и наконец — но это уже дело министерства внутренних дел... здесь опять не место об этом говорить... запретить всякие коммунистические митинги, собрания и демонстрации.

— Наша политическая борьба должна выйти из академических рамок, — перебивает его вдруг мсье Нивуа. — даже сам поражается страстности своего выкрика. — Довольно парламентской болтовни. Мы будем действовать! — Он вспоминает обиду, нанесенную ему на последнем диспуте. — Кроме того, коммунистические депутаты должны быть лишены права неприкосновенности, — добавляет он.

Журналист смотрит мимо. Его прервали. Он продолжает высокомерно свою речь.

— Заинтересованные круги будут действовать. Они уже действуют, — произносит он, опять не договаривая всего до конца. — Может быть, пока мы сидим здесь за столом, уже происходят такие события, что мы содрогнемся завтра. История не ждет. Она движется.

Внезапно он умолкает. Приносят блюдо с сырами. Сыры лежат всех цветов, гладкие, лоснящиеся и морщинистые, как старческая кожа. Вторжение сыров опять нарушило стройность беседы. Наступает момент колебания: какой сыр

предпочесть? Предпочесть ли мягкий маслянистый с его непристойным запахом — камамбер? Или козий сухой сырок, в котором покоится целая пастораль? Адвокат, поколебавшись, отрезает кусок камамбера. Редактор разделяет его вкус. Он тоже отрезает камамбер. Журналист лениво и медлительно берет себе козий сырок. Этот высший деликатес — сыр пастухов и придорожных таверен. Затем он отрезает кусок зеленоватого рокфора. Он не отказывает себе ни в чем, этот молодой человек, и дает потворство всем своим вкусам. Он ест сначала козий сырок, затем заливает его вином и принимается за рокфор. У него есть выдержка и пренебрежение к условностям. Таковы люди нового поколения. Адвокат начинает сожалеть, что не взял сразу честера или сливочный стоубик жервэ. Он колеблется и хотел бы отрезать другой кусок, но проворный гарсон слишком быстро уносит блюдо. Конечно сыр дается на десерт не для насыщения, а только для вкуса. Это последняя нота вкусовой гаммы. Чашечка черного кофе. Журналисту наливают еще полную рюмку кальвадосу. Он пьет кальвадос. У него могучий желудок. Полковник д'Эшероль страдает коликом. Ему запрещено все сырое и острое. Мысли вдруг становятся вялыми, отягощенные завтраком. Редактор Журден смотрит на часы. Завтра в газете он даст передовую статью — обращение к интеллектуальной Европе. Кроме того, в завтрашнем номере будет помещена беседа с высших духовным лицом, одним из руководителей русской церкви на Западе. Мсье Нивуа немного разочарован. Прежде всего он следил все время за журналистом. Какая уверенность в словах и поступках. Пустяковый эпизод с сыром. Но он показывает, что человек повелевает своими чувствами... он не подчиняет себя жалким условностям, которые только уродуют жизнь! Кроме того, его, Нивуа, разочаровала информация. В сущности никто ничего не добавил к тем сведениям, которые уже появились в газетах. Полковник преувеличивал. Весьма возможно, что этот молодой человек и знает еще кое-что, но он предпочитает молчать. Мсье Нивуа проникается к нему завистью. Это настоящий представитель нового поколения. Он

уверенно движется вперед. Он распаивает ворота своей судьбы, как садовую калитку.

Завтрак окончен. Редактор снова смотрит на часы. Все поднимаются. Журналист сразу нанимает такси и укатывает в неизвестном направлении. Мсье Нивуа чувствует, что его размеренный день безнадежно испорчен. Ему хочется действовать. Он не может сейчас отделиться своим будничным адвокатским делом. Равнодушный Париж, продолжающий свою обычную жизнь, приводит его в ярость. Европа стоит на ущербе — это ясно. Никто не хочет борьбы. Борьбы хотят только горячие сердца, передовые умы, люди неостывающей крови. В восемь часов назначено собрание. Будут депутат Моринье, бывший министр Танжер и, возможно, представители из руководящих сфер. Озабоченный, равнодушный Париж с его обычными запахами бензина и копоти! Мсье Нивуа хотелось бы почувствовать сейчас дикий запах конского пота и сильное дыхание красных ноздрей жеребца... К сожалению, в третьем часу он должен быть в конторе нотариуса. Его адвокатский портфель впервые кажется ему набухшим скучными днями адвокатской непримечательной жизни. Вместо дела о взыскании пяти тысяч франков в нем могли бы находиться стратегический план, секретные документы, политический отчет о событиях, которого ожидали бы от него в министерстве на набережной д'Орсай. Он поднялся бы торопливо по ступеням дворца, и длинные коридоры с дверьми, за которыми вершится политика Франции, отразили бы его деловые шаги... Он прощается с полковником до восьми часов вечера. Контора нотариуса неподалеку, на углу. Нотариус сидит в своей стеклянной клетке, отделяющей его от подчиненных. У него жирные губы и синий раздвоенный подбородок, похожий на младенческие ягодицы. Его густые курчавые волосы стоят на голове как ведро.

— Господин адвокат! — восклицает он. — Какие новости, господин адвокат?

Мсье Нивуа опускается на стул. Он смотрит на черную шерсть, растущую на пальцах нотариуса, и на его волосы, густые и жесткие, как внутренность сидения кресла.

— Слишком много новостей, мсье Жирар, — говорит он. — Кто знает, что завтра ожидает Европу! В России переворот.

— А, в России переворот. — Нотариус принимает это сообщение равнодушно. — Этого и следовало ожидать. Интересно, что скажут теперь держатели русских бумаг. Я полагаю, что русские бумаги поднимутся вверх. В свое время их можно было купить за бесценок.

На его толстом пальце блистает кольцо, огромное, как пряжка ботинка.

— Может быть, наконец мы получим немного и по нашему военному займу!

Ему приносят на подпись копию. Он перечитывает ее и ставит внизу свою подпись, витиеватую и многоярусную, как геральдическое дерево.

Над Северным побережьем пронесется шторм. Всю ночь хлопают ставни, гремит железо, ветер задувает в камин. На Северном море, на Атлантике у берегов Бретани гибнут суда. Всю ночь мучают подагрические боли в ноге. Утром комната выветрена ветром, задувавшим из камина. Газеты не приносят ничего нового. Телеграфное и телефонное сообщение с Москвой продолжает быть прерванным. Из Германии приходят странные и противоречивые сведения. В Берлине происходят коммунистические демонстрации и стычки с полицией. Вдобавок шли с лозунгами, призывавшими к защите Советов. Конечно, вероятней всего, что это лишь политический маневр. Германия всеми способами ищет уступок. Москва продолжает зловеще молчать. Последние насильственные попытки скрыть события, воспрепятствовать огласке в Европе! Еще один день оттяжки. Корреспонденты рижских и варшавских газет передают достоверные сведения, к сожалению, официальная печать продолжает молчать. Ей нужны доказательства. Может быть, доставить в редакции головы казенных вождей? Мсье Нивуа слушает непогоду. На его письменном столе лежит несвоевременное приглашение принять участие в восресенье в «конкур-итпик», в этих праздничных конских состязаниях. Нет, дорогие бескорыстные друзья, любители лошадей, бодрые кавалеристы... сейчас иные дела, иные перспективы! Это боль-

шой, тяжкий и вдобавок неблагодарный труд — общественное служение. Он, Нивуа, рожден с темпераментом бойца... это уничтожает возможности личного счастья, личных утех. Утренние газеты сообщают еще о шторме, свирепствующем на Северном побережье. В устье Эльбы затонул пароход. Десятки погибших рыбацких судов вдоль побережья Бретани. Опять траур, плач колоколов, рыдания женщин. Какое несчастливое время! Какая безрадостная эпоха. Нет, вероятно, ни одного счастливого человека на этой потерянной земле!

От бриоша, который он ест утром к кофе, пахнет плохим маслом. Опять брали хлеб не в той булочной, или, может быть, испортилась эта? Кто ныне дорожит клиентами? Все неверно, все непрочное, все непостоянно. Он начинает день с раздражения и подагрических болей. Во всем виноваты непогода и неопределенность событий. Почему официальная печать не дала ни одной комментирующей статьи, почему правительство не поместило коммюнике об этих потрясающих событиях в Восточной Европе? Аэропланы стоят наготове, но на них никто не летит. Он написал статью для газеты о задачах европейской политики, день назад ее восторженно приветствовал Журден, но она не появилась ни вчера, ни сегодня. Он решает захватить в редакцию. Кроме того, в семь часов полковник д'Эшероль устраивает свидание с военным экспертом полковником Морис. Он только вчера возвратился из Восточной Европы и привез последние сведения. Адвокатский день перемежеван политикой.

В половине второго мсье Нивуа заезжает в редакцию. В этом здании с десятками дверей, с треском машинок, с гулом типографских валов делаются политика, сенсация, создаются репутации и уничтожается слава. Даже запах испачканных гранок волнует здесь. Ему приходится свыше получаса дожидаться приема. Из кабинета редактора выходят озабоченные люди с гранками, рукописями и телеграммами. Готовится выпуск вечернего издания газеты. Наконец секретарь впускает мсье Нивуа. Журден сидит за своим редакторским столом, загроуженным бумагами. Около него два телефона. В книжном шкапу блестят

толстые золотые корешки Большой энциклопедии. На стене висит географическая карта Европы.

— Добрый день, господин адвокат, — говорит Журден, как бы возвращая себя на минуту к интимности. — У вас плохой вид. Вы нездоровы?

— Благодарю вас. На меня действует непогода.

— О, ужасный шторм... и столько жертв! На Северном море погиб пароход со всем экипажем, — он похлопывает рукой по телеграмме.

— Что с моей статьей, дорогой Журден? — спрашивает адвокат. — Она не появилась ни вчера, ни сегодня.

Редактор потирает глаз.

— Мы ее задержали немного, — говорит он затем. — Статья по существу правильная, но мы хотели бы дожидаться подтверждения сведений.

— Как, вы сомневаетесь в событиях?..

— Нет, мы не сомневаемся в событиях. Но мы хотим точных данных. У нас нет непосредственных сведений... телеграф и телефон прерваны.

Мсье Нивуа смотрит на его черную чолку, прикрывающую невысокий лоб гасконца.

— Я буду иметь сегодня свидание с полковником Морис... это военный эксперт. Он только-что вернулся из Восточной Европы.

— Что нового может сообщить полковник Морис? — говорит Журден кисло. — Величайшие европейские агентства не имеют сведений. Московские корреспонденты европейских газет не могут послать телеграмм.

Его скептицизм и кислое настроение начинают раздражать мсье Нивуа.

— Я хочу знать, пойдет моя статья или нет, — говорит он, глядя мимо, на деревянную резьбу стола.

Редактор сидит, откинувшись в кресле и как бы предаваясь своим видениям.

— Я не могу сказать ни да, ни нет, — отвечает он наконец. — Статья по существу правильная, но она основывается на непроверенных данных... Политика, это — весы, — добавляет он глубокомысленно. — Сегодня одна чашка весов наверху, завтра другая. Газете надо избегать крайностей. Крайности всегда могут быть ошибочны.

Может быть, он недоволен завтраком — этот обжора, гасконец? Его глубокомысленный вид во всяком случае смешон и неуместен. Мсье Нивуа поднимается:

— Не надо было принимать статьи, — говорит он холодно и величественно. — Я бы мог поместить ее в другом издании.

Редактор остается сидеть в своем кресле. Он привык к обидам и самолюбиям.

— Что делать, господин адвокат, — отвечает он, пожимая плечами. — Мы можем вернуть вам вашу статью.

— Хорошо. Верните мне мою статью.

Редактор роется в бумагах и достает гранки. Как, она даже набрана — его статья? Она только не увидела света. Чьи-то происки помешали дойти до читателей ее горячему призыву. Может быть, и сюда успел забежать Карно? Адвокат прячет гранки в карман, кивает головой и выходит из кабинета. Минуту спустя, идя по коридору, он сожалеет, что погорячился. Статья могла еще пойти... она была набрана. Кроме того, он вышел из кабинета, даже не протянув на прощанье руку. Он нажил себе врага — и притом влиятельного врага. В его рту становится кисло. Он раскаялся и готов вернуться в кабинет. Он войдет в кабинет и скажет шутливо: «Вот статья... хотите — печатайте ее, хотите — нет. Вам виднее. Не будем создавать из-за пустяков инцидентов, дорогой Журден...» Вероятно Журден улыбнется, возьмет статью, они поболтают еще, и он уйдет успокоенный. Но ноги сами собой продолжают нести его вниз. Он покидает редакцию. Нелогода продолжается. Ветер налетает и бьет. Внезапно начинается ледяная крупа. Она больно хлещет лицо. Зачем он послушал полковника и ушел в то утро из манежа? Бескорыстные лошади, их горячий храп, бодрый запах их кожи, ощущение упругости своих икр... Увы, икры его уже обмякли, как будто он не тренировал себя в течение месяца. Он продолжает свой вялый адвокатский день. Ему предстоит опять посещение нотариуса. Он с отвращением думает о его стоячих волосах, похожих на распоротую обивку кресла. Затем — прием клиентов, которые приходят со своими скучными ко-

рыстями и домогательствами. Он был бы рад сейчас даже встрече с депутатом Моринье... депутат бывает в палате, он в курсе политики, он пользуется не случайной информацией, а проверенными источниками. Зачем он, Нивуа, променял родной город, кроткую провинцию на этот шумный и неблагоприятный Париж? Он стал бы известен в своем округе, его бы выбрали депутатом... в его честь переименовали бы улицу! Он ощущает свою жизнь непоправимо испорченной. Вдобавок за весь свой путь он не нашел любящего сердца спутницы. Он остался холостяком. Его хозяйством заведует старая тетка. Она выживает понемногу из ума и не расстается с японской паршивой собачонкой... у собачонки базедовые глаза и глисты. Это совершенно несомненно — у нее глисты. Опять нотариус блистает своим перстнем, похожим на башмачную пряжку, опять он говорит о русских бумагах. Они полезли было вверх, но задержались в своем подеме. Опять приходят клиенты. Невозвращенные долги, протестованные векселя, кассационные волокиты... На обед тетка выполняет со своей японской собачонкой. Болонка малярийно звенит бубенчиками.

— Уберите собаку, — говорит мсье Нивуа. — Кажется, к столу можно было бы выходить без собаки.

— Я не узнаю вас, Пьер, — говорит тетка.

У нее на цепочке висит распятие. Она похожа на старого патера. На обед подают гороховый суп со свиной и отбивную котлету. Мсье Нивуа без аппетита ест постную домашнюю стряпню. Может быть, следовало бы перейти на обеды в ресторане. Не слишком ли он себя ограничил во всем? У него начинается изжога. Тетка ест, отставляя свои костлявые локти в узких черных рукавах платья, похожего на сутану. Приторный компот из чернослива. Тетка со стуком выплевывает косточки на тарелку. После обеда он ложится отдохнуть на диван. Шторм громыхает железом вывесок. В комнате холодно и задувает из окон и из камина. Можно было бы велеть затопить камин, но у него нет сил двигаться. Он дремлет и слушает торопливый звон бубенчиков собачонки. Японское исчадие с широко расставленными

глазами!.. Его ноги стыннут. Он покрывает их пледом. Звонки в парадной. Приходит письмо по пневматической почте. Полковник д'Эшероль подтверждает, что свидание состоится ровно в 8 часов в его квартире на улице Франсуа I. Вечер наползает, подгоняемый непогодой.

В четверть восьмого адвокат пробуждается от своей послеобеденной одури. Он переодевается, расчесывает волосы справа налево и прикрывает лысину. Отдых все же его подкрепил. Холодная ледяная крупа продолжает сыпаться сверху. Стекла автомобиля запотевают. На мосту Александра III ветер сбивает с ног пешеходов. Сена вздулась и даже катит мелкие волны. Автомобиль пересекает площадь Канады. Полковник д'Эшероль живет в старом спокойном доме. Встреча состоится в его квартире. Это указывает на важность свидания. Горничная открывает дверь. В передней и в маленькой гостиной расставлены и развешены редкости и экзотические коллекции — следы колониальной службы полковника. Негритянские божки и кожаные цветные подушки, щиты, копья и деревянная домашняя утварь. Полковник встречает на пороге своего кабинета. На круглом столике стоят бутылка аперитива и рюмки. Гость уже здесь. Может быть, он даже обедал здесь. Мсье Нивуа чувствует легкий укол обиды.

— Дорогой Морис, позвольте представить вам господина адвоката Нивуа.

Высокий, сухой человек с горбатым носом и седыми подстриженными усами. Золотые дубовые листья на его воротнике сдержанно блестят и говорят о заслугах. На его груди слева цветной спектр ленточек орденков. Адвокат садится в кресло. Полковник сидит, положив на колени руки. Он холоден и бесстрастен. У него острые глаза и линия воли на лице. Полковник д'Эшероль наливает рюмку аперитива. Что-то неверное и уклончивое есть сейчас в его тополивых движениях.

— Может быть, мы начнем, дорогой Морис? — говорит он. Гость выслушивает его безучастно. — Мы бы хотели полную картину событий на Востоке.

— Подробности московских событий... — вставляет адвокат.

На этот раз полковник скашивает на него глаза.

— Сколько мне известно, в Москве никаких событий не произошло, — говорит он. — Впрочем прочтите сами.

Он подает ему выпуск вечерней газеты. Берлину удалось соединиться по телефону с Москвой. На улицах Москвы полное спокойствие. Выпал снег. Усиленный снегопад вызвал перерыв в телеграфном и телефонном сообщении. Мсье Нивуа перечитывает телеграмму.

— Это ложь! — говорит он и смотрит на полковника д'Эшероля.

Полковник мигает и пожимает плечами.

— Это — европейская пресса, — говорит он наконец. — Нельзя верить даже испытанным агентствам...

Как, и на этот раз слух... эмигрантские сплетни... биржевая игра... закулисные махинации... Мсье Нивуа смотрит на хозяина, затем на гостя, затем опять на хозяина. Ему становится трудно дышать. Он выпивает рюмку аперитива.

— Вы хотели узнать мое мнение о положении в Восточной Европе, — говорит наконец полковник Морис. У него холодный, невибрирующий голос. Он экономит движения и говорит, глядя перед собой. — Мое мнение, что только легкомысленные умы или те, кому в данный момент это выгодно, могут обольщать себя иллюзиями. Они играют на-руку тем, кто ускоряет мнимые события. События происходят, но это иные события, чем мы бы хотели. Опасность коммунизма в Европе не только существует, она приближается. Если в Германии вспыхнет революция, Германия соединится с Россией... к ним примкнут Нижняя Австрия, Польша, Литва, еще несколько стран. Европа в том виде, в каком мы ее знаем, исчезнет.

Его палец указывает на географическую карту. Мсье Нивуа невольно поворачивает голову. Он видит Европу. Он видит знакомый материк, моря и заливы. Ее похищают, Европу! Он смотрит опять на полковника. Это — не злощастный болтун. Он все понимает. Он видит опасность. Политика для него не цель, но следствие. Цветные ленточки заслуг не вырастают сами по себе на груди. За его плечами служба в колониях, генеральный штаб, экспертиза в европейских делах. Он не многословен и резок. У него голос военного. Этих



людей породила война. Они умеют повелевать и расстреливать.

— Пока мы здесь совещаемся или негодумем, большевики построят свою индустрию. Они двинутся на Европу не с пустыми руками. У них есть первоклассная армия. Франция должна быть готова. Все силы, направленные к предотвращению этой неслыханной опасности для Европы, должны быть соединены в одних руках.

Мсье Нивуа слушает его. Его приглаженные волосы сами по себе отклеились и обнажили лысину. Он как-то обмяк и осел в кресле.

— А как же Москва? — говорит он вдруг. — Известия о перевороте?..

— В Москве ничего не случилось, — отвечает полковник холодно.

— Этот болтун Журден, — бормочет полковник д'Эшероль, — он просто предпочел промолчать.

Мсье Нивуа смотрит мимо него и видит депутата Карно. Депутат Карно растет и ширится, он занимает полкомнаты. У него аршинные висячие усы и мешки под глазами. Он поднимает указательный палец и, торжествуя, указывает на него, Нивуа, как минуту назад полковник указывал на карту Европы. Адвокат вытирает пальцами свой запотевший лоб. Да, полковник Морис знает, что делать. Он не станет расходовать себя в бесплодных речах. Его подстриженные усы прикрывают молчаливый рот. Он даже не согласился на встречу где-нибудь в кафе или ресторане. Через день он уезжает в Лондон. У него таинственная и величественная карьера. Мсье Нивуа ощущает на плечах свой жалкий черный пиджак. Его политическая жизнь не удалась, это ясно... полковник д'Эшероль занимается политикой на досуге своей военной отставки. Ему нужна деятельность, чтобы не скучать среди своих африканских коллекций. Ему шестьдесят третий год... но он, Нивуа, — ему нет пятидесяти, он в расцвете человеческих сил, он в том возрасте, когда писатели из молодых и подающих надежды становятся мэтрами. Зачем он променял великодушную провинцию на этот черствый и неблагодарный Париж? В его послужном списке нет ни одной награды, ничего — кроме обид. Он перестает быть противником

даже для Карно... его недавняя речь над могилой Давида может служить ему собственной эпитафией. В Москве выпал снег. Это всё. Журден хитрил за своим редакторским столом. Он все знал, но предпочитал лгать, нежели сознаться. Во Франции нет прессы... это можно сказать! Есть продажные писаки, жалкие газетчики, обзоры-редактора, проходимцы-журналисты, в роде Ляроша...

Полковник продолжает:

— Для всякой политической партии важно прежде всего знать реальное соотношение сил. Симпатии к коммунизму в Европе растут... я имею в виду рабочие массы. Можно сказать только одно: мировому штабу коммунизма должен быть противопоставлен мировой штаб для борьбы с ним. Без этого... можно сожалеть... но с привычным представлением о Европе нам скоро придется расстаться.

У него четкий государственный ум. Он может быть военным министром или маршалом. Он будет им. Эти люди призваны делать историю. В их честь переименовывают улицы. И он позавидовал два дня назад дрянному журналистике, выскочке, обжоре и нахалу, который накладывает невозмутимо на тарелку сразу два сорта сыра... Его, Нивуа, незавидная жизнь встает перед ним во всем величии ее неудач. Зачем он вернулся из манежа на эту покинутую дорогу? Отдохнув, он мог искать другой путь... может быть, путь для сближения с Карно. Кто знает, на какие дороги еще зступит Европа, какие идеи будут торжествовать и кто явится на историческую арену для ее похищения?

В десять часов полковник Морис уходит. Хозяин провожает гостей. Опять шиты, копыя и голые блестящие животы негритянских божков.

— Марокко... — говорит полковник Морис. — Бог мой, как это все далеко!

Его шпоры хрустят по лестнице. Мсье Нивуа следует за ним, слегка отставая. Ветер с ледяной крупой ударяет в лицо.

— На Северном побережье свирепствует шторм, — говорит полковник. — Доброй ночи, господин адвокат.

Его дожидается машина. Нет такси. Адвокат идет пешком. В его рукава забирается ветер. На площади Канады ме-

тет ледяную крупу. Мост Инвалидов висит в тумане. Домой, домой... лечь, закрыться с головой одеялом, забыть неверные, лгущие глаза Журдена, надежду на реванш, самолюбивые мечты, голые животы негритянских божков... Впрочем, можно запомнить зато сухую, спокойную логику полковника Морис, его загадочные глаза, его поездку в Лондон по государственным делам. Это — оправданная судьба человека! Наконец проезжает такси. Мсье Нивуа закидывается в угол. Его ноги стынют. Фонари плывут жирными пятнами. После всего пережитого даже тоненькие бубенчики японской собачонки кажутся ему уютными... она-то по крайней мере не виновата ни в чем! Она не виновата даже в своих базедовых, широко расставленных глазках. Ему хочется уюта, тепла, любящей женской руки, существа, которому он мог бы рассказать все, что пережил... Тетушка еще не спит. Она вяжет. Ее худые локти в узких рукавах ходят из стороны в сторону.

— Тетя, — говорит он и целует ее сухую, плоскую руку. — Вы не спите, тетя? — Собачонка у его ног звенит бубенчиками. — Шторм бушует вдоль Северного побережья, — говорит он, — гибнут суда. В Северном море погиб пароход со всем экипажем. В Москве выпал снег.

— Зимой всегда ветер, — отвечает тетка.

Ее локти — верные локти. В них нет угров, происков или обид. Его рука опускается вниз и гладит крутую голову обнюхивающей его собачонки.

— Я отстраняюсь от политической жизни, — говорит он еще. — Теперь это решено... я порываю с партией. Я посылаю письмо, в котором изложу все наши разногласия. Может быть, коммунизм возьмет верх... в конце концов, в этом течении много светлых, положительных и полезных для человечества сторон. Европа сама затемняет для себя истинный смысл эпохи. Она дождетсЯ, что ее похитят — Европа!

Полный новых решений, он направляется в кабинет и пишет письмо о своих разногласиях. Его статья лежит в гранках, она так и не увидела света. Все к лучшему, все только к лучшему... тетя!

Сумерки вдвигаются в арку. Она начинает походить на фургон. Никто не приходит, и мокрая скамейка пуста. Пеллетье в десятый раз поднимается с места. Зимний ветер пробирается в рукава. Сесиль не придет — это ясно. Она обманула его. Зажигаются фонари. Площадь Согласия в конце Елисейских полей сияет праздничным светом. Третью неделю не появляется Цаткин. Может быть, он снова впал в бред? Полицейский в плаще проходит и смотрит на человека, который два часа дрогнет под ветром. Наконец он делает несколько шагов в его сторону.

— Здесь не место для ночлега, — говорит он недружелюбно.

— У меня назначена встреча.

— Странное место для встреч... и в такую погоду, — говорит полицейский назидательно.

Он проходит еще дважды мимо и возвращается на свой пост. Его грубое лицо обветрено и красно. Мало автомобилей пронесится мимо. Булонский лес дышит севером. Сесиль не пришла. Можно итти. Он опять потерял ее в этом городе. Зачем она оставила ему пятьдесят франков? Его мучает беспокойство. Он вошел в войну, Пеллетье, двадцатипятилетним. Теперь ему — под сорок. На фотографии, на которой он снят в военной форме, он видит прошлое. Оно отдалено от него целой жизнью. Десятилетие, равное жизни!.. Он подкидает наконец мокрую скамейку на площади Звезды. Он растерял за последние годы людей, как растеривал их на войне. Атаки продолжаютсЯ, друзья выбывают из строя. Он решает утром посетить клинику на улице д'Алезия. Бедный, заблудившийся в Париже художник! Зимний ветер заносит туманом и крупую Париж. От пятидесяти франков у него осталось еще двадцать франков. Четыре дня жизни. Наступила зима. Мороз сводит ноги. Пальцы его рук заоченели в карманах пиджака. Сесиль ушла в Париж — и поглотилась Парижем. Небо иссечено косыми полосами ледяной изморози. Он движется быстро, насколько позволяют легкие, и размахивает длинными руками, чтобы согреться...

Утро вползает медлительно и уныло, как похоронные дроги. Шторм, свиреп-

ствовавший над всей Европой, принес на своих плечах зиму. В нетопленной комнате поднимается пар. Путь на улицу д'Алезя лежит через город. Парк клиники гол и полон непогоды. Между мокрых веток деревьев запутался туман. Пеллетье проходит в сумрачные ворота, которые стерегут безумие. На окнах корпусов железные решетки. За стеклами желтые лица больных. Они смотрят на мокрый парк и на одинокого человека, идущего через двор. В вестибюле клиники пахнет застоявшимися запахами человеческой нечистоплотности. Двое больных в холщевых куртках и туфлях стоят на площадке. Щеки одного заросли седою щетиной; у него молодые глаза двадцатипятилетнего. Другой тучен, низок, безучастен и желт. Он часто и серьезно кивает головой, приветствуя посетителя. Служитель сидит у двери.

— Я бы хотел навестить больного, — говорит Пеллетье. — Он в пятой палате, это русский художник, его фамилия Цаткун.

Служитель вспоминает и думает.

— Я не помню такого, — говорит он наконец. — Справьтесь у дежурного врача.

Он проводит его в комнату дежурного врача. Дежурный врач — маленький, тощий человек с бледными скулами. Его худые детские руки подпирают голову.

— Я бы хотел навестить больного, — говорит Пеллетье, — это русский художник, его фамилия Цаткун, он находится в пятой палате. В последнее время он перестал выходить... может быть, он заболел?

Врач поднимает голову и смотрит на посетителя слабыми выцветшими глазами; в них как бы тоже таятся тени безумия.

— Русский художник? — говорит он. — Его фамилия Цаткун? Вы его друг? Вы хотели бы его видеть?

— Да, господин доктор.

— Вы не можете увидеть вашего друга, — говорит врач опять своим безучастным голосом. — К сожалению, это невозможно. — Он раскрывает длинную книгу и водит по ней пальцем. — Последние две недели он не поднимался с постели. 29 ноября он умер. Этого и

следовало ожидать. Он и так прожил дольше, чем мы предполагали.

— Он умер? — Пеллетье смотрит на жидкие волосы врача, на его маленькую детскую голову со слабыми близорукими глазами. — Он умер — Цаткун?..

— Вас это не должно удивлять. Склеротики в его состоянии не могут жить долго. Это болезнь мозга... склероз его сосудов. Все дело только в сроке. Для него это избавление в конце концов. Подождите минуту. Как ваша фамилия?

Он вызывает служителя. Пеллетье сидит на деревянной скамейке и смотрит перед собой. Париж. Он прекрасен и немилосерден — Париж! Он сияет жемчужиной в горделивой цепи городов. Этот жемчуг добывали со дна океана. У людей лопались сосуды и текла горлом кровь, пока они добывали его, жалкие искатели жемчуга и неудачливые водолазы!.. Врач сидит, подперев голову руками. Между пальцев его рук белеют плоские малокровные уши. Служитель возвращается. Он несет в руках сверток.

— Ваша фамилия Пеллетье? — говорит врач. — Да, этот сверток предназначен для вас. Вы можете взять его с собой. Рисунки больного мы оставили для музея нашей клиники. Впрочем они не представляют ценности.

Пеллетье разворачивает сверток. В свертке — старый берет художника, кленчатая записная книжка, несколько новых карандашей, листок меловой бумаги, свернутый в трубку и перевязанный ниткой, и записка. Пеллетье читает записку: «Я заболел, Пеллетье. Очень хорошее средство — чесночные капли. Мои рисунки поступают в Национальный музей». Потом подпись и приписка внизу: «Это старый рисунок. Его нужно отдать Люси. Она живет где-нибудь». Он сдерживает нитку и расправляет листок меловой бумаги. Это — Люси. Он узнает ее. Такой она была подростком. Ее нежный рот улыбается. За ее плечом переплет окна мастерской. Врач заглядывает сзади.

— Хороший рисунок, — говорит он. — Война погубила много дарований.

Пеллетье свертывает снова рисунок. — Я бы хотел знать, где его похоронили, — произносит он.

— Гм... в тех случаях, когда у умершего не остается близких, мы хороним

сообща по несколько человек. Это трудно сказать. Вероятней всего на кладбище Монруж или Жентии. До свидания, мсье.

Врач остался сидеть. Ему скучно здесь, в теснинах безумия. Пеллетье покидает клинику. Он идет по улице д'Алезия, затем по улице де-ля-Санте, мимо тюрьмы, мимо военного госпиталя Кошён. Он несет подмышкой сверток, который дожидался его прихода. Бульвар Порт-Рояль, железная решетка казарм иностранного легиона с часовым-сенегальцем у входа, авеню Гобелин. Уличка Крулебарб завалена серым туманом. Он приходит к знакомому дому и смотрит на мокрый двор. Кабриолет переживает людей. Он сторожит десятилетия. Консьержка сидит за своей стеклянной дверью и вяжет. Ее рука откидывает кружевную занавеску. Она открывает дверь и спрашивает пренебрежительно:

— Что вам нужно?

— Мадам, — говорит Пеллетье, — в вашем доме жила мадемуазель Люси... я не знаю, к сожалению, ее фамилии. На ее имя оставлен пакет. Я должен его передать ей.

Мадам Педенон пожимает плечами.

— Я не могу уследить за всеми бывшими квартирантами... приличные люди обыкновенно оставляют свои адреса. Справьтесь в «Казино де Пари», если ее там еще держат. Ее имя Люси Дюфон.

Она захлопывает дверь ударом ноги. Кружевная занавеска колышется. Опять мокрая медная тарелка цирюльника. С деревьев падают капли. Пеллетье идет вдоль облупленной кирпичной стены.

В три часа дня он приходит к «Казино де Пари». Вокзал Сент-Лазар, затем улицы Монмартра. Знаменитая мулатка улыбается с пестрых афиш, которыми обклеено здание. Ее ослепительные зубы сияют. Она стоит во весь рост, изогнув свою гибкую спину и выпятив озорной мальчишеский зад. В своих веселых зубах она держит цветок. Пеллетье минует главный подъезд с его афишами и фотографиями и останавливается перед высокою дверью соседнего входа. Дверь открыта. Узкий проход заставлен декорациями. Это — кулисы. Он входит в дверь и останавливается в проходе. Люди пробегают мимо

него. Никому нет до него дела. Наконец он видит человека в синем комбинезоне.

— Мне нужна мадемуазель Люси Дюфон, — говорит он. — Мне сказали, что она служит в «Казино де Пари».

— Мадемуазель Люси Дюфон? — повторяет человек. — Она артистка?

— Возможно, что она артистка.

— Пройдите сюда, за кулисы, и спросите у женщины, которая сидит у входа.

Пеллетье открывает дверь. Пожилая женщина сидит у входа.

— Мадемуазель Люси Дюфон? — говорит она. — Она занята на репетиции. Если вы хотите обождать...

Он остается ждать. Играет музыка. Женщины в феерических платях пробегают по коридору. На их одеяния нашиты золотые нити и блестки. У них обнаженные плечи. Они все рослы и молоды. Это — лучшая, отборная порода. Он прислоняется к стене и смотрит в глубину коридора. Уносятся звонки — короткие, длительные, означающие перемену, начало, антракт. Коридор наполняется женщинами. Их тела просвечивают, едва прикрытые тканями. У них розовые, необычайные лица.

— Антракт, — говорит служительница. — Сейчас мадемуазель Дюфон выйдет. У вас есть к ней письмо?

— Я хотел бы увидеть ее лично.

— Ваше имя?

— Моя фамилия — Пеллетье.

Он отделяется от стены и ждет, держа свою кепку в руках. Легкая женщина идет по коридору. На ее волосах золотой шлем. Золотые спирали браслетов обвивают ее тонкие руки. На ее плечи накинута халатик.

— Я — Люси Дюфон, — говорит она.

Люси... он смотрит на нее. Это — Люси? Он ищет в ее чертах, черты, которые он знал.

— Вы не помните меня... — бормочет он. — Я — Пеллетье.

Он замечает возле ее прекрасных глаз первые морщинки. Она начала уже увядать — Люси.

— Нет, я не знаю вас, — говорит она и качает головой.

— Это все равно впрочем. Дело не во мне. Вы помните художника Цатки-

на с улицы Крулебарб? Вы жили с ним в одном доме.

— Да, я помню его,—отвечает она недоуменно.

— Я должен передать вам этот рисунок... он умер — Цаткун, и он просил меня передать вам этот рисунок.

— Он умер — Цаткун? — Ее большие глаза становятся влажными. — Бедный Цаткун! — Она развертывает трубку рисунка. — Это — я... — восклицает она, — он рисовал меня девочкой, я вспоминаю!.. — Она смотрит на рисунок и видит далекую улочку, маленькую мастерскую и свою юность. Тогда мечталось легче и возвышенней. — Я сохранил этот рисунок, — говорит она грустно. — Отчего умер Цаткун?

— Его убила война, — отвечает Пеллетье.

Она поникает на минуту и смотрит снова на рисунок в своих руках. Халатик ее распахивается, и Пеллетье видит одеяние, в котором она танцует на сцене. Газовая юбочка и широкая лента через плечо, украшенная блестками и прикрывающая одну грудь. Другая маленькая остроконечная грудь обнажена. Она подетски озябла и покорно, бесстыдно и целомудренно показывает себя толпе.

— Вы служите здесь артисткой, мадемуазель? — спрашивает он.

— Да... у участвую в ревю. Нас очень много... мы исполняем маленькие роли.

Так это Париж, который вы хотели покорить, Люси! Вы шли к огням, к музыке, к славе, к этому неостановимому празднику на вечные времена и на удивление всем народам... но почему у вас первые морщинки возле глаз и складочка горечи у губ, которые уже не улыбаются, как в юности. Бедный Цаткун любил вас... это была стыдливая, запоздалая и бесполезная любовь. Из дома, где оберегает безумие, он прислал вам рисунок, сделанный в пору, когда вы прибегали подростком в его мастерскую и щебетали, как птица... Звонок развертывается в длину коридора. Антракт кончается.

— До свидания... благодарю вас, — говорит Люси. — Я вставлю в рамку этот рисунок. Вы были другом Цаткина?

— Да, я был его другом.

Она уходит, унося свою обнаженную, детскую и бесстыдную грудь. Ее маленькие ноги легко попирают пол. Человек в синем комбинезоне возится с декорациями.

— Вы нашли мадемуазель Дюфон? — спрашивает он.

— Да, благодарю вас... я нашел мадемуазель Дюфон.

Темная гибкая мулатка выгибает свою бескостную спину. Ее волосы гладко зачесаны назад. Она покорила Париж. В свертке остался берет. Карандаши и записную клеенчатую книжку он рассовал по карманам. «Я исполнил твое желание, Цаткун, — говорит он вслух. — Теперь остается только вернуть Давидовскому его записную книжку». Опять улыбающаяся мулатка смотрит на него. Десятки афиш с ее головой наклеены одна за другой на стене. Она проходит мимо целым отрядом своих белозубых улыбающихся изображений.

Редакторский стол завален гранками, снимками и перечеркнутыми статьями. На этот раз редактор Журден утратил свою обычную невозмутимость.

— Это материал для воскресного номера? — говорит он, швыряя снимки. — Это — материал для клерикальной газеты, которую читают священники и консерваторы!.. Ни одной острой статьи, ни одного приличного снимка, ни одного события! Опять в сотый раз снимки полетов, семейные трагедии, покушение на американского бутлегера... Может быть, нам перейти на хронику городских происшествий? Почему вы не побывали в министерстве иностранных дел?

Журналист Лярош холодно выслушивает его горячую патетику. Он слушает его и время от времени выковыривает из-под ногтей грязь уголком визитной карточки.

— Я предпочел задержать материал для обстоятельной статьи, — говорит он наконец. — Кроме того, я имел беседу с товарищем министра торговли по вопросу о борьбе с русским демпингом. Можно было бы дать интервью с крупнейшими представителями нашей промышленности.

Он говорит небрежно и продолжает чистить ногти уголком визитной карточки.

— Политический орган должен быть в авангарде эпохи, — говорит Журден, продолжая отшвыривать снимки. — Мы должны поднимать тираж не уголовной сенсацией, а деловыми статьями и информацией. Довольно сенсаций, которые не получают подтверждений!

— Нельзя рассчитывать, что целая система взлетит в один день на воздух, — отвечает невозмутимо журналист. — Каждая болезнь может иметь рецидивы.

Опять фотографические снимки летят из рук редактора.

— Посмотрите на эти снимки! Можно подумать, что фотобюро специализировалось на снимках коммунистических демонстраций. Пускай оно отправляет эти снимки по адресу.

Он приходит в раздражение. Журналист равнодушно просматривает снимки. Коммунистические демонстрации в Веддинге... коммунистический митинг в «Спорт-паласе», вдобавок сопровождаемый парадом полиции на грузовиках.

— Надо сказать, — говорит он вдруг лениво, — что полиция в Германии технически лучше вооружена, чем наша полиция. Франция отстает, к сожалению. Что касается большевиков, то это был только маневр. Обычная ловкость рук. Они прервали сообщение с Европой, чтобы поднять к себе интерес.

Его тон знатока, круглый выбритый подбородок, а главное развязность, с которой чистит он ногти, — все это начинает раздражать редактора. Он слишком развязен, этот молодой человек.

— Германские события тоже не существуют по-вашему? — спрашивает он вдруг. — Эти митинги и демонстрации — они были или их не было?

Журналист пожимает плечами.

— Возможно, что они были. Возможно также, что это сознательная провокация.

За окном сыплет снег. Это мокрый, ненастный и мгновенно тающий снег. Он походит на сор, сметаемый сверху.

— А я вам скажу, — говорит вдруг Журден, — что эти демонстрации были! Я вам скажу, что коммунисты имеют в Европе сторонников гораздо больше, чем мы это хотим вообразить. Я вам скажу, что Россия через несколько лет заговорит таким голосом, какого давно

не слыхала Европа. Я вам скажу, что старая Европа слишком надеется на традиции, на либеральный гуманизм и на политику. Может случиться так, что ее некому будет защищать!

Он выбрасывает стремительно все это и остается сидеть, погруженный в кресло. Журналист поднимает голову. Даже некоторый интерес проплывает в его сонных глазах. Он хотел бы продолжить беседу, но Журден пригибается к столу и придвигает к себе груды гранок. Он не расположен продолжать разговор. Журналист покидает редакторский кабинет. Он проходит коридором с его десятками дверей и заходит в свой отдел — отдел иностранной политики. Его бюро завалено свежими номерами газет и журналов. Рапортуют страны мира. Он просматривает газеты и фотографии. Несчастья и беспокойства сыплются на Европу. В послевоенном мире как бы бушуют горячие лихорадки человеческих страстей и стихия. Забастовки, освободительное движение в Индии, экономический кризис, растущая безработица, столкновения с полицией, наводнения, авиационные катастрофы, а главное — безверие, безверие и отсутствие реальных надежд. Он впервые теряет самоуверенность. Кроме того, эта истерическая патетика Журдена... какая муха укусила его? Или, может быть, эта ядовитая муха давно летает по Европе и сеет заразу безверья, сомнений и исторических кризисов? Ему тридцать три года. Он счастливо избежал войны. Неужели для того дана ему молодость, чтобы прожить ее в это мрачное десятилетие, когда люди перестали смеяться? Где беззаботность и смех, которые некогда царили в Латинском квартале? Разве похожи современные студенты на тех, которые воспеты в романах? Кто сменил романтическую богему Монпарнасса? Современные писатели стали мизантропами и гуманистами. Хорошим тоном считается сейчас болеть мировыми вопросами и выступать с коллективными письмами в защиту угнетаемых или с протестом против насилий. Это — молодость? Он смотрит на тревожные страницы газет. Может быть, уйти из газеты? Перекочевать в другой лагерь, где меньше сомневаются и больше действуют... но — в какой лагерь? Куда?

День за окном выцветает безнадежно. Грязный снег сыплется и тает. Зимний ветер. Восток давно уже укрыт снегом. Журналист зажигает лампу. Ее свет жалок и не отодвигает серого сумрака за окном. Он опускает шторы. Надо писать статью. Торговая политика и борьба с русским демпингом. Но если в результате борьбы Франция останется без русских заказов? Можно ли рассчитывать на солидарность других стран? Все хотят торговать. Всем после войны стало тесно. Каждая страна использует неудачи другой страны. Ему надо писать статью. Он вызывает машинистку.

— Я буду диктовать, — говорит он. Машинистка быстро хрустит валиком, вставляет лист, и худые, проворные пальцы молниеносно подхватывают его первую фразу.

Это — зима. Она наступает на Париж. Ее яростный ветер, который летит с океана, приносит ледяную крупу и туман. Деревья в саду Тюильри посыпаны снегом и траурно белеют. Автомобили торопят по авеню Деруледа. Огни фонарей мигают, и прохождение на улице Риволи пробегает мимо нарядных ярких витрин, не взглянув на блистающую мишуру. Обелиск Луксора на площади Согласия уходит в высоту, угрюмый и лишившийся завершенья, как смерч. Его застигает сверху непогода. Рваные башмаки погружаются в жидкое месиво, которое не успели соскresti. В Ламанше валяет корабли, и Англия отрезана сейчас зимним штормом. По временам снег залепляет глаза, и тогда видны только пузыри фонарей и эта декабрьская непогода. Пеллетье шагает сквозь улицы. Его кепка надвинута на глаза. По временам он топчется на месте, чтобы поглубже вздохнуть, и движется дальше. Он идет Елисейскими полями. Здесь проходила Сесиль. Маленькая, обезображенная Сесиль! Ее страшные шрамы и белые оспины от ожогов. Она ушла в тот вечер, и Париж поглотил ее. Он думает еще о Люси. Он вспоминает коридор варьетэ, клеевой запах декораций, сказочные костюмы, усыпанные блестками и стекларусом, далекую музыку, маленькую обнаженную грудь с девическим озябшим соском и первые морщинки у глаз. Ты

пела песни, Люси, и забегала в мастерскую подростком. Человек рисовал тебя. Он был художником. Ему выжгла глаза война. Но ты осталась похожей на рисунке со своим счастливым ртом и не встревоженной мечтою юности. Засаленный старый берет, несколько карандашей, рисунок, записка — это все, что осталось от человека. Он похоронен на кладбище Парижа. На котором, и где его могила? Он лежит в Париже, как неизвестный солдат, подобранный на поле сражения. Теперь остается только вернуть Давидовскому его дневник. Он больше ненужен никому. Последние комбатанты разошлись в стороны. Во дворе казарм Иностранного легиона не вывешена доска с именами тех, кто шел умирать добровольно за Францию.

Елисейские поля кончаются. Арка возникает в тумане и хаосе, крутящемся на площади Звезды. Синеватый огонь над могилой треплется, припадает, срывается. Какое одиночество! Поблекшие, затвердевшие цветы лежат на могиле. Они заморожены и тверды на ощупь, засахаренные крупой и оледеневшим дождем. Он спит здесь, Давидовский — его жалкие потемневшие кости, которые некогда были полны живых соков жизни. Он сторожит Войну — миновавшую, в которой он пал, и будущую, которую он призван осветить своей славой. Ледяная крупа шуршит по надгробному камню с высеченной в честь его надписью: «Здесь покоится французский солдат, умерший за родину». В местечке Красняны никто больше не смеет устроить погрома, никто! Сородичи покинули его, это жалкое захолустье с его невылазною грязью, нищетой, бакалеей, кривыми лачугами, служившими отчим домом для поколений. Пеллетье достает из кармана клеенчатую книжку. Никто не взглянет на заблудившегося человека, который ночью, в снеговую метель, пришел на площадь Звезды.

— Я возвращаю тебе ее, твою книжку, — говорит он и засовывает ее под мерзлые цветы.

Затем успокоенный он идет назад к выходу, минует цепи, ограждающие каменные плиты гробницы, и поглощается минуту спустя туманом Елисейских полей.

Июль 1931.

Горки.

# НОВЫЕ СТИХИ

БОР. ПАСТЕРНАК

Интермеццо  
Иог. Брамс,  
оп. 115

Годами когда-нибудь в зале концертной  
Мне Брамса сыграют — тоской изойду.  
Я вздрогну, — я вспомню союз шестисердый,  
Прогулки, купанье и клумбу в саду.

Художницы робкой, как сон, крутолобость,  
С беззлой улыбкой, улыбкой взхлеб,  
С улыбкой, огромной и полной, как глобус,  
Художницы облик, художницы лоб.

Мне Брамса сыграют, я вздрогну, я сдамся,  
Я вспомню покупку припасов и круп, -  
Ступеньки террасы и комнат убранство  
И брата, и сына, и клумбу, и дуб.

Художница пачкала красками травы,  
Роняла палитру, совала в халат  
Набор рисовальный и пачки отравы,  
Что басмой зовутся и астму сулят.

Мне Брамса сыграют; я сдамся, я вспомню  
Балкон полутемный и кровлю, и вход,  
Упрямую заросль и комнат питомник,  
Балкон, подбородок и брови, и рот.

И сразу же буду слезами увлажен  
И вымокну раньше, чем выплачусь я,  
Соленая давность ударит из скважин,  
Как пульверизатор в салоне бритья.

И станут кружком на лужке, интермеццо  
Руками, как дерево, песнь охватив,  
По-детски вертеться. четыре семейства  
Под этот совместный немецкий мотив.

---

Не волнуйся, не плачь, не труди  
Сил иссякших и сердца не мучай.  
Ты жива, ты во мне, ты в груди  
Как опора, как друг и как случай.



Верой в будущее не боюсь  
Показаться тебе краснобаем.  
Мы — не жизнь, не душевный союз, —  
Обоюдный обман обрубаем.

Из тифозной тоски тюфяков  
Вон на воздух широт образцовый!  
Он мне брат и рука. Он таков,  
Что тебе, как письмо, адресован.

Надорви ж его ширь, как письмо.  
С горизонтом вступи в переписку,  
Победи изнуренья измор,  
Заведи разговор по-альпийски.

И над блюдом баварских озер  
С мозгом гор, точно кости, мосластых,  
Убедишься, что я не фразер  
С заготовленной к месту подласткой.

Добрый путь! Добрый путь! Наша связь.  
Наша честь — не под кровлею дома.  
Как росток, на свету распрямясь,  
Ты посмотришь на все по-другому.

---

Окно, попитр, и, как овраги эхом,  
Полны ковры всем играным. В них есть  
Невысказанность. Здесь могло с успехом  
Сквозь исполнение авторство процвести.

Окно не на две створы alla breve,  
Но шире, на три—в ритме трех вторых.  
Окно и двор, и белые деревья,  
И снег, и ветки, — свечи пятерик.

Окно и ночь, и пульсом бьющий иней  
В ветвях,—в узлах височных жил. Окно  
И синий лес висячих нотных линий,  
И ночь. Здесь жил мой друг. Давно-давно.

Смотрел отсюда я за круг Сибири,  
Но друг и сам был городом, как Омск  
И Томск; был кругом войн и перемирий  
И кругом свойств, занятий и знакомств.

И часто-часто, ночь о нем продумав,  
Я утра ждал у трех оконных створ,  
И муторным концертом мертвых шумов  
Копался в мерзлых внутренностях двор.

И мерил я полуторною мерой  
Судьбы и жизни нашей недомер,  
В душе ж, как в детстве, снова шел премьерой  
Большого неба ветреный пример.

---

Любить иных тяжелый крест,  
А ты прекрасна без извилин,  
И прелести твоей секрет  
Разгадке жизни равносильна.

Весною слышен шорох снов.  
И шелест новостей и истин.  
Ты из семьи таких основ.  
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.

Легко проснуться и прозреть,  
Словесный сор из сердца вытрясть  
И жить, не засоряясь впредь, —  
Все это не большая хитрость.

Все снег, да снег, терпи и точка.  
Скорей уж право б дождь пошел  
И горькой тополевою почкой  
Подруги сдобрил скромный стол!

Зубровкой сумрак бы закапал,  
Укропу б к супу накрошил,  
Бокалы — грохотом вокабул,  
Латынью ливня оглушил.

Тупицу б двинул по затылку, —  
(мы в ту пору б оглохли, но  
откупорили б, как бутылку,  
заплесневелое окно,

И гам ворвался б: «Ливень заслан  
К чертям, куда Макар телят  
не ганивал...» И солнце маслом  
асфальта б залило салат).

А вскачь за тряскою четверкой,  
За безрессоркою Ильи —  
Мои телячьи бы восторги,  
Телячьи б нежности твои!

Мертвецкая мгла,  
И с тумбами вровень —  
В канавах тела  
Утопленниц-кровель,

Оконницы служб  
И охра покоев  
В покойницкой луж  
И лужи — рекою.

И в них — извозцы  
И дрожек разводы,  
И взят под уздцы  
Битюг небосвода.

И капли в кустах,  
И улица в тучах,  
И щебеты птах,  
И почки на сучьях.

И все они, все  
Выходят со мною  
Пустынным шоссе  
На поле Ямское,

Где спят фонари  
И даль, как чужая:  
Ее снегири  
Зарей оглушают.

Опять на гроши  
Грунтами несмело  
Творится в тиши  
Великое дело.

---

Платки, подборы, жгучий взор  
Подснежников, — не оторваться!  
И рыжий шоколад загор  
Не выровнен по ватерпасу.

Но слякоть лепит из лучей  
Весну и сонный стук каменьев,  
И птичий щебет мнет ручей,  
Как лепят пальцами пельмени.

Платки, оборки, — благодать!  
Проталин черная лакрица.  
Сторицей дай тебе воздать  
И, как реке, зевнуть и вскрыться!!

Дай мне, превысив низелир,  
Благодарить тебя до сипу,  
И сонно окуни свой мир,  
Как в зеркало, в мое спасибо.

Толпу и тумбы опрокинь,  
И устья труб в слюнявой пене.  
И неба роговую синь,  
И облаков пустые тени.

Слепого полдня желатин  
И желтые очки промоин,  
И тонкие слюдинки льдин,  
И кочки с черной бахромою.

---

Любимая, молвы слащавой  
Как угля, вездесуща гарь.  
Но ты — подспудной тайной славы  
Засасывающий словарь.

И слава — почвенная тяга.  
О если б я прямой возник!  
Но пусть и так, не как бродяга, —  
Родным войду в родной язык.

Теперь не сверстники поэтов, —  
Вся ширь проселков, меж и лех  
Рифмует с Лермонтовым лето  
И с Пушкиным гусей и снег.

И я б хотел, чтоб после смерти,  
Как мы замкнемся и уйдем,  
Тесней, чем сердце и подсердье,  
Зарифмовали б нас вдвоем.

Чтоб мы согласья сочетаньем  
Застлали слух кому-нибудь  
Всем тем, что сами пьем и тянем  
И будем ртами трав тянуть.

Красавица моя, вся статья,  
Вся суть твоя мне по сердцу,  
Вся рвется музыкаю статья  
И вся на рифмы просится.

А в рифмах умирает рок  
И правдой входит в наш мирок  
Миров разноголосица.

И рифма не вторенье строк,  
А гардеробный номерок,  
Талон на место у колонн  
В загробный гул корней и лон.

И в рифмах дышит та любовь,  
Что тут с трудом выносятся,  
Перед которой хмурят бровь  
И морщат переносицу.

И рифма не вторенье строк,  
Но вход и пропуск за порог,  
Чтоб сдать, как плащ за бляшкою,  
Боязни тягость тяжкую,  
Боязнь огласки и греха  
За громкой бляшкою стиха.

Красавица моя, вся суть,  
Вся статья твоя, красавица,  
Срывается и тянет в путь,  
И тянет петь, и нравится.

Тебе молился Поликлет,  
Твои законы изданы,  
Твои законы в далях лет,  
Ты мне знакома издавна.

---

# Земля

Рассказ

ПЕТР ШИРЯЕВ

I

В избе стоял знакомый аромат меда и черного хлеба; одно из окошек было заделано берестой; на поставце вместо лампы — та же коптилка, а березовая кора на полу, для разжижки, — будто и не убиралась... Все то же и так же, как и пять лет тому назад. Егора Захарыча в избе не было. Поджидая, когда он вернется, Андрей распаковал вещи, разложил на столе закуски, порох и дробь, купленные в подарок, и вышел из избы. Снаружи жилище Егора Захарыча напоминало звериное логово: темная, кривая, вросшая в землю избенка хоронилась в густом дубняке и липах; на крыше, провисшей люлькой, росла трава, а два крохотных окошка казались глазами, стерегущими все это несложное хозяйство старого лесника.

— Вот удивится! — думал Андрей, представляя себе изумленное лицо Егора Захарыча, когда тот войдет в избу и... увидит его.

Егор Захарыч вернулся под вечер. Был он такой же, как и пять лет тому назад, приземистый, из жил и мускулов, весь покрытый бурой шерстью, с паутинками смеха в углах зорких, маленьких глаз. За большой, лысый, блистающий, как снежное поле, лоб его прозвали Январем. В левой руке у него мотался вниз головой заяц.

— Здравствуешь! Живьем сука поймала! — поднял он зайца, и, поставив в угол ружье, присел на краешек скамьи. В избу вошла сука. Была она очень худа и спиной напоминала осетра. Ян-

варь высморкался в свободную руку, достал из кармана самодельный перочинный ножик и зубами раскрыл его. Облизываясь, сука уселась против хозяина, внимательно следя за каждым его движением. Январь взял зайца за уши и зажал его туловище между колен. Андрей близко увидел выпуклые, блестящие зайчи глаза с светло-коричневыми ободками вокруг зрачков.

— На мое мнение — скустей зайца мяса нет! — проговорил Январь и, запрокинув заячью голову, воткнул в душку ножик. Заяц рванулся, закричал и задрыгал ногами. Сука подползла ближе и жадно лизнула кровь, побужавшую разорванной струйкой по нежно-белому брюшку. Андрей отвернулся и начал рассматривать ружье Января. Ружье было двадцатого калибра.

— Ты не смотри, что калибер аккуратный, — заговорил Январь, начиная свежевать зайца, — достает на любой дистанции! Раньше десятый был у меня, ну — очень стволы нахальные, порох кружкой надо насыпать!

К чаю он принес мед и брату. Брага была темная, густая, подернутая пенной сединой. После двух кружек у Андрея стали чужими ноги, а Январь звучно обсасывал усы и гудел:

— Пей, не сумлевайся, от браги никакого вреда, кроме пользы, нету, от цветка она! С брагой сто годов проживешь и никакая хворость не пристанет! Пчелинцы-то, вишь, по сколько живут! От нее самой и с медом. Пей!.. Приехать ты подгадал, теплынь стоит, ре-едкостная...

Андрей с наслаждением пил густой и сладкий напиток, пил чай из той же липкой жестяной кружки, закусывал; снова пил брагу и, словно в тумане, видел перед собой блистающий лысый лоб, шерстистое лицо с усмешливым глазом и верил каждому неторопливому слову Января. После вздыбленной жизни города здесь все было ясно, просто и достоверно. Закопченные рубленные стены с седой паклей в пазах казались древними и мудрыми, как мироздание. В паузах, когда умолкал Январь, к раскрытым окошкам подступала вплотную огромная тишина раскинувшегося на десятки верст вокруг леса, и в этой тишине значительней становилась каждая вещь и каждое произносимое слово, и каждая мысль, рождавшаяся в ней, была так же заметна, как если бы начертил кто ее мелом на черной доске. Сидевшая около стола сука была пегая, с коричневыми глазами, левое ухо — надрезано. Андрей отломил кусок сосиски и бросил ей. Собака на лету поймала кусок и проглотила не жуя.

— Пшла, стерва! — перегнулся Январь из-за стола и гулко ударил ее в костлявый бок сапогом.

— За что ты?! — сморщился Андрей.

— Свое положение должна знать! — строго посмотрел на суку Январь и продолжал: — А улы я, почитай, все перевел, остался пяток. Не два века жить; решение мое такое есть: со всем именем похарчиться человек должен, как в свет пришел голый, так и со свету должен представиться. Детей и сродственников у меня нету, а чужому человеку с именем одна забота выйдет. Никанора-то помнишь? Как итти в двадцать пятый квартал, в углу его пчельник. Совсем сбился с панталыку мужик! В прошлом году пятистенку новую поставил, жеребца купил, а хозяйка-то похарчилась осенью, детишек нет и выходит ни к чему все именье... Я так полагаю, чем эдакую заботу иметь, прикончи все да и ложись помирать, — никому не завидно и тебе легко! По естеству и кончина правильная...

Подперев руками голову, Андрей неторпливо смотрел на Января. В неторопливом течении его слов была непре-

ложность; они ложились в сознание тяжело и плотно, выжимая оттуда суетливые мысли, привезенные из города.

— Захарыч, а ты в Москве был?

Из гуши бурых волос два усмешливые глаза остановились на лице Андрея.

— Перед тем как сюда ехать, иду я по улице, — вспомнил почему-то Андрей, — и трамвай наскочил на лошадь на ломового... Ногу ей... Ужасно жалко!

— Сломало что ль? — хмуро осведомился Январь.

— Да, заднюю ногу... Стоит, бедная, подняла ее и сама вся дрожит, шею вытянула и зевает... Жа-алко!.. И зайца мне, вот, тоже жалко...

Паутинки в углах глаз Января разбежались, удвоились в числе, он беззвучно ухмыльнулся и посмотрел на заячью иссиня-красную тушку, подвешенную за обрубленные ноги к балке у печки.

— Чтoб зайца к лошади равнять, это ты зря! От лошади в хозяйстве первая польза, а в этой животине чего?

Заскорузлым пальцем с запекшейся у ногтя заячьей кровью Январь размазал по столу пролитый чай и серьезно спросил:

— Как же это возчик не досмотрел? С возом ехал-то? Лошадь в Москве отменная должна быть, корма там хорошие! Шутка сказать — погубить эдакую скотину!

— Захарыч, а помнишь мы с тобой на кордоне были, — думая уже о другом, мечтательно улыбнулся Андрей, — квасом нас хозяйка поила...

— Как не помнить! Самые медвежь там места, глушь; в позапрошлом годе медведицу я убил там, пятнадцать пудов потянула, а шкурой — редкостная красавица. На просеке повстречались Топоришко со мной был...

Андрей не слушал. Перед ним возникло виденье зеленой поляны, с краями налитой солнцем и казавшейся ослепительной после сумеречных сводов бора... Рубленный из сосен дом, высокое крыльцо и на нем — жейщина в светлом ситцевом платье. Мучила жажда. Женщина принесла большой ковш студеного квасу, от которого ломило зубы... Андрей пил, смотрел на жен-

щину, на ее милое, озаренное счастьем лицо, в ее ласковые глаза и грустно чему-то завидовал...

— Ну, а дело тут простое, и ей страшно, и мне страшно, — гудел Январь, — сробеешь — конец. Мне, конечно, не случилось, чтоб потеряться, — побил я их много... На мое рассуждение — медведь человеку в пищу дан и на шкуру человек завсегда медведя одолеть должен.

— Захарыч, а мы ходим на кордон?

— Можно дойти.

— Пойдем завтра?

— Можно и завтра.

Январь выплеснул на пол из кружки неподпитый чай, встал и выглянул в окошко.

— Благода-ать! Осень нынешний год на удивленья! Вчера иду, глядь, цветочек белый, нагнулся — веришь — земляника цветет, во-о теплынь какая!.. На скамье ляжешь-то?

— Эх, Захарыч, хорошо у тебя, — заговорил Андрей, протягиваясь на лавке; — ты и не знаешь, как хорошо! Пожил бы ты вот в Москве, тогда понял бы.

— Москва — Вавилонт, аль когда человек не в себе! — гулко отозвался с печки Январь, и не успел Андрей ответить, как он уже захрапел. Андрей блаженно улынулся...

В неторопливом течении этой жизни каждый день был полновесен и обременен всеми соками земли; подобно спелому плоду, падающему с ветки, здесь каждый день к закату солнца падал в сон крепкий и целительный с тем, чтобы с первыми лучами солнца вновь распрямиться, засверкать голосами и красками, испытать положенное и снова обремененно созреть к закату...

## II

Вышли до солнца. Нежный, призрачный туман кутал лес. Над озером туман был гуще, заметней, и озеро напоминало стылое пожарище. Влажные запахи увядания и прели сообщали утренней тишине и неподвижности грустную выразительность, и запечатлевался надолго в памяти безвольно повисший кленовый лист с прозрачными капельками росы на краях. Недалеко от сторожки из осинника вымахнул на дорогу заяц, присел, передвинул уша-

ми и, нелепо подкидывая зад, пошел наутек. Сочный выстрел откупорил утреннюю тишину. С плаксивым лаем сука понеслась по следу.

— Захарыч, а до кордона далеко?

— Не-е...

— Сколько верст?

— Верст-то?.. Да недалече, чего тут!.. Через балку перейдем, свернем влево, а там прямой путь через двадцатый квартал.

— Ну, значит — верст десять-пятнадцать! — уныло подумал Андрей.

По опыту знал он, что понятия о расстоянии у него и у Января сильно расходятся. Короткие ноги Января в толстых суконных портянках казались неуклюжими, но они шагали так легко и споро впереди, что Андрей испытывал чувство почти мистического изумления перед их неутомимостью. Казалось, не останови их сам Январь, — они будут все итти и итти, день, неделю, год, через все леса всего мира, в века...

Перевалив глубокий овраг, сумрачный и влажный, вышли на полуденную просеку. Лес, наполовину утраченный листву, был просторней и светлей, и каждый звук в нем — отчетливей и звонче. Прошлогодние листья осин, тронутые чернью тлена, плотно устилали дорогу и глушили шаги, а там, где росли дубы и клен, земля была устлана золотистым рдяным ковром, звонко шелестящим под ногами. Ярко полыхали по краям просеки багряные вязы. Лучи восходящего солнца прорывались в лесосеку, разукрашивая ее веселыми, сочными пятнами, и она казалась чудесным, бесконечным коридором, который уводит на край земли, туда, где только одно небо.

— Захарыч, воздух, во-здух-то какой! — воскликнул Андрей, широко загребая к себе обеими руками, как в море, — куда твоя брага-а, пей и не напьешься!..

— Климат действительно прекрасный!

— А в Москве теперь — подумать страшно! Пылица, вонь, громовень... Я другим человеком себя здесь чувствую. И все здесь другое! Я вот и суку твою люблю. В Москве человека не замечаешь, а у суки твоей даже нос светлогофейный знаю...

— Человек он, конечно, везде одинакий, ну а в Москве, там народ, действительно, жидкий и ненадежный, — резонно проговорил Январь и, помолчав, добавил:

— Градский, который, он больше все обманом работает...

— Захарыч, давай привал сделаем, чайник скипятим. Уж очень хорошо!..

Январь вытянул руку.

— Во-он, гляди, видишь сосна огромнейшая?.. Там в аккурат — речка, такой воды нигде нету. Там и чай будем кипятить.

К сосне пришли через час. На солнечной стороне буерака сделали привал. Январь зачерпнул в чайник воды и разжег костер. Изнемогая от усталости, Андрей сбросил сумку, ружье и растянулся на траве.

— Ты погляди за чайником, а я дойду тут в одно место — глухарь здесь должен быть, — проговорил Январь, устроив над огнем чайник, и исчез в сосняке по другую сторону оврага.

Тихо и ласково грело осеннее солнце, и это тепло, быть может последнее, на смену которому шли дожди, холод и снег, воспринималось как неповторимая ласка... Прозрачный воздух был неподвижен, и так его много было вокруг, что хотелось еще круче выколесить грудь и расправить скомканные городом легкие. Лежа на спине с широко разметанными в стороны руками и ногами, Андрей смотрел в чистейшую голубую бездну и радостно ощущал всем существом своим полную освобожденность. Какой нелепостью казался здесь Кузнецкий мост с его суетными толпами. И как странно было думать, что еще позавчера вокруг дыбился город, лязгало и грохотало железо и камень, визжали рельсы и мысль рвалась, как гнилая нитка. Там, в городе, Андрей почти не ощущал своего физического «я»; вместо тела был какой-то потрепанный футляр и в нем, как болтыш, то, что называлось Андреем. Здесь Андрей слышал каждую свою жилку. От ходьбы и тяжелых охотничьих сапог гудели ноги, ныла спина от ружья и сумки, не хотелось пошевелить ни одним членом, но в этой усталости он слышал все свое тело, живое, тяжелое, плотно лежавшее на земле, и землю

эту слышал, глубокую, таинственную, древнюю...

Подбросив в огонь веток, он долго смотрел на дубовый, пожелтевший листок, кружившийся в чайнике. Потом повернулся в ту сторону, где исчез Январь, и в рупор из рук закричал:

— О-го-го-го-о-о!.. Ча-ай пи-и-ить!..

— Гоп! — близко отозвался Январь и вышел сзади Андрея.

Закусывали и пили чай долго, неторопливо, с огромным аппетитом. Из кожаной самодельной сумки, похожей на сумку трамвайного кондуктора, Январь достал большой ломоть хлеба и бросил суке. Вдали на просеке показалось темное пятно. Андрей торопливо потянулся к ружью.

— Захарыч, смотри, медведь!?

Январь опустил кружку с чаем, лицо стало серьезным, он вытянул шею. Всмотрелся и вновь принялся за чай.

— А я думал — медведь! — смутился Андрей.

Через некоторое время подошел мальчуган лет четырнадцати с недоуздком в руке и устало опустился на землю около потухавшего огня. У него было измученное лицо. Светлые волосы торчали из-под шапки слипшимися прядями.

— Не нашел? — спросил Январь, отхлебывая чай.

— Не-е...

Мальчуган снял шапку и бессмысленно уставился на тлеющие сучья. В его позе и в том равнодушии, с каким он отнесся к охотникам, было тупое отчаяние человека, раздавленного несчастьем.

— И искать нечего! — помолчав выговорил Январь, — фактически слопали...

Мальчуган ничего не ответил; сбочившись, одной рукой он опирался на землю, а другую, с недоуздком, безвольно бросил вдоль вытянутых, в сбитых лаптях, ног и продолжал смотреть в потухший костер.

— Дома-то не был?

— Не...

— Со вчерашнего утра?

Не глядя на Января, мальчуган слабо кивнул головой в ответ. Январь достал из сумки краюху, отломил большой кусок и протянул мальчугану. Тот взял и начал есть. Ел вяло, безразличный и к хлебу, и ко всему окружающе-



му. Посидев немного, с усилием, как старик, встал и, не попросившись, устало заковылял дальше по просеке, перекинув через плечо недоуздок. Вскоре дошел его слабый и безнадежный зов:

— Ма-ашк, Ма-ашк, Ма-ашк!.. Ма-ашка!..

— Завря кричит! — сурово проговорил Январь, — видимость тут простая — слопали! Кобыла у него пропала, — пояснил он Андрею с той же суровостью в голосе, — четвертые сутки ищет. Отца нету, сирота, все хозяйство на нем одном держится. Чего теперь без лошади будет делать? Вчера встрелся в пятнадцатом, да и говорит: «Не найду ежеле — удавлюсь!» Вот оно дело-то какое тут...

— А разве общество не поможет? — спросил Андрей, проникаясь огромной жалостью к ушедшему мальчугану.

Январь ответил не сразу.

— Обчество!.. У обчества свои дела! К тому же малый сам промашку сделал. Зачем кобылу отгонял в лес? По всей округе известно — волка нонешнюю осень тѣ-ѣ-мно-о...

— Уж очень жалко его, Захарыч!

— А то не жалко! Конечно жалко, раз в эдаком бедственном положении! Ну, только я тебе скажу, ежели бы все жалеть зачали, никакого дела бы не было; жалость она в роде как бы и хорошо, а ни к чему...

### III

К кордону подходили, когда уже вечерело. На горизонте, в конце просеки, осаживалась густосиняя, тяжелая туча. Узкая щель между ней и горизонтом пылала ослепительным золотом; нижние края тучи были окрашены в сочный алый цвет, выше алый цвет переходил в фиолетовый, разрываясь, вновь сверкал золотом и совсем вверху густел в темносиний, тяжелый, зловещий...

Высокий человек без шапки вышел из березняка и остановился. За плечом у него был карабин, а у пояса — подвешенный за клюв огромный глухарь. Густая, темная шевелюра и отвислые усы придавали ему сходство с древним викингом.

— Никак глухаря сшиб?! — подошел Январь и начал ворочать и рассма-

тривать убитую птицу. — Где? Не иначе — в двадцать первом?

Высокий человек утвердительно мотнул головой.

Январь веером растопырил могучее мертвое крыло. Подошел Андрей и, здороваясь, назвал себя. Высокий человек молча пожал ему руку.

— А мы аккурат к тебе, Петр Петрович, — заговорил Январь, — заночевать хотим, а с утра на навадок в Гнилое.

Петр Петрович выслушал и молча пошел вперед по тропинке.

— А я ведь и держал в уме зайти в двадцать первый, думаю обязательно должен там быть глухарь, а вот, поди ж ты, не зашел!.. — сокрушался Январь, идя следом. Петр Петрович за всю дорогу не произнес ни слова. Впереди в соснах мелькнул разорванный контур постройки. Андрей сразу узнал и рубленый дом, и высокое крыльцо, и просторную поляну...

— Милости просим! — сказал Петр Петрович, пропуская вперед Андрея и Января.

Грозные рога лося на стене и волчье чучело с хищным оскалом зубов придавали особый аромат уюта просторной и светлой горнице. Невольно думалось, что за стенами, вокруг, на десятки верст — лесная глухомань, нежить, безлюдье... На письменном столе лежал раскрытый томик Тютчева.

Вошла хозяйка.

У нее были те же ласковые глаза и та же, словно солнечный блик, милая улыбка. Но годы тронули матовым краски, и еле заметное увяданье сделало лицо углубленнее и от этого — прекрасней. От неторопливых и плавных движений напыляло теплом и уютом. Приветливо протянула она Андрею нежную и теплую руку.

— Я узнала вас... Помните — угощала квасом? Ты уезжал в город тогда, — пояснила она мужу, — я рассказывала тебе...

— Поставь самовар! — сухо распорядился Петр Петрович и заговори с Январем о волках. Андрея неприятно кольнула сухость тона и та покорность, с какой Анна Михайловна (так звали хозяйку) сейчас же прекратила разговор

и вышла из горницы. Глаза Петра Петровича и его встретились. Андрей отвернулся и стал рассматривать коллекцию бабочек и жуков над письменным столом. Вошла снова хозяйка и начала хлопотать около стола. Делала она все ловко и быстро, без лишней суеты и торопливости. На закуску принесла копченую медвежатину, заячий сыр, несколько сортов грибов и маринованных чирят. Посуда, самовар, скатерть светились чистотой. Январь, все отмечая зорким глазом, проговорил с одобрительной ухмылкой:

— Хозяйка у тебя, Петр Петрович, золотая-ая...

— А ему вот никак не угожу! — засмеялась Анна Михайловна и бросила быстрый взгляд на Андрея. — Из всех сил стараюсь, а...

Петр Петрович шевельнул густыми бровями и спросил Андрея:

— Водку пьете?

— Какой же охотник водки не пьет! — спать засмеялась Анна Михайловна, — по-моему и на охоту-то ходят, чтоб водку пить! У меня братец был... Как захочет покуралесить — сейчас на охоту, а один раз не только без уток — без ружья пришел!

Петр Петрович хмуро выждал, когда она кончит, и, не глядя на нее, приказал:

— Принеси наливку. Потом поговоришь!

Сели за стол. Январь пристроился у уголка, на почтительном расстоянии от стола. Степенно выпрямленный, руки по коленам, долго не хотел прикоснуться к еде.

— Закусывайте, обо мне не хлопчите, закусывайте, я успею! — отговаривался он. Петр Петровичпил рюмку за рюмкой, мало ел и молчал. Его молчанье смущало Андрея. «Быть может, мы не во-время пришли?» — думал он, поглядывая на хозяина, и, встречая темные, глубокие глаза его, испытывал каждый раз чувство, похожее на то, когда смотришь в колодезь. Январь после пятой рюмки вплотную придвинулся к столу и начал угощать хозяйку.

— Отведайте рюмочку с нами, Анна Михайловна, ради свиданьица... По положению в роде как хозяйка.

— Да ведь я не пью, Захарыч!

— Не для питья, для правильности выкушайте рюмочку!

Анна Михайловна, улыбаясь, протянула рюмку мужу. Петр Петрович налил молча, не глядя на жену. И неожиданно и резко спросил вдруг:

— Оля где? Пора домой ей!

Анна Михайловна, не выпив рюмки, вышла и вскоре вернулась с девочкой лет семи. С Январем девочка поздоровалась, как со старым знакомым, с Андреем — робко и прижалась застенчиво и ласково к отцу. Петр Петрович обнял ее, поцеловал в белокурые волосы, и хмурая складка между бровей у него дрогнула. Но почти тут же порывистым движением он отстранил ее от себя и жестко сказал:

— Иди спать.

— Папочка, я не хочу-у!..

— Иди!

На глазах девочки заблестели слезы. Она умоляюще посмотрела на мать. Анна Михайловна выразительно качнула головой и торопливо произнесла:

— Иди, иди, деточка!

Было что-то жалкое в ее улыбке, когда она после ухода девочки взяла рюмку и потянулась чокнуться к рюмке Андрея.

— Как хорошо у вас здесь! — проговорил Андрей, чтобы что-нибудь сказать, — я, кажется, ни за что бы не расстался с такой жизнью.

— Что вы, что вы!? — почти с испугом отмахнулась Анна Михайловна. — Мы здесь в дикарей совсем превратились! Слова сказать не с кем! У него — хоть охота есть, — кивнула она на мужа, — каждый божий день с ружьем, с утра уйдет и до поздней ночи, в холод, в дождь, ему все нипочем, ни за что дома не сидит!.. А я одна-одиношенька... Какая эта жизнь?! А книжку считаешь — еще тошнее!..

Петр Петрович медленно повернул к жене усатую голову и, словно стопудовую тяжесть навалил, — остановил на лице ее пристальный, бездонный взгляд. Невыговоренное слово шевельнуло отвислые усы.

— Я не столько за себя конечно, как за девочку, за Оленьку, — вспыхнув, поспешно заговорила Анна Михайловна, — ее жалко! Что она здесь видит?

А уж пора об ученье думать, восьмой год пошел.

— Вы куда же думаете итти завтра? — перебил ее Петр Петрович, смотря на Января.

— С утра в Гнилое, на навадок, а там сообразимся.

Петр Петрович посмотрел на часы и встал.

— Жена вам постелит здесь, в горнице, — повернулся он к Андрею, — вы наверно устали, а мы разговорами вас донимаем. Вы уж простите!

Он улыбнулся. И словно другого человека увидел Андрей. Так изменила улыбка это бледное, суровое лицо. Безграничная мягкость, сердечность и простота дохнули из нее на Андрея, и Андрей, не сознавая, зачем он это делает, протянул и крепко пожал руку Петру Петровичу...

— А ты, Захарыч, где ляжешь?

— Обо мне не сумлевайся, Петр Петрович, мне лишь бы притулиться...

Засыпая, Андрей думал о милом лице хозяйки и о молчании Петра Петровича. Ему припомнились жалующиеся слова Анны Михайловны: «в холод, в дождь, ни за что дома не сидит. С утра и до ночи... А я одна... одна...» И очарованье этой жизни, в сосновой, рубленой горнице на лесной поляне, как дымка тумана от ветра, вздрагивало, и из дымки проступало шерстистое лицо Января, втыкающего самодельный ножик в душку зайца, и гудел его глухой голос:

— Человек, он везде одинакий...

Разбудила Андрея жажда. Осторожно пробравшись на кухню, он разыскал ведро с водой и жадно выпил большую кружку. Потом вышел на крыльцо и закурил.

Близко, за углом где-то, было слышно мерное звучное жеванье коровы. Кругом — темный, молчаливый лес, а над головой — звездный, ослепительный праздник. Андрей спустился с крыльца и только тут различил сидящую на бревнах фигуру.

— Захарыч, ты?

Отозвался низкий голос Петра Петровича:

— Это я.

Андрей подошел и сел рядом.

— Что же вы не спите?

— Бессонница.

— Какая чудесная ночь, — заговорил Андрей, — даже не верится, что на дворе осень!

Петр Петрович молчал.

— Вы давно здесь живете?

— Давно.

— Хотите курить?

— Не курю.

Андрею вдруг стало неловко от неохотливых ответов Петра Петровича. Он смолк, усиленно затягиваясь папирсой.

Молчал и Петр Петрович.

— Какого великолепного глухаря вы убили, — заговорил снова Андрей, думая уже о том, как бы встать и уйти, — красивая и могучая птица!..

— А когда вы убиваете, вы смотрите на убитую птицу? — неожиданно спросил Петр Петрович, медленно повертываясь к Андрею.

— Я... Не знаю... А что?

— Я смотрю. Убью и смотрю. В глаза чаще всего смотрю. Особенно когда они открыты. Открыты и ничего не видят. И ничего никогда не увидят. Отраженный в них мир перестал существовать. И я всегда думаю: остается ли что от этих глаз после их смерти? Назовите это «что» как хотите, душа или как-нибудь еще! Если ничего не остается — я прав. Если остается — я не прав, убивая глухаря. Я творю зло...

Петр Петрович на минуту умолк и глухо продолжал:

— Я думаю — ничего не остается. И земля когда-нибудь будет убита, как убит мной глухарь. И от нее не останется никакого воспоминания. Я прав. Можно и глухаря убить, и зайца, и вас можно убить, и вообще... Вот я всегда, когда убью, смотрю в раскрытые мертвые глаза, и вот эти самые мысли приходят мне в голову.

— Странно как-то вы... — начал было Андрей, но Петр Петрович встал.

— Пойду сон нагуливать. Спокойной ночи! — проговорил он и канул в темь. До слуха Андрея дошел хруст веток под его шагами. И снова стало слышно мерное жеванье коровы. Лес молчал. Горели звезды...

В сенцах скрипнула дверь. Ущербленный тревогой женский голос тихо позвал:

— Петя?!

Андрей затаился; он слышал свое неровно бьющееся сердце. Ступени крыльца осторожно скрипнули. И неожиданно у бревен, на которых сидел он, вырисовался силуэт женской фигуры.

— Петя, ты?

— Это я, Анна Михайловна!..

— А он?

— Петр Петрович ушел в лес, он только что...

Андрей не договорил. Анна Михайловна порывисто очутилась рядом, нащупала в темноте его руку и стиснула ее судорожно.

— Не мо-гу-у я!.. Куда он ушел, куда?!.. Зачем?..

— У него бессонница...

Анна Михайловна не слушала.

— Опять ушел!.. Проснулась — его нет. Куда он ушел?.. Боже мой, боже мой!.. Я не могу больше.

Она припала горячей щекой к руке Андрея. Из сбивчивого шопота плеснуло рыданье. Андрей услышал побежавшую по руке слезу...

— Все дни одна, сама с собой!.. Он молчит, он все время молчит... Мне страшно!.. Я не знаю ничего, о чем он думает!.. Куда он ушел теперь?.. Зачем?.. Я боюсь. Пожалейте меня!.. Хороший вы, я помнила вас... Пожалейте же вы меня, ради бога, ну, роденький, хороший...

Гибкое, теплое, вздрагивающее тело прильнуло к Андрею. Он ощутил на лице своем прерывистое, горячее дыхание. Стала вдруг пьяной и зыбкой земля. Низко упал тяжелый, золотистозвездный ковер...

Последним усилием воли Андрей оторвался от влажных, безвольно-мягких губ и, пошатываясь на изменявших ногах, пошел к крыльцу. С крыльца, навстречу, загудел голос Января:

— Ночка-то благода-атная!.. Ишь как вызвездило!..

На бревнах осталась сидеть одинокая темная фигура.

#### IV

Весь следующий день охотились втроем. У того же буерака, что и накануне, закусывали и пили чай. Петр Петрович распрощался перед вечером, когда вышли на полуденную просеку.

Андрей долго провожал взглядом его высокую, широкоплечую фигуру, одиноко удаляющуюся по просеке.

— Какой странный он...

— Тут, видишь, дело особое, можно сказать, — загудел Январь, — приметил — он на один бок с кривинкой?.. Ну, во-от! В позапрошлом году поехал зимой в город, по служебной надобности. Ружье с собой взял. Дорогой-то и стряслась беда, ружье выстрелило и прямо — в бок. После рассказывает — на ухабе ногой спуск задел, оно и выстрелило. Семь месяцев в больнице пролежал, два ребра вынули. Ежели бы, скажем, похарчился, по закону семья штрафовку должна получить; потому при служебной обязанности жизни решился. Порядки эти ему конечно, известны были... Во-от! Ну, а на поверку — руки на себя самовольно наложить хотел.

— Как самовольно?!

— Доподлинно, конечно никому это неизвестно, ну именно так. Потому как охотник и обращение с ружьем знает, никак этого случиться не могло. В одиночку медведей бьет, а тут... Хотел, значит, семейству обеспечение оставить, а себя перешить окончательно.

Январь помолчал и продолжал, понизив голос, словно боялся, что услышит его Петр Петрович:

— В плену германском он был более году. Ну, а сам знаешь, бабье дело какое без мужика, соблазн один. Ее винить тоже нельзя, по закону она в роде как бы и терпеть должна и в сохранности блюсти себя до мужа, а по естеству — она в роде тоже как человек. Вот и спозналась с одним, а он-то прибыл из плену и достоверно про эту ремузию узнал... Тут и получилось так, мутит его и никак ослобониться не может. Который вот раз примечаю — горит весь от тоски этой и смотреть не может на нее, а жалостно... Раз иду в восемнадцатом квартале, места там самые глухие, глядь — сидит он на пеньке, голову эдак руками обхватил, а сам навзрыд... Обошел я тогда его тихим манером, не стал тревожить...

Ночевать зашли на пчельник к Никанору.

Никанор, высокий, чернобородый мужик, встретил их с пьяным радушием.

Принес в деревянной миске пенной крепкой браги и начал угощать. Январь звучно обсасывал усы и пил без отказа, похваливая брагу. Никанор лил брагу на рубаху, черная с сильной проседью борода слиплась от меду, он лез целоваться к Январю и Андрею и неожиданно начинал всхлипывать, ударяя непослушным кулаком по столу.

— Нет, ты скажи, Захарыч, известно тебе, а?.. Правильной я жизни аль нет? Скажи, на кого должен покинуть хозяйство эдакое, а?.. Ульев рамчатых двадцать пять, пеньков сорок, пятистенку новую поставил, жеребец одиннадцать сот стóит. Ты скажи, стóит аль нет?

— Жеребец особенный! — соглашался Январь.

— А я чего говорю?! На кого покинуть должен такое обзаведение? Кто у меня есть?

Никанор поднял руку и выставил указательный палец с грязным ногтем.

— Вот! — уставился он на него тяжелым, хмельным взглядом. — Как перст!.. И никого кроме... К-как пп-е-ерст!..

Уронив на стол пьяную голову, он завыл.

— Зазря ты себя в расстройство вводишь, Никанор! — примиряюще загудел Январь, но Никанор вдруг вскинулся над столом с дикими горящими глазами и размахнул широко наотмашь рукой:

— И-ыхх!.. Пятые сутки гуляю!.. Пей, Январь, пра-хом все, мать...

Андрей вышел из избы. На западе опять на пылающую золотом полосу горизонта лиловая туча, громоздила тяжелые уступы. Из осинника в темнеющее небо вонзалась верхушка одинокой сосны.

Андрей сел на дубовый откат у изгороди и закрыл руками лицо. Январь вышел вскоре и подсел с сокрушенным вздохом. И заговорил не сразу, и — не поймешь! — то ли с осторожностью к словам и мыслям своим, то ли к Андрею, то ли опасался, чтоб не услышал Никанор...

— А что ежели, на мое мнение, в артель ему со всем хозяйством войтить?! Возьмем для примера этого самого мальчонку... Я ему позавчера говорю — искать тебе нечего, потому — фактически слопали, а без кобылы хозяйству — решка, пишись с матерью в колхоз!.. Вот и Никанору прямой путь от тоски да загула!.. На людях тоска опадает, в роде листа. И опять же и для артели, сказать, от этого польза, и ему не обидно, а в одиночку ни за что пропадет; уж это так, ндрав его я знаю!..

Внимательно слушал Андрей тихие слова Января. И от них протягивалась нить к затерянной в лесах одинокой жизни Петра Петровича...

Из избы доходил пьяный рыд Никанора.

1929—1931 г.

Малеевка.

# Записки спутника

ЛЕВ НИКУЛИН

(Продолжение <sup>1</sup>)

## 3. Балтика

Адмиралтейство. Вечер за круглым столом в бывшей столовой вице-адмирала Эссёна. Александр Александрович Блок, Аким Львович Волынский, Лариса Михайловна, Екатерина Александровна и Михаил Андреевич Рейснер. Это было в 1920 году. Прошло немного больше десятилетия, и все эти люди умерли. Между тем я помню северное петроградское лето, смолистый запах нагретых солнцем торцов, влажное дыхание Невы. Я помню круглую залу, вкус клюквенного варенья, одежду, голоса, лица собеседников. Они говорили о Карле Либкнехте (его хорошо знал Михаил Андреевич), о Скрябине и Розанове. Они вспоминали мертвых так, как мы, живые, теперь вспоминаем их. Но я не хочу, чтобы читатель счел воспоминание о том вечере траурным воспоминанием. От него осталась отрадная, вечная память до конца дней. Это было в городе, который в то время назывался Петроградом. Я не склонен канонизировать «старый Петербург», «Северную Пальмиру», выдуманную литературную реликвию. Желтизна правительственных зданий, правоведа в треуголках, парады на Марсовом поле были длительной литературной модой. Еще и теперь старомодные денди, последние снобы эмиграции, пришепечивают ямбом о «Санкт-Петербурхе». В действительности никогда не был так хорош Питер, как весной и летом 1920 года. В городе еще пахло порохом Октября, город—крепость революции с голодающим, но верным и мужественным

рабочим гарнизоном. Дворцы в росчерках октябрьских пуль. Палисандровый паркет дворцовых зал сохраняет следы солдатских сапог. Взятые под учреждения особняки оклеены воззваниями и плакатами. Пустынные, оставленные жильцами дома с провалами вместо окон. Но в этом нет запустения и тишины кладбища, это — боевое затишье. Передышка между только-что отбитой атакой Юденича и последней (в гражданскую войну) кронштадтской атакой. Я благодарил счастливую случайность, — случай привел меня из Москвы в Ленинград.

В августе девятнадцатого года мы оставляли Украину. За нами, выдыхаясь, шли петлюровцы, и Киев, оставленный нами 31 августа 1919 года на три дня, был снова отнят у добровольцев отходившей с юга сорок четвертой дивизией. Это было предвестие победы. В Москве нас встретили негостеприимно. Все понимали, что «объективные причины» заставили нас уйти, но все же украинские командиры и политработники чувствовали себя смущенными. Некоторые упрекали и ссорились друг с другом в пути от Гомеля до Москвы, выискивали обидные напоминания и поругивали командование за то, что оно проглядело измену в штабах. Все это бывает после военной неудачи и забывается почти мгновенно с первой удачей. В Машковом переулке, у Мясницких ворот, помещался ПУР—Политическое управление РККА, лабиринт бывших барских квартир, соединенных черными кухонными ходами. В одной квартире находилась редакционно-издательская часть. Здесь автор этих записей после длительного перерыва вспомнил

<sup>1</sup>) См. «Новый мир» кн. 7 с. г.

об оставленной на время гражданской войны профессии литератора. В. П. Полонский рассеянно взглянул на тощую рукопись и на автора в полувоенной форме. До пояса автор был одет вполне прилично: на нем были «трофейные» (выданные трофейной комиссией) полосатые брюки и лакированные ботинки, выше пояса — гимнастерка без единой пуговицы и кожаная куртка с разноцветными рукавами — серо-желтым и черным. Автор принес Вячеславу Павловичу Полонскому одноактную пьесу, она называлась «Последний день Парижской коммуны». Ее напечатали в журнале «Красноармеец» и заиграли во всех красноармейских клубах и на всех фронтах. Это обстоятельство на время вернуло политработника к профессии литератора. Хотя судьба Деникина была predetermined, но впереди был Врангель, польская кампания и Кронштадт, и мало ли что еще ждало впереди.

Но в эту голодную и жестокую зиму, «Sturm und Drang», романтические театральные бури прошлых веков вдруг забушевали на сцене Камерного театра. Таиров поставил «Принцессу Брамбиллу», и люди, не задумывавшиеся над своей и чужой жизнью, вдруг задумались над судьбой Эрнста-Теодора-Амадея Гофмана. Их привлекли давно забытые бои между аббатом Кьяри и Гольдони, между аббатом Кьяри и последним арлекином Карло Гоцци. Так шла зима в трудах над текстом «Кармен» Меримэ и в академических спорах о «созвучном эпохе» репертуаре. Медленно таяли снежные завалы на московских улицах, и в сугробах обнажались кости павших лошадей, по улицам возили на санях и в салазках муку, поэты в валенках грелись у «буржук». Но в один настоящий весенний день я увидел автомобиль и загорелого матроса у руля и рядом загорелую женщину. Я узнал Ларису Рейснер. Энзелийский, тропический загар Ларисы Михайловны выглядел неправдоподобно в начале московского лета. Мы встретились так, как если бы виделись вчера, но вчера для Ларисы Михайловны было взятие Энзели Волжско-Каспийской флотилией, и бегство англичан, и персидский партизан Кучукхан. Из Энзели она привезла неписанные рассказы об освободительном на-

циональном движении в Персии и воинствующую, страстную любовь к Востоку и жестокую энзелийскую лихорадку.

В Малом Знаменском переулке, позади Музея изящных искусств, вы увидите в глубине двора фасад института Карла Маркса и Энгельса. В те времена здесь стоял небольшой двухэтажный особняк, бывший князей Долгоруких. Особняк строился в расчете на столетия, стены его имели толщину крепостных стен. Теперь старый особняк только составная часть института Маркса и Энгельса, он вошел в здание института, как входит старый кирпич в новую кирпичную кладку. Над низенькими сводчатыми комнатами семьи Рейснер было учреждение со звучным именованием УЛИСО (Управление личного состава флота). Как всегда присутствие Ф. Ф. Раскольникова и Ларисы Михайловны вносило в дом атмосферу полевого штаба. Как всегда все лежало снаружи — энзелийский изюм, персидские круглые шапки и английские карабины и фотографии. Я увидел фотографию Кучук-хана, чернородого, похожего на Асаргадона, вооруженного до зубов, с двумя патронташами накрест. Я слушал энзелийские рассказы и представлял себе бирюзовые воды бухты, горцев, спускающихся с гор, чтобы увидеть боевые большевистские корабли. Революция впервые стучалась в ворота Востока. Героический эпос звучал в ориентальных рассказах Ларисы Михайловны, в отрывистых репликах Расколькова и в скупых и образных речах рядовых бойцов, моряков флотилии. Военное ремесло, сосредоточенность мысли и напряжение воли, необходимые командующему, лишило Расколькова его обычной экспрессии и экзальтации, но я думаю, даже непроницаемые английские колониальные офицеры были в свое время удивлены, увидев в бинокль двадцативосьмилетнего красного адмирала. Они были бы еще больше удивлены, если бы знали, что красный адмирал провел несколько месяцев в лондонской тюрьме и именно там получил первые уроки английского языка. Теперь Расколькова назначали командующим Балтийским флотом. Вокруг была жаркая атмосфера штаба, телефонные звонки, переговоры со штабом коморск и

штабом Балтфлота в Петрограде, непрерывающаяся связь с эшелонами на запасном пути Октябрьского вокзала, совещания с сотрудниками штаба, словом непередаваемая волнующая атмосфера ближнего тыла и фронта, которую, испытав однажды, никак не можешь забыть. Но пришел мой черед отвечать на вопросы: «Где вы? Что вы?» Я ответил на без смущения. После Украинны, опасных странствий и классовых бурь литературные и театральные бури в тылу могли показаться окапыванием в тылу. Но не к чему длительно распространяться о причинах, вызвавших резкие изменения в жизни автора этих записей. Скажу кратко, что я ушел из Знаменского переулка, унося в кармане восьмушку серой бумаги. На ней походная машинка флаг-секретаря наскоро отпечатала: «РСФСР. Походный штаб командующего Волжско-Каспийской флотилией. Предъявитель сего т. Никулин Л. В., сотрудник политотдела Балтийского флота, направляется к месту службы в г. Петроград. Печать и подпись. Старший флаг-секретарь комфлота Кириллов».

Так стремительно менялись судьбы людей в то боевое, жаркое время, и, однажды испытав боевую работу и странствия, уже нельзя было усидеть в библиотеке, макетной мастерской и за собственным письменным столом. Через одни сутки в Петрограде я стоял в некоторой нерешительности между аркой адмиралтейства и снятой с корабля броневой башней в Александровском сквере. Броневая башня напоминала о недавнем наступлении Юденича. Стоило подумать о специфических условиях работы в Балтийском флоте. Об этом задумались многие приехавшие в Петроград вместе с Ф. Ф. Раскольниковым. Балтийский флот сравнительно долго оставался на мирном положении, в тылу. Все помнили и верили в революционный энтузиазм матросов. Каторжная царская служба, память о казенных матросах-революционерах, память об «Авроре» и октябрьских боях, тысячи отданных за революцию матросских жизней создали утвердившийся в писанных и неписанных легендах образ «братишки». До сих пор я видел бывших матросов-командиров и рядовых бойцов

на бронепоездах, в кавалерии, в особых отделах. Здесь я впервые увидел матросов у себя, на кораблях и на берегу, в морских клубах и красных уголках. Это были моряки старших возрастов, большей частью пожилые, сдержанные, замкнутые люди, скорее специалисты флота, чем революционеры-матросы. Многие пережились в Петрограде, у других жены жили в деревне. Степенные семейные люди, поддерживающие связь с деревней, погруженные в заботы о деревенских родных. Наконец я увидел новый тип матроса, так называемых «иванморов», «жоржиков», «клешников».

«Часть из них, кроме Маркизовой Луки, ничего и не видели, моря не нюхали, только горланить умеют...» (Так писал Дыбенко в дни кронштадтского мятежа).

Петроград — 1920-й год — адмиралтейство. Неуловимый запах петровской эпохи в напоминающих дома саардамских негодниантов флигелях, соединяющих два крыла адмиралтейства. Старое адмиралтейство, некогда обнесенное земляным валом, крепость и верфь, «адмиралтейской верфт», перестало существовать, его перестроили еще при Александре I. Исследователи старого Петербурга показывали место причала гребных судов. Там когда-то были вделаны тяжелые чугунные кольца. Это было еще до того, как «в гранит оделась Нева» и адмиралтейство было не только канцелярией военного флота. В самом здании тяжеловесный громоздкий стиль, соединение петровской Голландии и цезаризма Николая Первого, являл себя в эмблемах царского флота. Переплетение якорей и ликторских топоров, путаница абордажных крючьев, носы римских трирем всюду останавливали ваш взгляд, — на решетках лестниц, на тиснении кожаных диванов, на тяжелой дубовой мебели. Но скоро эту подавляющую сухопутного человека обстановку разрешили конторские столы, венские стулья, пишущие машинки и телефонные аппараты. Все же адмиралтейство было и осталось своеобразным крепостным городком, в тревожные дни и ночи охраняемым патрулями и пулеметами. Городок населяло множество морских учреждений. Почти полкило-



метра отделяли политотдел от штаба флота и морской музей от типографии «Морского вестника». Семьи бывших курьеров, шоферов, писарей дореволюционных учреждений населяли подвалы и чердаки флигелей. В первый день мне запомнились не парадные лестницы и обширные залы заседаний, не министерская квартира вице-адмирала Эссена, а адмиральская кухня, монументальные кухонные плиты, медное сияние множества кастрюль, тазов и котлов. В тот день я познакомился с Эссенем, но не вице-адмиралом и автором грандиозного плана минной обороны Финского залива, а старым большевиком Эдуардом Эдуардовичем Эссенем. Тогда он был начальником политотдела военно-морских учебных заведений, но умер он в 1931 году на посту ректора Академии искусств. У этого профессионального революционера была вторая профессия, — он был художником. В характере его и во внешности было что-то от Дон-Кихота Ламанчского, но это «что-то» соединялось с едким и опасным юмором. Такие свойства обеспечивают человеку достаточное количество врагов и немного хороших друзей.

Невозможно такой день, день первого знакомства с революционным флотом, закончить обыкновенным образом, то есть ночлегом на спартанском ложе в отеле Петросовета № 1 на Троицкой улице. Я провел ночь на яхте «Нева», бывшей яхте морского министра. Романтические чувства не умирали в моих сверстниках в том славном и счастливом возрасте. Мы так же, как комсомольцы нашего времени, с детства мечтали о синих матросских воротниках и дальнем плавании. Мы ощущали романтику морского ремесла, запах морского каната, сияние медных частей, сигнальные звонки и бой склянок на корабле, хоть бы на корабле, стоящем у стенки. Тогда можно было только мечтать о дальнем плавании, — линейные корабли ходили из Кронштадта не дальше минных заграждений, а эскадренные миноносцы — не дальше Дворцового моста. Но уголь всегда пылал в топках, дымили трубы линкоров, орудия поворачивались в башнях, и главное — на оружейный выстрел от Кронштадта был финский форт Ино и финские береговые

батареи. День ото дня ожидали выступления британской эскадры, крейсировавшей в Балтийском море.

Яхта «Нева» был чистенький, кокетливый пароход, пловучая министерская квартира. Спальни флаг-адъютантов, спальни и кабинет министра, кают-компания — все сохранилось в целости и говорило об увеселительной яхте сановника, а не о военной яхте морского министра. Кстати сказать, сам морской министр, адмирал Григорович, в то время жил еще в Петрограде, ему разрешили уехать за границу в 1922 году. Таким образом последнему морскому министру, восьмидесятилетнему старцу, суждено умереть в так называемом «русском доме» на Ривьере, в богадельне русских эмигрантов. Насколько я помню, моряки говорили о нем без злобы, с тем жестоким равнодушием, которое иногда хуже злобы. Я провел эту ночь в постели флаг-адъютанта. Вахтенный неторопливо прохаживался на палубе. Меланхолический бой склянок расплывался над Невой. Огни Васильевского острова мигали огням Дворцовой набережной, одна заря сменяла другую, и белая ночь лила молочные, жемчужное сиянье в иллюминатор. Два голоса спорили над Невой о том, правильно или неправильно поступил комфлот, списав лишней комсостав с яхты. Я не мог заснуть, раздумывая о случайности, которая привела меня к машине с загорелым матросом у руля. Утром мы пили из тяжелых стаканов с гравированным на стекле андреевским флагом морковный чай с изюмом. Мы ели черный, колючий хлеб на тарелках сервиза, заказанного специально для адмиральских банкетов. Декоративное панно на стене кают-компания изображало визит русской эскадры в Шербург в девятидесятых годах. Среди старых, калошеобразных броненосцев можно было отыскать игрушечный кораблик, яхту «Нева». Солнце било в открытые иллюминаторы, в каютах был сладковатый запах лимонного дерева, мебели и обшивки. Солнце дробилось в хрустале люстр и стаканов. С палубы открывалась невозмутимая, неотразимая Нева, набережные и фасад адмиралтейства. Визг и всхлипывания сирены покрывал тяжелый, плывущий в воздухе колокольный звон.

«Боже! Какие есть прекрасные должности и службы! Как они возвышают и услаждают душу!» — восклицали, в точности цитируя Гоголя, чины адмиралтейства, созерцая черные орлы адмиральских погон. И мог ли какой-нибудь председатель военно-научной комиссии по изучению боевых действий парусных судов в Крымскую кампанию предположить, что в его кабинете будет сидеть недоучившийся кандидат экономических наук и без особого трепета принимать дела чуть не целого департамента по политически-просветительной части. Могли ли они предположить, что при Балтийском флоте будет существовать целое министерство просвещения, комиссариат по политическому просвещению с отделами: школьным, лекционным, библиотечным, отделами искусств и даже литературным. Политика, от которой так оберегали старую армию, стала краеугольным камнем, на котором строилась новая армия и революционный флот. В то время армейские и флотские политпросветы часто действовали по революционному праву, по праву инициативы, иногда захватывая сферу действия гражданских отделов народного образования. Наши предшественники были в этом смысле широкие натуры. Мы нашли при политпросвете флота курсы театральных инструкторов, драматическую студию, школу балета и фотографию, затем нечто совершенно непонятное — «артистериумы», очевидно род литературных студий. Кроме того, при политпросвете существовал театр с драматическими, оперными и балетными представлениями. И эти, как выражалась Лариса Рейснер, «флотские Афины» выросли на не слишком тучной ниве морского продовольственного пайка. Однако нельзя сказать, что все начинания политпросвета были в роде балетной школы и «артистериумов». Необозримое поле для работы представлялось политическому работнику. Несколько десятков тысяч военных моряков и красноармейцев было сосредоточено в то время в петроградской, кронштадтской, ораниенбаумской и шлисельбургской морских базах. Лекции, концерты, спектакли, доклады по десяти и двадцати в день во всех аудиториях, начиная с гарнизонного клуба в Кронбазе и кон-

чая тесной норкой красного уголка на форту «Риф» или «Передовом», как возможно охватить эту сложную и громоздкую машину, аппарат политпросвета флота Балтийского моря? Три четверти работы, может быть, и пропадало впустую, но четверть научила красноармейцев и моряков политической грамоте (и просто грамоте) и расширило их культурный кругозор. Эта лучшая часть краснофлотцев училась и читала, записывалась на общеобразовательные курсы, на курсы иностранных языков, шла в партию и в партийные школы, писала корявым почерком статьи в «Красный Балтийский флот». Именно эти люди в ночь на 2 марта 1921, когда Кронштадт оказался в руках мятежников, ушли по льду из крепости, чтобы вернуться с оружием в руках и в первых рядах атакующих мятежный Кронштадт. Мы работали в условиях жесточайшей бедности, иногда нуждаясь в лишнем карандаше или тетрадке, иногда при полном равнодушии снабжающих органов, иногда с ненадежным составом преподавателей и лекторов. Работали, изнемогая от физической усталости и ответственности, упираясь лбом в глупость, граничащую с предательством, в бюрократизм и явный саботаж. Когда я однажды жаловался на все эти трудности старому моряку-революционеру, он сказал: «Вот тебе мой сказ. Под Батальском заходит наша разведка в станицу и видит в окошко: сидят в избе десять кадетов и пьют молоко. А нас трое. Что делать, спрашивается? И говорит один товарищ: «Действуем нахально, по-революционному». Мы шашть в избу, взяли их, как говорится, на бас: руки вверх, и как наши наганчики заиграли. Вот тебе и весь сказ: ты коммунар? Действуй нахально, по-революционному». Разумеется, я привожу этот рассказ в качестве бытового штриха, а не рецепта. Не однажды я подумывал об уходе из флота, но, поразмыслив, полагал, что на этом месте я не имел более достойных предшественников и вряд ли получил бы в это жаркое время более достойного преемника. Наконец я уверен, что больших пробелов и ошибок не было в нашей работе. А изменить общее положение во флоте было не в наших силах.

Все это были будни, боевые будни, но если выдавался праздник, то это был невиданный, небывалый и незабываемый праздник на нашей улице.

В 1920 году в Петрограде во дворце Урицкого, бывшем Таврическом, открывался Второй конгресс Коммунистического интернационала. Был теплый и солнечный для северного лета день. У Фондовой биржи на Васильевском Острове происходила репетиция «массового действия», мистерии, как назывался грандиозный, феерический спектакль под открытым небом, поставленный в честь открытия конгресса. Тысячи одетых в театральные костюмы и загримированных людей маршировали, перебежали, образовывали скульптурные группы на ступенях биржи. Групповоды пронзительно свистели, режиссеры и их помощники кричали в рупоры и стреляли из пистолетов. С командного мостика сигнализировал флагами главный режиссер. Было пестро, синё, разнообразно, величественно, но абсолютно непоэтично. Лариса Михайловна Рейснер, Мария Федоровна Андреева, художник Анненков и режиссер Радлов с трудом продвигались в толпе бряцающих настоящими цепями рабов, гремящих доспехами рыцарей и задыхающихся в мундирах гвардейцев. Несколько сот медных труб соединенного военного оркестра нестерпимо сияли на солнце. Если к этому прибавить радугой сигнальных флагов миноносцев (на Неве), кавалерийские значки на пиках курсантов и сто тысяч людей на берегах Невы, ожидающих с утра начала спектакля, то вы поймете, что такой день навсегда запоминается современниками. Накануне, а может быть, и в этот день открылся конгресс в бывшем Екатерининском зале дворца Урицкого.

Английские, немецкие, итальянские приветствия были не только декларативная, праздничная часть работ конгресса. Республика советов была во вражеском кольце, она отбивалась из последних сил, как бы предоставленная самой себе. Произносимые на языках всего мира речи были символом единства, напоминали о солидарности пролетариев и о том, что советская республика не одинока в последних, решающих боях. На этой трибуне три, четыре года назад ку-

выркался Пуришкевич и злобствовал Марков 2-й. Теперь здесь на пяти языках, на многих наречиях произносили слово «интернационал». «Интернационал» — гимн трудящихся — заставил дрогнуть стеклянный колпак потолка. После первых речей и приветствий был перерыв. Делегаты и гости — три тысячи человек — разбрелись по Таврическому саду и вестибюлю дворца. Некоторых занимал исторический путь здания, путь от дворца «великолепного князя Тавриды» до государственной думы и от государственной думы до дворца Урицкого. Другие просто курили и слушали шум улицы. По Шпалерной все еще двигались рабочие колонны и ползли алые полотнища и нестройно гремели оркестры. В саду было прохладно и тихо, и белая колоннада отсвечивала темно-зеленой листвой Таврического сада. Фотограф с треножником и аппаратом гонялся за делегатами. Я вдруг увидел моего товарища по Балтфлоту Терехова. Он находился в состоянии организационного восторга, — вечером у него были доклады во всех клубах Петроморбазы. Он снимался с делегатами, пожимал руки и пробовал мимикой объясняться с итальянцами. Неизвестно почему он втащил меня в большую группу людей, затем бросил и скрылся бесследно. Я устремился за ним, но остановился, потому что впервые в жизни увидел Горького. Трудно припомнить все ощущения и мысли, связанные с этой минутой, прошло одиннадцать лет, но, как это всегда бывает, человек знакомый по ста портретам сначала показался просто знакомым. Потом между мной и высоким человеком в черном пиджаке встали томы книг и полчища мыслей, и все в нем стало важным и неповторимым и глубоким. Необычайное волнение охватило меня от солнца, зелени и дыхания не северного, а южного моря, моря Мальвы, о котором читал у Горького. В конце концов я понял, что глупо пялить глаза, и отошел. Итальянская речь звучала вокруг, музыка, шаг колонн и рожки автомобилей роем летели от Шпалерной. Теперь, я стыжусь этой сентиментальности, но тогда волосы зашевелились у меня на голове от тысячи мыслей, от дня рождения Интернационала, от предчувствия победы, от голоса

Ленина, который я сегодня слышал впервые, от Горького, которого я впервые увидел. Книга моей эпохи открылась для меня на первой странице. Минуты прошли мимо меня шагом столетий. («Идут часы походкою столетий...» — сказал Блок).

День продолжал разворачиваться значительно и великолепно. Исторический день продолжал звучать, как симфония, даже в «Доме литераторов» — тихой пристани будущих эмигрантов. Профессор Карсавин ележно и келейно журчал о «вечности», «вечном и незабываемом». Стекла старенького особняка дрожали от разбега грузовиков, алые знамена питерских заводов насмешливо заглядывали в окно «Дома литераторов». Но бархатный профессорский баритон все еще пел виолончелью о «неприятности хаоса». И вдруг в этот затхлый мирок, в тихую обитель старых эстетов и дев ворвался иронический кашель и смех Ларисы Рейснер. Она вошла среди сердитого шипения и негодующих возгласов и ушла, вызывая стуча каблуками, на улицу, в разлив толпы, в неукротимый прибой флагов. Рычит сирена военного моряка Астафьева, и боевая, бывалая машина срывается и, принимая зеленую травку, пробивающуюся сквозь броню булыжника, выносит нас на Литейный. Между тем хаос и бессвязность массового действия у Биржи и роstralных колонн принимает характер революционной мистерии. Настоящие кузнецы бьют молотами по двадцати настоящим наковальням. Кузнецы расковыряют рабов, крестьяне и цеховые подмастерья обращают в бегство рыцарей, санкюлоты разбивают наголову королевских гвардейцев, красноармейцы и красnofлотцы гонят перед собой капиталистов, интервентов. Хлопают пулеметы, салютует отряд миноносцев и спят глаза прожектора. Артиллеристы стреляют из настоящих пушек, настоящая боевая дымовая завеса, подымаясь с земли, ширится, растет и как театральный занавес закрывает клубами черного, густого дыма фронтон Биржи, оживающих мертвецов, снимающих парики статистов. Опаловое небо белой ночи прорезает огненный смерч фейерверка. Рубиновые, изумрудные огни играют в небе. Пушки и рев пятисот труб покрывают

гул двухсот тысяч человек на обоих берегах Невы, на лодках, на пристанях и мостах. Ленинград празднует боевое наступление Коммунистического интернационала. В грохоте салюта, треске ракет угасал праздник, — завтра будни, адмиралтейские и балтийские будни. Каждый день был немислимо уплотнен и заполнен совещаниями, заседаниями, докладами, — он начинался в девять утра сочинением очередной статьи для «Красного Балтийского флота» и кончался в полночь концертом-митингом, скажем, в клубе минной дивизии. Между Адмиралтейством и домом нужно было непременно побывать у Ларисы Михайловны. Там встречались неугомонные люди разных полюсов: поэты и политические комиссары, художники и боевые красные командиры. Лариса Рейснер работала в комнате окнами на Неву. «Штабной» беспорядок в комнате усиливался разбросанными на столе книгами и отдельными листами рукописей. Рукопись могла оказаться и фельетоном для «Красной газеты» и началом пьесы. Начало одной пьесы я слышал однажды. Действие происходило в городе, оставленном красными. Очень хорошо был написан спор между героиней — женой коммуниста и ее родителями, скандализованными тем, что их дочь хотела итти на фронт, следом за мужем. Пьесу слушала меланхолическая дама в трауре, — машинистка Ларисы Михайловны. Большая, круглая, похожая на барабан шляпа лежала у нее на коленях. С обиженным, всегда скептическим видом она барабанила по клавишам, и Михаил Андреевич Рейснер едко называл даму «заяц с барабаном». В ее лице были огорчение и обида, обида на обстоятельства, на революцию, которая заставила ее, вдову каперанга, стучать на машинке.

С каждым годом увеличивается интерес к той эпохе, биографические романы и повести грозят обрушиться на читателей. Есть уже первые зловещие образцы этой псевдобюграфической литературы. Один романист уделил значительное место прогулкам Ларисы Михайловны и Александра Блока верхом по островам. Не знаю, важны ли для исследователей литературы эти прогулки, но им уделены страницы своих дневников люди, близ-

кие Блоку. Так, в одном дневнике явно звучит обывательское брюзжание, — вот каким путем пытались втиснуть поэта в революцию. Конечно никакого хитро задуманного и разработанного плана вернуть Блока революции не было. Но было особое внимание к судьбе автора «Скифов», «Возмездия» и «Двенадцати». Надо знать, чем был Блок для нашего поколения. До революции он был без спору признан современниками первым лирическим поэтом. В самом начале революции поэмы Блока отразили ее смысл и стихию. Произведения этого периода до сих пор не утратили ни своего веса, ни значительности, потому что Блок правильно понял революцию как возмездие старому миру, как утверждение новой эпохи, эпохи Интернационала. Колесания Блока были колесаниями и провалами его поколения, но мы никогда не забывали, что в дореволюционных стихах Блока было трезвое и беспощадное разоблачение «предателей в жизни и дружбе», «пустых расточителей слов», сознание беспочвенности «пресыщенной интеллигенции» и вместе с тем предвидение социальной революции. Еще в 1908 году Блок заговорил о «свежем зрителе», о «новой, живой и требовательной, дерзкой аудитории», о «массе рабочих и крестьян» (статья о театре). Для поэта, который понимал старую Россию не как «единую и неделимую Русь», понимал «международный, разноплеменный», «весьма разнородный ее характер», страну,

где разноликие народы  
из края в край, из дола в дол,

был естественным и последовательным призыв народов «на светлый братский пир» Интернационала. Я вспоминаю эти общеизвестные вещи только для того, чтобы читатель мог вообразить себе наши чувства, когда мы увидели Блока 1920 года, Блока, обреченного на борьбу с театральным интриганством, с закулисным политиканством первых актеров и режиссеров. Он расточал себя в пустых высокопарных спорах в театральном отделе, он опустошал себя в борьбе за постановку «Розы и креста». Кто мог поддержать Блока? Стареющие мистики и эстеты, ворчливые эпигоны, весь так называемый старый Петербург, не при-

емлющий революции. Петербург—Петроград военных лет с игрой в салоны, с жалкой борьбой самолюбий, «ячеством», ложной значительностью мыслей и бурями в ложке воды. Однажды на спектакле в Большом драматическом театре, в антракте я спросил Блока, что он думает о пьесе одного коммуниста, ученого, пьесе, написанной в манере Вольтера, — в ней были все элементы настоящей антирелигиозной пьесы. Он помолчал и сказал с неподвижным лицом и отсутствующим взглядом: «Я этого не понимаю». Между тем он был автором кощунственных для своего времени «Стихов о Прекрасной Даме» и автором «Незнакомки». Только позже, прочитав дневники Блока, я понял, что он не только «этого» не понимал, но вообще уже не понимал происходящего и окружающего, может быть, это было началом его смертельной болезни...

Как неестественно и поэтически надуманно мы узнали о смерти Блока.

Октябрь 1921 года, Афганистан, пятнадцатый день пути по Хезарийской дороге. Палящий полдень после прохладного горного утра. Путь от Кабула до Герата, перевал, на котором выдыхаются привычные афганские кони. На гребне перевала мы вдруг увидели европейца в пробковом шлеме. Он ехал в так называемом тахтараване, в носилках, укрепленных на спине двух запряженных гуськом лошадей. Он лежал под вылинявшим балдахином и стонал в такт покачиваньям носилок. Мы встретились меж двух высоких, похожих на верблюжьих горбы гор, закричали и сразу кинулись друг к другу. Это был кинооператор по фамилии Налетный, вечный спутник Волжско-Каспийской флотилии в 1919 году, чудаковатый и болезненный человек. Он ехал в Кабул с двумястами метров пленки и старинным киноаппаратом. Когда его вынули из носилок и поставили на ноги афганские солдаты, он заговорил без пауз, не останавливаясь ни на секунду: «Шестой день молчу, — ни одного звука. Я не могу по-афгански, а они по-русски, скажите, нельзя ли добыть хоть одну бутылку красного вина? Честное слово, я болен. Простое тоническое средство — бутылка вина...» Это была сказочная наивность. Четыреста километров вокруг бы-

ли горы, восемь, девять тысяч футов над уровнем моря, снег уже лежал в горных проходах, и кочевники спускались в долины. В глинобитных раббатах (станциях-крепостях) мы с трудом находили пресные лепешки и воду. У фанатических суннитских племен на тысячу километров вокруг со дня распространения ислама не пахло алкоголем, а сумасшедший кинооператор требовал себе красного вина, как в дореволюционном железнодорожном буфете. Но мы устали от пятнадцати дней в седле и не смеялись. «Что нового в Питере?» Растирая затекшие колени, он ответил: «Ничего. Все в порядке. Только умер Блок»....

Я не спеша собрал бесстрашно  
Вспоминанья и дела,  
И стало беспощадно ясно:  
Жизнь прошумела и ушла.

Вокруг торжествовала тишина, горное безмолвие, горный хаос, дикая, нетронутая природа. «Умер Блок. Разве вам не передавали по радио? Сводки Роста?» Мы не разубеждали его. Пусть он в Кабуле узнает о том, что наша радиостанция убийственно работает летом и осенью. Брякнули колокольцы, сумасшедший кинооператор полез в тахтараван, и два афганских солдата прищипорили тощих коней. Он привез в Кабул Ларисе Михайловне весть о смерти Блока. Теперь, перечитывая «Путешествие в Арзрум» и встречу с телом Грибоедова, я неизменно вспоминаю Хезарийские горы и первую весть о смерти Блока.

Многое открыли и объяснили дневники Блока. Несвоевременно писать о них сейчас объективно и откровенно, так, как они заслуживают, но, возвращаясь к лету и осени 1920 года, надо сказать, что настроения Блока, его трагическое бытие были правильно угаданы Ларисой Рейснер. Во всяком случае она делала очень осторожные и умные попытки поставить Блока над его средой и окружением. Сейчас такие попытки называют «содействием перестройке». В этой, если хотите, борьбе за Блока грубее многих других, примитивнее и даже высокомернее был Сергей Городецкий, особенно, когда упрекал Блока за «аполитичность».

Тогда в прозрачных, отсутствующих глазах Блока появлялась тень усмешки.

Сурова и жестока была зима 1920—1921 года.

Что сегодня, гражданин, на обед?  
Прикреплялись, гражданин, или нет?  
Я сегодня, гражданин, плохо спал,  
Душу я на керосин обменял.

Испытания холодом и голодом озлобляли вчерашних попутчиков революции. Не редко выходило так, что наименее ценные и наиболее беспринципные устраивались комфортабельнее и удобнее искренних и верных людей, растерявшихся от лишений и мнимой безнадежности положения. Многое зависело от резвости ног и умения приспособляться. Половина людей, где-то читавших лекции, где-то и что-то преподававших, всегда подумывали об отступлении на заранее подготовленные позиции. Когда вы требовали от людей ясных и точных, продуманных ответов, ставящих человека по эту сторону баррикады, они говорили с циничной откровенностью: «Ну, знаете, может быть, кто другой может, ему нечего терять, а мне... Нет уж, простите». Менее откровенные были чувствительным политическим сейсмографом, реагиравшим на редакционные тонкости оперативных сводок, на все сплетни и слухи. Иногда по тону собеседника вы могли узнать, как обстоят дела на врангелевском фронте и есть ли шансы на выступление поляков. Особенно много хлопот доставило таким людям кронштадтское восстание. 16 марта, когда еще гудели орудия мятежников, один знакомый не ответил на мой поклон на Невском. А ровно через сорок восемь часов он позвонил по телефону и умилялся победе революции. Поэтому заслуживали известного уважения открытые, откровенные враги. Когда комиссия Политотдела проверяла списки граждан, состоящих на морском продовольственном пайке, она сняла со снабжения несколько литераторов, не только никогда не работавших в клубах и школах Балтийского флота, но политически чуждых этой работе. Среди них был Гумилев. Кстати сказать, он никогда не скрывал своих антисоветских убеждений. Только он один и принял это решение как долж-

ное, без возражений, просьб и апелляций. Остальные жаловались, угрожали, протестовали, и среди всех неопишущую энергию проявлял нынешний злостный эмигрант Волковыцкий. Мои сверстники, люди нашего поколения, прошедшие суровую школу революции, не могли без некоторой почтительности оглядываться на высокого, худого человека, на лысый, неправильной удлиненной формы череп Гумилева. В Доме искусств на Мойке, где иногда появлялся Гумилев, жил на положении скромного сотрудника издательства «Всемирная литература» бывший блестящий дипломат и светлейший князь Петр Петрович Волконский. Это был редкий образец германского светского воспитания, человек огромной, но бессмысленно собранной эрудиции, мастер блестящей болтовни, которая никак не позволяла узнать, кто твой собеседник, — просвещеннейший европеец или круглый невежда. Этот человек, аристократ по происхождению, бывший помещик и миллионер, вряд ли был социально опасен в то время. В худшем случае он мыслил себя непризнанным Талейраном, спокойно ждал развития событий, изредка позволяя себе критиковать действия Чичерина. В свое время Н. С. Гумилев, деклассированный дворянин, вольноопределяющийся из армейских гусаров, вряд ли мог быть допущен на порог особняка бывшего светлейшего, и однако из чистого снобизма Гумилев считал нужным восстановить права и преимущества рождения светлейшего и тот государственный строй, с которым по существу он, Гумилев, ничем не был связан. В этом была узость и наивность его позиции, трагикомичность позы контрреволюционного бретера и сноба. Когда в 1921 году группа работников уезжала с Раскольниковым в Афганистан, Гумилев сказал кому-то из окружающих: «Если дело идет о завоевании Индии, — мое сердце и шпага с ними». Он как бы жил в павловской эпохе, в годы, когда по приказу сумасшедшего монарха старенький атаман Платов двинул донских казаков на Индию. Для Гумилева ничего не изменилось за сто с лишним лет, он жил в мире литературных реминисценций, романтических легенд, жил окруженный последними снобами, «обновившимися жуирами» из «Бродячей со-

баки», шел навстречу бессмысленному концу и встретил его с бессмысленным и ненужным мужеством. В общем мы стояли в стороне от литературных бурь и не столько потому, что сами их сторонились, а потому, что классовая борьба, политические бои обостряли отношения между коммунистом, политическим работником и даже «сверхнейтральной», «лояльной» средой «жрецов чистого искусства», «высоких литературных традиций». Дореволюционные журналисты и литераторы в большинстве представляли собой реакционную, обывательскую группу, безнадежно завязшую в мистицизме и интеллигентском эгоцентризме. Впоследствии они из внутренних эмигрантов обратились в белоэмигрантов в Берлине и Париже. Можно было по пальцам перечислить людей, без оговорок и с оговорками сопутствовавших революции. Советская литература только-что раскачивалась, приходила в движение и пока она не могла быть утилизирована в борьбе с вооруженной реакцией. Сила и значение Маяковского в то время заключались не столько в поэме «Сто пятьдесят миллионов», сколько в стихотворных лозунгах и подписях к плакатам. От дня ко дню, от месяца к месяцу, будничной политической работой, средоточием всех интересов для одной цели — победы революции, непрерывным общением с массой мой сверстник из спутника революции превращался в ее участника. Он уже не ставил себя вне партии и класса, он переплавлялся в огне эпохи, он приобретал политическое чутье и темперамент и расставался со всеми сомнительными фетишами старой культуры. Нужно было крепко верить в целесообразность совершающегося, чтобы не впасть в уныние от вида парализованных фабрик и законсервированных заводов, фабрик-калек и заводов-мертвецов. Токари по металлу точили зажигалки, а циники мрачно острили, что к зажигалкам в сущности и свелась вся петроградская промышленность. Коммерческие суда, сданные на долговременное хранение, руины фабрик на Полуостровской набережной, паровозные кладбища, пустые эллинги наводили тоску на самых твердых оптимистов. И потому никак нельзя забыть первые субботники, предвестники будущей победы

над разрухой. Пошлаки и циники пытались иронизировать над усилием тысячи людей, поднять и разгрузить затонувшую баржу. Но солидарность людей, напрягающих силы в тылу, в борьбе против разрухи, в то время как другие тысячи дрались на фронте, была высоким символом рабочего единства и залогом будущих побед. В стуже топоров, песнях рабочих, красноармейцев и моряков был высокий аллегорический смысл. Тысяча людей копошилась в ребрах затонувшей баржи. Медный Всадник, «в черных лаврах гигант на скале», указывал на этих людей, и невозможно было понять, что было в его жесте — изумление или желание укротить возмутившихся. Синяя Нева, золотая чешуя заката на реке, люди, облепившие баржу как скелет кита, запомнились как гениально выполненная аллегорическая картина. На набережную на руках женщин и мужчин поднялось черное тяжелое бревно и с громом ударило о гранит. Лариса Рейснер в изорванном ситцевом платье поднялась на набережную. Мы прошли до Зимнего дворца. Деревья и кустарник вольно разрослись в бывшем царском садике. Лариса Михайловна очень любила эту освобожденную от монументальной ограды, свободную и дикую зелень. «Небрежность планировки деревьев, фасад дворца, идиллическая тишина, покой и запустение, разве это не напоминает пейзаж ренессанса, если хотите, Винченцу?.. — приподнято, точно декламируя, говорил Аким Волынский, — но небо, это северное небо, — не небо Италии». Пейзаж был достоин пафоса и декламации, но Волынский конечно не задумывался над тем, каким резким штрихом выглядел он сам на фоне пейзажа, когда внезапно появлялся на набережной. Чопорный, в твердой круглой шляпе и черном пальто, — философ на прогулке. Он все же импонировал нашему не слишком уважающему авторитеты поколению. Автор замечательной монографии о Леонардо да Винчи, литератор, мужественно вынесший не одну литературную бурю, еврей, державший писать о Достоевском и Пушкине на зло осатаневшим от такой дерзости реакционерам, он был, если хотите, даже трогателен в последнем периоде своей литературной биографии, когда

доставлял удовольствие острякам глубокомысленными и высокопарными балетными рецензиями. Мы гуляли по набережной, и он с каким-то чувственным упоением говорил об одной юной ученице балета, Лидии Ивановой. Однажды он показал ее Ларисе Михайловне в той самой балетной школе, которая когда-то, неизвестно почему, находилась в ведении политотдела Балтфлота. Несмотря на страстные речи шефа школы Волынского, несмотря на цитаты из эллинских философов, автор этих записей передал школу в отдел народного образования. Волынский говорил о Лидии Ивановой так, что у этой худенькой, стройной девочки, вероятно, кружилась голова. Старушка — инспектриса школы — дремала в кресле над чулком. «И это тоже традиция балета, прекрасная традиция» — задыхаясь, произносил Волынский. «Он — старый безумец, просто старый безумец, — говорила потом Лариса Михайловна. — После Леонардо и книги о Достоевском самая черная, самая скверная мистика и рядом с этим — балет, балетные феи... Но какой темперамент! Вы не знаете, почему его обижает Мария Федоровна?» (М. Ф. Андреева заведывала театральным отделом).

Лидия Иванова действительно была «юным гением». Она погибла в расцвете славы и мастерства, она утонула на взморье, и в Маркизовой Луже исчезла последняя балетная фея, «наша Цукки, наша Фанни Эльснер», как говорил Волынский. И он сам не на много пережил фею. В тот вечер они стояли рядом; фея, «старый безумец» и Лариса Михайловна.

Я возвращаюсь к «адмиралтейским» вечерам и спорам за круглым столом. Там, как писали в шуточной поэме, «над тарелкой Городецкий уже склонялся как цветок, соединив гражданский, детский, ученый и морской паек». Там возникали настоящие словесные поединки и иногда они кончались бурными и короткими ссорами. Тогда Лариса Михайловна еще не утратила чрезмерной снисходительности, доверия и любопытства к людям. Это пришло только в результате нескольких ошутительных уроков. И был однажды такой урок: в «Красной газете» она нашла очень бой-



кого и разговорчивого технического секретаря. Он рассказал о себе, что он — бывший меньшевик, что недавно освобожден из заключения и потому ведет такую незначительную работу. Он показался Ларисе Михайловне знающим и дельным человеком. «А что касается его меньшевизма, то, знаете, ему принесло пользу сидение в тюрьме». И она рекомендовала его на ответственную работу. Все же навели справки и оказалось, что товарищ Давидзон действительно был арестован и сидел, но не за меньшевизм, а за близость к семье Распутина. Это был тот самый легендарный питерский репортер, который ради самой точной и прямой информации о старце посватался к его дочери.

«Такой способный и повидимому дельный тип и оказалось...»

Эти слова «и о-ка-за-лось...» она произносила всегда смеясь и скандируя слоги, так что они в других, подобных эпизодах звучали как лейтмотив. В Бухаре например отыскалась «умная, дельная, пожилая женщина, ее бы хорошо взять с собой хлопотать по хозяйству в походном штабе». И оказалось... что дельная, пожилая женщина в свое время состояла при особе эмира бухарского для особых поручений. Но вчерашнее разочарование сейчас же забывалось, начинались новые поиски человека и новые разочарования. Для Ларисы Рейснер неожиданные симпатии к людям возникали вследствие постоянных поисков незаметных, но замечательных людей, поисков незаметного героя, которого можно было поставить в первые ряды на полагающееся ему по праву место. Расставаться с мечтами, уничтожать иллюзии она научилась впоследствии.

Дни проходили в странствиях между Петроградом и Кронштадтом. От бывшего Николаевского моста ходили катеры к острову Котлину, Кронкрепости, Кронштадту. Летом — освежающая непродолжительная прогулка. Зимой — сложное путешествие кружным путем по железной дороге до Ораниенбаума и по льду в санях или на ледокольном катере до Кронштадта. Летом катер пробегал мимо пустых элингов судостроительного завода, мимо стоящих на мертвых якорях военных и торговых

судов, мимо двух спущенных на воду но невооруженных сверхдредноутов. Длинные, высокие корпуса сверхдредноутов напоминали железный мол, и катер проходил под отвесной железной стеной, как юркий водяной жучок. Так они стояли годы, «Кинбурн» и «Бородино» — два гигантских пловучих гроба, и в них были похоронены мечты царской России, мечты о морском могуществе. Катер входил в морской канал, и образовательное путешествие продолжалось. У стенки на мертвых якорях стояли два корабля с высоко поднятыми бортами и наклонными трубами. Темносиние корпуса, золотые орлы на корме и золотые буквы «Штандарт»<sup>2</sup> и «Полярная звезда» открывались нам как названия главы из эпохи последнего царствования. На бывшей императорской яхте «Штандарт» было запустение и разгром. Говорят, еще недавно, в хаосе обломков и мусора можно было отыскать фотографию «державного хозяина» яхты и датского короля или приглашенный билет офицерам яхты «Штандарт» от офицеров яхты «Гогенцоллерн». Не знаю, каким образом попала к нам книга почетных гостей яхты с автографами Георга V, принца Уэльского и Пуанкаре. Там всего удивительней была собственноручная подпись Вильгельма II. «Wilhelm», затем сложнейший, запутанный каллиграфический росчерк и внутри росчерк буквы «I. R.» — «Imperator—Rex». Сколько самовлюбленности, самообожания и тупости было в автографе экс-кайзера! Затем случайно удалось разыскать несколько сот радиограмм, собственноручно написанных Николаем II. На плотной упругой бумаге в заголовке напечатано: «Императорская яхта «Штандарт». Искровая станция», и дальше на всех бланках одно и то же, одним и тем же слабым, остреньким почерком: «Петергоф, ее императорскому величеству. Прошли Зунд. Погода прекрасная. Ники». Или: «Прошли Босфор. Погода прекрасная». Или: «Двинск, камергеру Воронину. Благодарю двинских городовых за выраженные чувства», или: «Пью здоровье лихих атаманцев лейб-казаков», или: «поздравляю лихих изюмских гусар полковым праздником», или наконец: «Петербург, Елагин дво-

рең, председателю совета министров Столыпину. Вам разрешается прибыть в Петергоф такого-то числа, во столько-то часов». Несколько дней мы разбирали эти радиogramмы, написанные рукой самодержца, стандартные приветствия, благодарности, поздравления, сообщения о погоде, и вся тусклая, серенькая жизнь, бытие пехотного полковника встало перед нами в тусклых и серых словах, посланных в эфир искровой станцией яхты «Штандарт». Происходили величайшей важности события, готовилась мировая война, бастовали путловцы, на Ленских приисках расстреливали рабочих, убивали премьер-министров, а пехотный полковник Николай Романов интересовался погодой, благодарил годовых, пил здоровье лихих донцов и неуклонно подвигался к историческому концу династии. Династия началась в костромских лесах, в Ипатьевском монастыре и пришла к неминуемому концу через три с лишним века в доме екатеринбургского купца Ипатьева. Радиogramмы Николая II лежали месяц или два на широком подоконнике в комнате флаг-секретаря. Они перемешались со старыми сводками Роста, старыми номерами «Ленинградской правды», о них забыли, и наконец затеявший генеральную чистку флаг-секретарь отправил автографы Николая II в морской музей или архив.

Катер вышел из морского канала, оставив вправо Лисий нос. Остров Котлин всплывал впереди куполом Кронштадтского морского собора в венке золотых якорей. Это — Ворота Санкт-Петербурга — Кронкрепость, морская крепость первого класса. Здесь, под куполом из золотых якорей, устраивал общие исповеди отец Иоанн Кронштадтский, и сумасшедшие старухи публично каялись во всех смертных грехах. В 1917 году сюда со страхом и любопытством ездили эмиссары временного правительства и журналисты, красный Кронштадт им казался островом Хортицей, гнездом вольницы, красным Запорожьем. В 1920 году здесь была строгая и зловещая тишина. На рейде, под углом в тридцать градусов, лежал затопленный английскими минными катерами крейсер «Память Азова». Затонувшие баржи догнивали в

вырубленных в граните каналах, и в стеклянных водах отражались горбатые мосты, замыкая в воде полный овал. Военный, крепостной город, русская казарменная Голландия, Кронштадт был весь как палуба корабля, и, если бы не пакгаузы, склады и казармы, можно было думать, что однажды гранитный остров снимется с якоря и выйдет в открытое море. Краснофлотец призыва 1930 года справедливо считает двадцатый год почтенной стариной, эпоха же царского Кронштадта — Коронного города — для него чуть не доисторическая эпоха. Я был в Кронштадте, когда каждый третий матрос помнил коменданта крепости контр-адмирала Вирена. Не раз я бродил по Кронштадту со старыми моряками, они были живой книгой, летописью острова Котлина, им кронштадтская учеба и каждый камень стоили каторжного пота и крови.

«...Поживи, браток, на корабле в прежнее время. Кубрик — железный гроб. Сушат тебя жар от топки и скука. Спустят на берег — нет покоя от Вирена, каторга. Вот идешь, браток, по Якорной, загляделся и ступил ненароком на газон. Идешь себе дальше — беды не чувствуешь, а сука Вирен сидит в комендантском окошке с биноклем и на пять верст под землей и на земле видит. Догоняет тебя адъютант: «Доложи по начальству, чтоб тебя посадили на семь суток. Будешь знать, как по газону ходить».

«...падкий был на издевку, гад. В воскресенье идешь со своей Маруськой, белый день и любовь не картошка, а он на паре вороных обогнал и стоп. Стал матрос, как полагается, каблук о каблук, аж искры. Нет, что ты скажешь! Прикажет штаны отстегнуть середь улицы, середь бела дня. Полагалось иметь на перемычке штанов написанную фамилию. А нет фамилии, — налево кругом арш — на семь суток».

«...— вот улица. Здесь были полтинничные дома, особые для солдат и матросов. У каждого свое прозвание: «Трансваль», «Версаль», «Золотой павильон», а один назывался «Мухина батарея». В воскресенье и в праздник — держись, смертная драка у солдат с матросами. Между прочим держали в Кронштадте два эскадрона драгун — управу на матросов».

«...на Якорной убивали Вирена. Между прочим писали в семнадцатом году, будто мы всех офицеров под машинку. Мы в каждом офицере разбирались. На кого была обида—тех не пожалели. Всех не обжалешь. А Вирен, как жил, так цепной собакой и помер. Не сдрейфил старик. Вспоминаешь старое время. Эх, мама моя. Зима — наша мачеха. Летние месяца теперь, — прямо рай. В сухопутном манеже — концерт, в морском собрании — чего душа твоя хочет — опера и балет. Опять — кино. А зимой, как есть остров Сахалин. Метель панихиды играет, на фортах — тоска смертная».

«...что поделаешь — сторожим Питер».

После Кронштадта и фортов мы понимали смысл приказов командования, — сосредоточить всю культурную работу в Кронштадте, напрячь все силы для того, чтобы моряки и гарнизон не чувствовали себя забытыми на «чортовом острове» Котлине и на осколках гранита — морских фортах. Но едва ли можно было исполнить это приказание — непосредственную работу в Кронштадте вел политотдел Кронбазы, за нами оставалось право инструктирования, и часто оно выражалось только в многословных и благожелательных беседах. В Петрограде еще действовала магическая сила продовольственного пайка, но как заставишь лектора или актера поехать в Кронштадт зимой. И все же уговорами и призывами к чувству долга мы добились некоторого оживления в культурной работе в Кронштадте. Положение с продовольствием во флоте было не лучше, чем в армии и у гражданского населения. Летом было туго с хлебом в Кронштадте, но со зрелищами стало благополучнее. В бывшем морском собрании танцевала Люком, в сухопутном манеже играли александринцы, а Шаляпин предлагал «спеть у матросов в Кронштадте». Правда, он требовал за этот концерт астрономическую для того времени цифру и в придачу, кажется, десять бутылок коньяку. В самом же Кронштадте именно в те дни уже пахло «Кронштадтом» в ковтычках. Я помню, как линейный корабль «Севастополь», два года стоявший у стенки в Петроградском порту, осенью увели в

Кронштадт. Это стоило больших усилий и вызвало в свое время бурю споров среди специалистов, опасались, что линейный корабль с большой осадкой не сможет пройти в канале (углубительные работы не производились несколько лет). Команда «Севастополя» тоже имела причины быть недовольной переводом в Кронштадт. Матросы устроились по-семейному в своих квартирах, им, разумеется, не хотелось переезжать на «Сахалин», и позже недовольство матросов «Севастополя» сыграло свою роль в кронштадтском мятеже.

Брожение на «Севастополе», сведения, поступающие с кораблей, стоящих в Петрограде, вызывали естественную тревогу. Политическое управление начало усиленную кампанию за поднятие дисциплины. Политпросвету спешно поручили организацию «суда над дисциплинированным военным моряком». Суд был инсценирован при помощи экспертов из морского революционного трибунала. В общем это было наивное театрализованное действо. Обвинителями дисциплинированного моряка были поп, белогвардеец, спекулянт и «клешник», — прямая противоположность дисциплинированному моряку. Защищали моряка: рабочий, бедняк-крестьянин и работница. Суд кончился оправдательным приговором дисциплинированному моряку и постановлением взять под стражу его обвинителей. Любопытно, что роль спекулянта по письменному предписанию политуправления играл моряк-коммунист, впоследствии вместе с Чухновским и Самойловичем заслуживший всемирную известность походом ледокола «Красин». Он подходил к этой роли по внешним данным. «Клешника» играл актер-профессионал. Он потешал тысячи матросов в Петрограде и Кронштадте, но теперь, я думаю, что некоторая часть зрителей относилась с полным сочувствием к его хулиганским выходкам.

Инсценировка суда над «дисциплинированным» матросом кончилась поздней ночью. Катер отходил в шесть утра, и мы провели ночь в пустом и полутемном здании бывшего морского собрания. Огромные, почерневшие батальонные холсты изображали морские баталии прошлого века. Здесь славно пили и ели грозные адмиралы, герои Станюковича,

хрипуны и ворчуны, командиры корветов. В шкафах, среди рухляди, среди разноцветного тряпья сигнальных флагов, лежали отпечатанные на атласе золотыми буквами меню торжественного обеда бывших воспитанников морского корпуса выпуска 1887 года. Нестерпимый холод и мрак нагоняли тоску. Долгожданный рассвет наконец засинел в окне, и мы ушли с удовольствием из этого невеселого, пропахшего пылью и тленом здания.

Мы встречали третий Октябрь. Три года прошло со дня Октябрьской революции. Я полагаю, в то время было не слишком много людей, веривших в то, что они доживут до тринадцатого и четырнадцатого года революции. И не оттого, чтобы им нехватало оптимизма, а просто потому, что был тиф, были шальные пули, а хуже всего был плен. Три года революции — для того времени была значительная цифра. Поэтому цифру «3», третий Октябрь встретили с энтузиазмом. 1920 год. Врангель на юге, ощерившая зубы белая Польша на западе, внутренние фронты, голод, разруха, и все же мы вступаем в четвертый год существования власти Советов. Потому решили отпраздновать Октябрь щедро и широко, с карнаваль-ной пышностью. Не помню, кому пришло в голову поставить на площади Урицкого, на бывшей Дворцовой площади, массовую социальную феерию «Взятие Зимнего дворца» и в тот же день на «собственном его величества Николая I подезде» соорудили вывеску: «Штаб по проведению Октябрьских торжеств». Штаб действовал совершенно по-военному, он мобилизовал режиссеров и художников, актеров и воинские части. Внутри арки Главного штаба построили сцену, декорации таких размеров, каких вероятно не было никогда. Затем построили трибуны по правую и по левую руку колоссальной сцены и начали репетиции. Они происходили ночью в гербовом зале Зимнего дворца. Полторы тысячи актеров и статистов, потрясая оружием, бегали и кричали и безумствовали в огромном оранжево-черном гербовом зале. Отряд режиссеров пытался внести некоторую организованность в хаос, но все это было началом, цветочками, потому что на площади участву-

ющих должно было быть не менее десяти тысяч. Три ночи мы провели в Зимнем дворце и сделали не один и не десять километров по скудно освещенным переходам и коридорам дворца. Со времени 7 ноября 1917 года, я полагаю, дворец не видел таких бурных ночей. Мы спали, не раздеваясь, в шинелях и сапогах на обитых малиновым штофом золоченых диванах. Мы резали хлеб на малахитовых столах, спорили и ругались, не избегая самых крепких слов в собственных его величества Александра II покоях. Творческий азарт художников и административный восторг организаторов доходил до экстаза. Некто Темкин, пианист и работник политотдела окружного военкомата, доходил уже до того, что предлагал разрушить двадцать, тридцать домов на Гороховой улице, чтобы открыть вид на иллюминированное Адмиралтейство со стороны Детскосельского вокзала. До разрушения тридцати домов не дошло, но некто Темкин утверждал: не дошло только потому, что до праздника осталось мало времени. Я говорю «некто» потому, что этот восторженный организатор, энтузиаст-разрушитель ровно через пять лет очутился в Нью-Йорке и там женился на престарелой богатой американке, антрепренерше балетных ансамблей. Престарелая супруга и теперь оплачивает его фраки и галстуки, и концерты, которые раз в год дает в здании Большой оперы ее счастливый супруг. Так в конце концов люди находят себя.

Возвращаясь к «Взятию Зимнего дворца», нужно добавить, что исторический крейсер «Аврора» прибыл в ту ночь из Кронштадта и стал на якорь у Николаевского моста. Все благоприятствовало зрелищу, за исключением погоды. Только энергия штаба могла заставить отважных актрис появиться на самой большой в мире сцене в открытых бальных платьях. Петроградская осень приготовила самую отвратительную погоду. Снег с дождем в полчаса покончили с выкрашенными охрой декорациями. Исполнителей—актеров, статистов, моряков, красноармейцев оказалось вдвое больше, чем зрителей. Однако, несмотря на погоду, Зимний дворец был взят с редким энтузиазмом. Погас свет на площади, осветились окна дворца, и в освещен-

щенных окнах, как на транспаранте, появились силуэты дерущихся людей. «Аврора» выстрелила положенное число раз, затрещали пулеметы, вспыхнула алая звезда на крыше дворца, и вокруг звезды засияли радужным нимбом прожекторы. Затем площадь сразу опустела. Пронизывающий ветер и снег кружили по Невскому. Была фантазмагорическая петроградская ночь, «... все окинулось каким-то туманом, тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался в своей арке, дом стоял крышей вниз и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз». Действительно все было как в «Невском проспекте» (за исключением карет, лошадей и конечно алебарды) и Ю. Анненков, автор декораций ко «Взятию Зимнего дворца», шел рядом и мечтал о том, где можно воспроизвести рисунок замечательного спектакля, в котором участвующих было в ту ночь больше, чем зрителей. Рисунок (все, что осталось от той ночи) был воспроизведен в единственном в ту пору литературно-художественном журнале «Красный милиционер». Да, журнал именно так и назывался, в нем не было ничего имеющего прямого отношения к милиции и городской охране. Он печатался на превосходной бумаге, в нем печатались Шкловский и некоторые формалисты, его иллюстрировал Анненков. Неожиданные роскошества исходили от лирической и широкой природы одного товарища из отдела управления Петросвета. Бывший студент из Тулузы, читатель и почитатель Ремизова, Сологуба и Белого, он имел большое тяготение к свободным художествам и проявлял это во всех подчиненных ему инстанциях. Что же, это было неплохо, но надо иметь в виду, что в то самое время, когда, скажем, милиционерши обучались пластике, на Невском лежали неубранные павшие лошади. Это именно он затеял постройку крематория в Петрограде и был ярким пропагандистом «огненного погребения» и радовал глаз посетителей его учреждения плакатами: «каждый может быть сожжен»... Чудак и фантазер проявлял неиссякаемую энергию: сегодня открывал музей Пе-

троградской преступности, завтра — школу ритма при клубе ГОРОХР (городская охрана) или присутствовал при «показательном трупосожигании». Но задор молодости был простителен, — революционная власть родилась три года назад и из детства переходила к отрочеству. Детищем этого неутомимого товарища был «Отель Петросвета номер первый»; именно отель, а не гостиница или общежитие. Днем дом вымирал, почти все его обитатели приходили только на ночлег. В пятом этаже жил одержимый поэт Василий Князев, в первом — тишайший Ремизов. В третьем — тихая, задумчивая девушка — следователь уголовного розыска. По всем этажам странствовали полуночники в поисках споров, чаю с клюквой и в лучшем случае картофеля. Неожиданно в одну январскую ночь пришел Скориков, комиссар красновардейского отряда, сторож советской границы у Брянска в 1918 году. Он постарел и похудел, но длинная кавалерийская шинель и красноармейский шлем изменили его облик. Теперь это был прирожденный военный, красный кавалерист, командир полка, сжившийся со своим снаряжением, ремнями, казачьей дареной шашкой, ничего не осталось от глубоко штатского машиниста добровольного флота. Он приехал с южного фронта повидать жену — питерскую студентку. Мы слушали его рассказы. Раньше мы внутренне ощущали связь с Красной армией, добывающей Врангеля, теснящей поляков, теперь Скориков был живой связью. Он рассказывал о летних и весенних месяцах 1920 года, о ночном кавалерийском бое в вишневом саду, осыпанном розовым цветом под серебряным полнолунием. В эту тихую украинскую нечь в смертельной ненависти рубились красные и белые всадники, и грызлись их кони. Он сознался, что хотел написать рассказ о ночном бое, об ударах шашек, о револьверных выстрелах, распугавших соловьев. «Почему ж не написал?» «Не вышло — порвал». Тогда некогда было звать в литературу, учить и поучать. Скориков простился, и трудно сказать, где теперь этот человек, — в кубанских колхозах или в геологических разведках у Ангары. Или он не пережил еще одну весеннюю ночь, лунную ночь у Мелито-

поля? Приходили люди, пили с нами кирпичный чай, ели печеный картофель и уходили навсегда, и кто знает, где их могилы — в черноземе Украины, в известковом грунте Черноморья или под кронштадтским льдом. Ветер трепал на стенах домов трагические заголовки «Правды» о выступлении поляков. Мобилизованные товарищи выслушали краткую речь с балкона районного комитета, взяли по сотне папирос «Зефир» в Петрокоммуне и ушли на вокзал. Люди в ушастых шапках смотрели им вслед, — не было деления на фронтовиков и тыловых. Нельзя было угадать, где будет фронт завтра, и в начале марта он внезапно оказался под Петроградом, в Ораниенбауме и Сестрорецке.

Еще скрежещет старый мир  
И мать еще над сыном плачет,  
И обносившийся жуир  
Еще последний смокинг прячет...

Последние смокинги еще не стали добычей моли. Онигодились жуирам однажды на маскараде в «Доме искусств» и еще один раз на юбилее Большого драматического театра. Жуиры жонглировали парадоксами, загадочно улыбались дамы, секретничали молодые старички, и было все, как бывало, когда «Дом искусств» был еще особняком Елисеева, а Большой драматический — театром Суворина. Но на Невском жуиров и дам, и старичков встречала метель двадцатого—двадцать первого годов, и ветер трепал трагические заголовки газет, воззваний и оперативных сводок.

Читателю может показаться странным, что в моих записях нет ни слова о словесных битвах, поединках и диспутах в Доме литераторов, о философских диспутах в Вольфиле — вольно-философской ассоциации, где высокие умы того времени, будущие эмигранты, профессора Карсавин и Лосский спорили о Софии-Премудрости. Я могу ответить, что мое бытие, бытие многих сверстников, протекало в другом русле. Плохили, хорошо ли—мы занимались конкретным делом. Правда, мы чувствовали себя свободнее и проще в рабочих и армейских клубах, на рабочих и краснофлотских конференциях, чем в столовой «Дома искусств» и на диспутах в Вольфиле. Этой же зимой, не помню, в ка-

ком месяце, приезжал Уэлс. Его принимали с возможной торжественностью в «Доме искусств». Отправляясь в Петроград, Уэлс прорывал блокаду, реальную минную и пушечную блокаду капиталистических стран, он был нейтральным гостем в осажденном городе и стране и в течение нескольких дней — наблюдателем войны русского пролетариата против мировых капиталистических держав. Прозаики и поэты произносили сдержанные, полные достоинства речи, никаких претензий (как полагается на инспекторском смотре) не заявляли, и только Амфитеатров вышел из строя и подал жалобу по поводу того, что у него под сюртуком несвежее белье.

Однако нужно признать, что власть обходилась даже с такими, как Амфитеатров, гуманно до тех пор, пока они не принимали оперативного участия в заговорах. Случалось, что «теоретики и литераторы» открыто и непринужденно проповедывали меньшевизм, писали мемуары, обличали и пророчествовали в то самое время, когда врагеллецы не брали пленных, красноармейцев ставили под пулемет и командовали: «комиссары и командиры, выходи». Между тем в обозе, в белом тылу, на всякий случай имелись единомышленники «теоретиков», прекраснодушные учредилловцы. Не знаю, стоит ли вспоминать об этих людях или называть их по именам, когда политические некрологи в виде недавнего приговора суда или покаянной речи, или письма в редакцию завершили их политическую карьеру.

Да, многое показалось бы странным моему современнику, призывнику 1931 года, если бы в десятилетнем возрасте он умел разбираться в событиях 1920 года. Ему показалось бы странным выступление делегата на конференции работников искусств, протестовавшего против постановления антирелигиозных пьес, и другого делегата, протестовавшего против посылки работников просвещения на работу в Кронштадт. А мы иногда должны были сдержанно, соблюдая политический такт, дискутировать по таким вопросам и проблемам, которые в наше время уже не вопрос и не проблема.

Но я опережаю события.

Я ехал в Москву в поезде петроградских делегатов, отправляющихся на съезд советов. Это было интересное и, к сожалению, короткое путешествие. Ночью никто не спал, и трудно сказать, о чем только ни говорили в нашем вагоне: о тепловозе Махонина, о стратегии генерала Вейгана в польскую кампанию, о расхлябанности аппарата Петрокоммуны, о Шалыпине в роли «Еремки», о мировой революции, о стихах Маяковского. Громов, тогда начальник политотдела Кронбазы, говорил о межпланетных сообщениях. Из соседнего вагона в превосходном настроении пришла Лариса Рейснер. Она только-что вылила на голову Зорина стакан воды (это надо понимать в буквальном смысле) в отместку за шутку, которая ей показалась обидной.

Я переживал некоторое волнение, потому что вез в Москву свою пьесу. О ней следует вспомнить только по следующему поводу. Это объемистое сочинение было целиком написано на оборотной стороне аннулированных нефтяных облигаций. Я чисал эту пьесу совету театра революционной сатиры, и Демьян Бедный обратил внимание на это обстоятельство. В это время была острая нужда в бумаге, и нам выдали эту некогда ценную бумагу. Пьеса, откровенно сказать, была плохая, и она сгорела в железной печке моей комнаты. Вместе с ней сгорели облигации Лианозовых, Джамгаровых, Асадулаевых. Как хотите, в этом был некоторый отзвук революционных бурь, которые закалили наше поколение.

Поезд во-время пришел в Москву, на наш взгляд обыкновенный поезд и в обыкновенное время. Москва все та же — голодная и суровая столица эпохи военного коммунизма. Всю ночь мы занимались выставкой съезда советов и витриной Балтийского флота. «Ночь, как ночь и улицы пустыньны...» Именно в эти ночи и дни Ленин указал делегатам карту электрификации, и электрические лампочки, вспыхнувшие на схеме, показались многим прекрасной, но несбыточной мечтой и сном. Сейчас все проснутся и вокруг будет та же голодная Москва, сугробы, скелеты лошадей, тиф и фронг. Между тем это был не сон, а близкое будущее, самое реальное и самое чудес-

ное будущее страны Советов. Как уплотнен был событиями этот год! Гибель Врангеля, польская кампания, рижский мир, восстание в Кронштадте — все это уложилось в десять-двенадцать месяцев. Трудно было разобраться в событиях и отдать предпочтение одному перед другим. У Ларисы Рейснер было острое чутье политического деятеля и публициста, темперамент большого журналиста. После болезни, жесточайших припадков малярии, она немедленно уезжала за границу на Рижскую конференцию. Она понимала историческое значение мирного соглашения Советской Республики и Польши. Не для фельетонов в «Красной газете» она отправлялась на конференцию, но для более важной, рассчитанной на дальний прицел литературно-исторической работы в будущем. Ее биография дала ей в руки драгоценные темы, и если бы творческая жизнь Ларисы Рейснер не была прервана почти в самом начале, действующими лицами ее очерков были бы не только Каховский и Трубецкой, а Домбский — председатель польской делегации, и Иоффе — председатель советской и еще десятки людей, рабочих и министров, солдат и генералов, матросов и адмиралов. Она всех их видела в своих странствиях и рассказывала о них и показывала их так, что они вставали перед ее собеседником, как живые. Именно так она рассказывала о польских офицерах, еще не опомнившихся от «чуда на Висле», об остановке работ конференции. Эти рассказы были настолько отчетливы и рельефны, что даже простая стенографическая запись показалась бы законченным художественным очерком, отделанным в мелких деталях. Однако очень немногое из того, что она рассказывала, я увидел впоследствии напечатанным. Повидимому для нее был очень сложен и труден и ответствен переход от живого рассказа к созданию художественного очерка.

В моих записях не вполне точно соблюдается хронологический порядок. Однако, насколько я помню, «адмиралтейские вечера» приходили к концу. В Петрограде, на заводах, в армии и во флоте началась широкая дискуссия о задачах профессиональных союзов. Теперь этот период времени, предшествовавший «волынке» и «Кронштадту», достаточно

изучен и имеет, пожалуй, только исторически-поучительное значение. Но в это время мы переживали дискуссию, «роскошь, которую позволила себе партия на историческом перевале», с мукой, болью и страхом. Нельзя было закрывать глаза перед опасной и враждебной стихией, которую развязала дискуссия во флоте.

Командование флотом приняло участие в дискуссии. Оно занимало явно антиленинскую позицию. С обеих сторон была обнаружена излишняя резкость и страстность, особенно опасная в непосредственной близости порохового погреба, то-есть Кронштадта. Для беспартийных моряков дискуссия тоже явилась серьезным испытанием, — худшие элементы приняли ее как начало партийных распрей, им казалось, что партия перестала быть монолитом и есть надежда не только на перемену курса, но и на перемену власти. В дни и ночи, когда заговорили пушки «Красной горки», фортов «Передовой» и «Краснофлотский» — последний и единственный довод в затянувшихся переговорах и уговорах мятежников, политработник Громов, бывший начальник организационной части политуправления, вывел из Кронштадта партийную школу и группу коммунистов и ушел с ними по льду в Ораниенбаум. Он вернулся в Кронштадт в ночь на 8 марта с курсантами. Это была первая и неудачная атака на Кронштадт. Она была отбита с потерями. Громов сбросил с себя белый халат штурмовика, прошел мимо постов мятежников и вернулся в Ораниенбаум. Громов участвовал во втором штурме Кронштадта в ночь на 17 марта и командовал штурмовым батальоном. Это был спокойный, внушающий к себе уважение человек с пытливым и острым умом. Тяжелое, почти смертельное ранение в голову вывело Громова из строя на долгие месяцы. Другой, равный Громову по мужеству человек, был командир форта «Краснофлотский» Сладков. Его разговор по телефону с членом ревкома мятежников — образцу революционного сознания и стойкости, вместе с тем этот разговор необычайно характерен по типичному матросскому языку эпохи гражданской войны: «... он спросил («он» — член ревкома мятежников Волин): «а

как смотрит на нас «Краснофлотский?» Я ему ответил: свирепит злобой снести вас как предателей за вашу авантюру в такой тяжелый момент революции. Дальше я их стал ругать разинскими выражениями и потребовал от них, чтобы они освободили арестованных коммунистов, немедленно собрали собрание, выстроились невооруженные под знаменем красным, шли бы в сторону, обязательно взяв с собой изменников и провокаторов... На этом я с ним сам кончил мой разговор, выругав их по-мужицки...»

«...я им ставил еще вопрос: ведь форты, которые около Кронштадта, напичканы эсерами и меньшевиками, и не подумайте, что вы с клешем куда-нибудь упрыгаете далеко». Это был образный довод в споре с мятежниками, утверждавшими, что они — беспартийные и их корабль «как был, так и будет красным «Петропавловском».

Вспоминается еще знакомый мне моряк с «Севастополя», такой же типичный для основной массы моряков 1920 года, как типична его фамилия — Попов. Это был пожилой моряк старого флота, в тридцать лет одолевший грамоту, в тридцать два года подавший заявление о приеме его в партию. Он был из той категории, которая целыми корабельными командами записывалась в партию после разгрома Юденича, когда Петрограду уже не угрожала непосредственная опасность. В Кронштадте партийная неделя происходила именно в эти дни, и политическая устойчивость таких моряком-коммунистов всегда вызывала некоторое сомнение. На собрании моряков-коммунистов Кронбазы, во время дискуссии о профсоюзах, Попов голодовал за платформу ЦК. С настойчивостью и терпением он разбирался в тезисах ЦК и оппозиции. В конце концов он сказал с прямотой и искренностью: «Чего уж, я там, где Ильич». В этом была непоколебимая вера в правильность пути вождя революции. Я вспомнил о Попове, когда увидел «Известия ревкома» мятежников, и в списках дезертировавших из партии невольно искал его имя. Но этого имени я не нашел. Зато я нашел самого Попова утром 18 марта в подвале станции «Ораниенбаум». В ночь на третье марта он пришел пешком по льду из Кронштадта



вместе с политработниками и кронштадтской партийной школой. В ночь на 17 марта он был ранен в плечо и голову,—бок-о-бок с петергофскими курсантами он шел на Кронштадт. Он сидел на полу в подвале, у него был жар и он разговаривал как бы в бреду: «У меня ни братьев, ни сватов в деревне... Я грузчик волжский. Я за салом в Нежин не ездил. Покалечили, пусть, но не быть в Кронштадте золотопогонникам, не панствовать в Питере буржуям...»

Красноармейцы и краснофлотцы, истекавшие кровью на кронштадтском льду и тонувшие в полыньях, писали эпилот единственной в истории человечества летописи гражданской войны, войны русского пролетариата с капиталистическим миром. Они устали от трехлетней гражданской войны, они жаждали мира и работы в мирных условиях и тем не менее отдавали свою жизнь, потому что Кронштадт был последним препятствием на пути к мирному строительству, строительству социализма.

Топливо, хлеб, транспорт (расстроенный в связи с демобилизацией армии) — вот три проблемы, которые стояли перед советской властью в те дни. «Брожение в крестьянстве было огромное, среди рабочих также господствовало недовольство. Они были утомлены и изнурены. Ведь существуют же границы человеческих сил. Три года они голодали, нельзя голодать в течение четырех или пяти лет. Голод естественно оказывает влияние на политическую активность».

Автор этих исчерпывающих ситуацию строк — В. И. Ленин.

25 февраля был образован комитет обороны Петроградского укрепленного района, запрещены митинги и собрания без разрешения комитета обороны и запрещено «хождение по улицам после 23 часов». В каждом районе были созданы революционные тройки. Во флоте не придавали большого значения волынке. На всякий случай назначили ночные дежурства политработников. По этому случаю я поселился в пяти минутах от адмиралтейства в общежитии «Дома крестьянина» на улице Гоголя. Повидимому здесь до революции была банкирская контора. В комнатах почти не было мебели. Ее заменяли несгораемые кассы,

по одной, по две на комнату. Мы жили как на бивуаке и прислушивались к резонансу волынки во флоте. Для Кронштадта очень показателен такой разговор комиссара отряда больших кораблей и члена бюро коллектива крейсера «Россия»: «Как дела?» Ответ: «Кто знает, погалдят, погалдят и перестанут». Так думали в политотделе Кронбазы, в политическом управлении флота, в штабе флота и в Смольном. «Погалдят и перестанут».

26 февраля я находился в числе нескольких политработников в карауле у казармы молодых моряков: толпа подростков и женщин и небольшие группы рабочих подошли к казарме. Толпа была довольно мирно настроена в отношении караула. У нас была инструкция не допускать общения «волынщиков» с молодыми моряками. Это была неустойчивая в политическом отношении воинская часть, набранная в районах махновского движения. Мы без особого труда уговорили толпу уйти от ворот. Подростки озорничали, останавливали автомобили и высаживали седоков. На набережной канала стояла непонятная разношерстная толпа. Она следила за событиями и выжидала. Я всматривался в товарищей, державших караул бок-о-бок со мной, и удивлялся их выдержке и хладнокровию. Абель, отшучиваясь, посмеиваясь, отгонял от ворот назойливых подростков. У кого-то из моряков попробовали отобрать кольт, он сказал: «Не дам. Нету его мне давал. Он дареный за Казань». И сказал так, что руки опустились. В этот день и в последующие дни настоящими героями были красные курсанты. В архивах революции есть много исторических документов, отразивших высокое классовое сознание бойцов Красной армии, но редкий документ может быть поставлен рядом с письмом петроградских курсантов к рабочим и работникам Петрограда: «Мы, курсанты, дравщиеся на всех фронтах за рабоче-крестьянскую власть... Мы, рабочие и крестьяне... Мы живем так же, как вы. Мы питаемся так же, как вы... Мы не выпустили вчера ни одного боевого патрона. Но мы говорим вам: отгоните от себя мерзавцев, подбивающих вас на выступление. Отделитесь от них, иначе мы не сможем отделить правого от ви-

новатого, честного, но обманутого труженика от бесчестного провокатора и подлеца. Не мешайте нам выполнить свой долг революционеров». Дальше простые, ясные и в конце концов дошедшие до сознания честных тружеников слова: «вместе с советской властью, а не против нее одолеем мы и холод, и голод, и разруху». На плечи этих людей легла вся тяжесть ликвидации кронштадтского мятежа, и они, в составе седьмой армии, в конце концов вернули мятежный Кронштадт советской власти.

Круглые сутки коммунисты политического управления и штаба флота дежурили в адмиралтействе. Начались предкронштадтские и кронштадтские ночи. Спящий, тихий город лежал вокруг, и крыло адмиралтейского здания поднималось над снежными далями Невы, как стена волнореза. Позади лежал темный и мертвый Невский. «Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь наляжет на город и отделит белые и палевые стены домов...» Обыкновенные люди жили в домах, служили в Петрокоммуне, были членами профессиональных союзов, выбирали в совет. В обыкновенное время они были «лойяльные», но каждый раз, «когда ночь наляжет на город», когда по Невскому ходят патрули и в районных комитетах дежурят коммунисты, «лойяльные» с надеждой обращали взгляд на запад, к Белоострову, к финской границе, туда, где «довоенные» белые булки, пылающие каминны, желтые башмаки вместо пшенной каши, буржук и валежок. И как трудно преодолеть эту жажду «довоенной» жизни данной Марье Ивановне или данному Ивану Ивановичу! Мы ходили по мостовой и смотрели в мерзлые, свинцовые провалы окошек. Он даже не лгал, этот Невский проспект, он хотел «довоенной» жизни и белых булок без карточек. Мы возвращались в адмиралтейство и собирались у единственной натопленной печки в комнате начальника политического управления. Здесь был телефонный провод с Кронштадтом, Ораниенбаумом, Шлиссельбургом и городские телефоны. Таким образом держалась связь с Кронбазой и районными ревтрояками. В других комнатах были холод и мрак. По коридорам карьером носились крысы. Мы дремали, маялись

на стульях до полуночи, а потом начинались обычные вечера, вернее «ночи воспоминаний». Веселые и страшные фронтовые рассказы, рассказы о детстве, отрочестве, царской службе, дальних плаваньях и кругосветных рейсах. На рассвете рассказчики умолкали, исчерпав себя. В белесоватой мгле за окном всплывала площадь. В снежных пеленах утренней метели, как Атлантида с морского дна, вставали Александровская колонна, дуга Главного штаба и фасад дворца. Дежурства снимались в седьмом часу утра, в десять начинался обычный рабочий день. «Волынщики» понемногу унимались. Резолюции рабочих собраний, красноармейских и краснофлотских митингов порицали «волынку». Комиссии из беспартийных рабочих категорически опровергали слухи о насилиях курсантов в дни «волынки». Однако это был не конец, а начало самых суровых испытаний, которые предстояли Балтийскому флоту. Сейчас у нас есть исчерпывающие формулировки причин, вызвавших кронштадтский мятеж. Я восстанавливаю в памяти читателя следующие строки, с абсолютной точностью устанавливающие природу кронштадтского мятежа и объясняющие эпоху:

«Весна 1921 года принесла — главным образом в силу неурожая и падежа скота — крайнее обострение в положении крестьянства, и без того чрезвычайно тяжелом вследствие войны и блокады. Результатом обострения явились политические колебания, составляющие, вообще говоря, самую «натуру» мелкого производителя. Самым ярким выражением этих колебаний был кронштадтский мятеж».

Эти строки должны быть эпиграфом ко всякому художественному произведению и всякому труду, имеющему целью показать эпоху «Кронштадта», и естественно, если автор поставит их эпиграфом к отрывочным заметкам об одном дне, кронштадтском дне 18 марта 1921 года. В сущности этот день был эпилогом героической эпопеи гражданской войны 1918—1921 годов.

### Кронштадт 18 марта 1921 года

Около часу дня. Поезд из двадцати теплушек подходит к Ораниенбауму,

Ранбову, как его называют матросы. Ранбов — старое название Ораниенбаума, когда он еще был именем Меншикова.

Со стороны Кронштадта гулкие удары срудий, точно в оркестре пробуют неумелыми руками большой барабан. Едем берегом моря. В просветах деревьев видна сереющая равнина, ледяное поле, море. Лес редеет, и поезд ускоряет ход. Машинист закрывает поддувало и гонит во-всю по открытому месту, но это уже по привычке. Еще вчера кронштадтцы метко стреляли по поездам, метясь в отсвет пламени из паровой трубы и дым. Станция «Ораниенбаум». Над вывеской — большая овальная дыра от снаряда. На станции, в зале ожиданий, в служебных комнатах — ни души. Мы обходим станционное здание и спускаемся в подвал. Генштабист-москвич, случайный попутчик, входит первым и подается назад. В подвале темно от матросских бушлатов и шинелей — вплотную, битком, — матросы при оружии и гранатах. Похоже, будто кронштадтцы взяли Ораниенбаум. Но это свои. В тесноте между пулеметными коробками и моряками — телеграфный аппарат, телеграфист и начальник станции. Мы выходим вверх добывать лошадей. Ораниенбаум — пустыня. Население, детские дома выселены в самом начале событий. Но у станции мобилизован весь окружный транспорт. Тощие крестьянские лошаденки меланхолично жуют солому, и крестьяне с эпическим спокойствием ждут нарядов. Мы огибаем станцию и спускаемся в крестьянских дровнях на лед, исторический, кронштадтский лед. Полозья хлюпают по мокрой жиже, мокрому снегу, брызги летят из-под полозьев, и черная лента дороги вьется по льду и уходит вперед, точно нарисованная на карте. По этому хлюпающему, мокрому снегу в ночь на семнадцатое марта шла цепь атакующих. Пока они шли по льду, охватывая Кронштадт с юга и севера, в Петрограде, у буржук ожидающие белых булок шептались о том, что «ледоколы разбили лед вокруг Кронштадта и крепости никак не взять». Пока они шли по льду, сведущие люди назначали день обстрела Смольного из двенадцатидюймовых «Петропавловска», который, «как известно, разбил лед и

подошел к самому морскому каналу».

Первую круглую черную дыру от снаряда наперебой показывают друг другу, кинооператоры целятся из аппаратов и впопыхах снимают польню. Но чем дальше, тем больше круглых и овальных дыр во льду. Мы едем по стеганому, прошитому снарядами ледяному полю. Одна польня, — два метра в поперечнике, — окрашена с краю в ржаво-коричневый цвет — братская могила. Кронштадт подвигается к нам, злоещий и черный под холодным зимним солнцем. Лед у Кронштадта кажется белым и ослепительно чистым, но он такой же серый и грязный, как тот, по которому мы едем. По черной изъезженной дороге идут вразброд матросы. Двое ведут раненого, у него перевязана рука. Он идет бодро, стараясь не опираться на товарищей. Идут, точно с работы, торопятся домой и потому не словоохотливы. «Кто стреляет?» «Риф». «Риф» — последний форт в руках у кронштадтцев. «Вот...» — говорит генштабист, и я чувствую его руку на локте и вижу на льду трупы, звено цепи, угодившее под картечь и уснувшее навеки на кронштадтском льду. Белый халат, сброшенный в последней судороге, расстегнутая шинель и винтовка в вытянутой к Кронштадту руке. Они лежат ничком и навзничь и на боку у проволочных заграждений, у крестовин, опутанных проволокой и выдвинутых на лед. Сюда пригнал ветер листки воззваний, газетные листы; пачки листовок лежат между брошенными полевыми телефонами, патронными ящиками и пулеметными лентами. Живые ходят, разбираясь в трофеях, подбирают и рвут кронштадтские листовки, но здесь живых много меньше, чем мертвых. Берег и часовенка на отлогом берегу. Здесь был первый наблюдательный пункт частей, ворвавшихся в город. Тишина. Молчат орудия. Кронштадт пал. 8 марта радио кронштадтцев говорило Петрограду и миру: «Мы сильны, мы непобедимы». 5 марта Кронштадт ответил на радио Петросовета: «Можно ли пригнать несколько человек беспартийных членов совета узнать, в чем дело?» — «Беспартийности ваших беспартийных не доверяем». Сегодня молчат орудия — Кронштадт пал. Вот Кронкрепость, рус-

ская казарменная Голландия, город, некогда чистый, как прибранная перед боем палуба, город двухэтажных обывательских каменных и деревянных домиков, казарм и пакгаузов. Мы идем по снегу, засеянному патронами и патронными гильзами. На Советской улице, на перекрестке, стоял пулемет. Хрустят под ногами сплюснутые, расстрелянные патронные гильзы. Генштабист поднимает серую красноармейскую папаху, обыкновенную, с защитным верхом папаху с красной жестяной звездочкой. Она прожжена пулей, внутри коричневая запекшаяся кровь и осколок черепной кости, и генштабист осторожно, как реликвию, кладет ее на чугунную тумбу. Кончен бой. На улицах заботливо подбирают снаряжение, винтовки, патронные ящики и ленты. Раненые уже в госпиталиях, но мертвые и умершие, в смертельной муке заползшие во дворы, еще лежат под открытым небом в той позе, в которой их застала смерть. Стучат молотки — это сколачивают большие, два метра в ширину, деревянные ящики — братские гроба. Живые заботятся о ночлеге и пище. Ночлег в общежитии. Пища — консервы из неприкосновенного крепостного запаса. Кронштадтцы раздавали его населению, и мы гоже ели их два дня, «довоенные», чегырнадцатого года консервы. В управлении коменданта обычная фронтовая суета, как полагается в первые часы, когда взята город. Я вспоминаю юг, Украину, — там было больше шума и темперамента, а здесь северный холодок и спокойствие, от которого мороз дерет по коже. Кронштадтские обыватели чинно стоят в очереди за продовольственными карточками. Женщины в платках, странного вида штатские, явно переодетые матросы волокут винтовки и нагапы. Они бросают их на снег во дворе комендатуры и уходят. Населению приказано сдать оружие. Никто не спрашивает ни этих «штатских», ни женщин. Все ясно. Нам важно разоружить население, им важно, чтобы не было оружия в домах. Мы ждем пропусков на «Севастополь» и слушаем разговоры командиров: «Нечем кормить части. Приходится спешно выводить в Ораниенбаум. Понаделали делов, сукины дети». Это относится к кронштадтцам. И весь

день мимо нас уходят в Ораниенбаум роты, штурмовавшие Кронштадт. Они идут не торопясь, хлюпая сапогами по воде и мокрому снегу, и конечно вспоминают, как пересекали это пространство на животах под ружейным и пулеметным огнем.

По битому стеклу и патронным гильзам, мимо поврежденных орудийным огнем домов подходим к машинной школе. Здесь был горячий бой. Засевшие в машинной школе прикрывали отступление на финский берег. Мы пересекли город и увидели Финляндию. Готический шпиль лютеранской церкви — это, кажется, Териоки. Правее должна быть Куокала. В 1912 году, за самоваром у Чуковского, Репин рассказывал о живом Тургеневе и Флобере, о серебряном самоваре Полины Виардо. Теперь это чужой берег. Туда ушли кронштадтцы. Они увели двести лошадей — весь кронштадтский транспорт, увели даже пожарный обоз. Поглядев на Финляндию, мы возвращаемся в гостиницу, — поздно идти на корабли. Ведут арестованных, и трудно отличить матросов-конвоиров от матросов-арестованных; впрочем у конвоиров — карабины. Питерский рабочий мобилизованный коммунист, спрашивает широкоплечего, с каменным лицом и широким подбородком артиллериста: «Что, клеш, поддержал тебя Питер?»

У общежития меня окликает Филиппов, культработник политотдела, по прозвищу «Красный баян». Он печатал множество агитационных стихов во флотской газете и приводил в отчаяние плодovitостью всех редакторов. Матросы подшучивали над ним и считали блаженным, но он был фанатиком революционного флота и романтиком чистой воды. Он оказался в Кронштадте в разгаре революционных событий, его арестовали мятежники, и он сидел с арестованными коммунистами и проявил редкое мужество и спокойствие. Колоритная, комическая фигура в собственном изделии фуражке с необыкновенного фасона козырьком, в стеганых штанах и подвязках поверх штанов. Он написал цветными карандашами стихи по поводу взятия Кронштадта, как некогда поэты писали оды во славу одержанных полководцами викторий, но никто не хотел слушать его стихов, и он ушел, поглядывая уди-

вленными глазами на живых и мертвых. На этой улице мертвые лежали шеренгой, через три шага, — здесь цепь попала под продольный пулеметный огонь.

19 марта, в десятом часу утра, мы подходили к линейным кораблям «Петропавловск» и «Севастополь». Ледяная кора, мерзлый снег покрывали борта «Севастополя», аршинные сосульки свисали с бортов. На палубе и на набережной лежали сложенные штабелями стakanы расстрелянных снарядов. Два ледокольных катера, как мухи на липкой бумаге, примерзли на льду, и лед вокруг был разбит и разворочен ледоколами и затянут новым тонким, как пленка, ледком. Значит пробовали вывести броненосцы в море. На деревянных мостках у решетки стояли женщины и подростки, — они принесли в узлах и корзинках хлеб и сухари арестованным. Пока у нас проверяли пропуска, я слышал у себя за плечами: «Слышь, братишка... Спроси про Тихона Сухова — гальванера, про радиста Завьялова...» Мы поднялись по трапу, и странно выглядел красноармейский караул на борту линейного корабля. Арестованные ходили на свободе по палубе. Операторы сняли пробойну — след попадания с «Красной горки». Матросы стояли у пробойны и хмуро следили за ними. Неугомонный фотограф для живости снимка попросил одного встать у самой пробойны. Он махнул рукой и ушел. Другие снялись и потом отошли к борту и смотрели в толпу женщин на берегу. Усталые, равнодушные лица и угрюмые взгляды. Все — как дурной сон. Мы вернулись в город.

Двухэтажный, деревянный дом. Угол дома и часть чердака снесены снарядом. С улицы, как из партера театра, мы видим комнату, кровать и шкаф. Мы вошли во двор. Кошка встретила нас на крыльце, мурлыкая и выгибая спину. Но дом был пуст и двор пуст. В квартире — следы суеты. Брошенная в коридоре корзина, в ней самовар и белье. Все брошено в последний момент. И другой дом, — отсюда из угловой комнаты стреляли по наступающим. Окна выбиты прикладами, мебель опрокинута, на полу осколки стекла и окровавленные полотенца. В углу, среди обломков и рухляди, уцелел трехногий столик и

на нем часы, стальные часы. Часы шли. Хозяин заводил их вчера.

Если мы не уедем из Кронштадта сегодня, 20 марта, мы застрянем здесь на неделю. Теплый, почти жаркий день. Лед тает на глазах. Нам дали ледокольный катер. В двух километрах от Кронштадта он напоролся на толстый и крепкий лед и встал. «Поперли?» — спросил генштабист, и мы «поперли» пешком по льду, даже не оглянувшись на катер. До Ораниенбаума шесть километров. Ледяной поход начинается ножной ледяной ванной и продолжается неистовой матерщиной едва не провалившегося в полынью матроса, отважно несшего на себе треножник и аппараты кинооператоров. С этой минуты мы идем осторожно, обходя полыньи. Черная лента дороги вьется вправо от нас. Третий час дня; при таком черепашьем шаге мы пробуждаем до ночи. Мы балансируем, топчемся на месте и пляшем, — это трещит, пляшет под нами и опускается лед. «До чего вовремя! — кричит генштабист, — я говорю, вовремя кончили с Кронштадтом, а дотяни до ледохода?» Опять благой мат: «Соблюдай дистанцию, иди гуськом, а не кучей, а то будешь рыб кормить в Маркизовой Луже». Действительно, провалишься — никто и никак не поможет. Веревки и шестов нет. Час и два, и вечность длится это единственное в жизни путешествие по зыбкому льду между полыньями. Какие-то дровни с хлебом кружат вокруг нас. По пояс в воде идет бестовой и тянет по воде лошадиную голову с безумными, закатившимися от ужаса глазами. Затем прибавились трое арестованных и их конвой — пять матросов из особого отдела. Чем больше народу, тем веселее. Но вдруг провалилась лошадь, остановка на полчаса. Все вместе — конвой и арестованные, и крестьянин, и мы, подсунув под брюхо лошади оглоблю, вытаскиваем ее на лед. Между тем уже синий вечер, а огни Ораниенбаума кажутся как бы за тысячу верст. Вода согрелась в сапогах, полы мокрой шинели весят пуды, шлепаешь по воде, вспоминаешь про полыньи и думаешь обо всем, что успел повидать в жизни, про пиаццу Синьории во Флоренции, аметистовые парижские сумерки и огни Сены и о том, чего не успел по-

видать и, пожалуй, не увидишь. Вдруг берет злость, шагаешь наугад, даже не прислушиваясь к треску льда, — до того глупо утонуть в Маркизовой Луже через два дня после взятия Кронштадта. В полной темноте вся компания — арестованные и конвоиры, вестовой и лошади, дровни с хлебом (они так и не доехали до Кронштадта) — явились в Ораниенбаум, и невозможно сказать, как лошадям и людям было приятно чувствовать себя на твердой земле.

Мы приехали в Петроград в одной теплушке с конвоирами и арестованными.

Лиговка. Здесь до Октябрьского вокзала к Балтийскому прошли мобилизованные члены партийного съезда, пожилые люди, седые, в очках, шинелях, меховых куртках и штатских пальто. Они шли не в ногу, как на демонстрации. У нас все очень просто и вместе с тем значительно. Другая нация сделала бы из этого похода романтическое зрелище — знамена, трубы, клики народа. У нас на тротуарах стояли случайные прохожие. Серый притаившийся город, над самыми крышами серое небо, под ногами желтый мокрый снег.

Дома я ощущаю ледящий холод и чувствую, что промок до пояса. Голова, виски, челюсти стиснуты железными обручами. Шестнадцать ночей, бессонных кронштадтских ночей дают себя знать. Генштабист-москвич входит и говорит: «Отдайте-ка это завтра в Пубалт, а то мне уезжать», — он оставляет у меня на столе влажный, промокший партийный билет. Билет на имя красноармейца Аксенова, выдан комячейкой не помню какого полка 27 Омской дивизии. Мы подобрали билет среди обрывков воззваний и газет у проволочных заграждений. Владелец билета лежит в белом саване подо льдом Маркизовой Лужи. «Прощайте же, братья, вы смело прошли свой доблестный путь...»

Звонок по телефону. «Вы дома?» «Кто говорит?» «Вы из Кронштадта?» «Да, победа, победа. Это же чудо. Знаете, об этом будут когда-нибудь писать и писать. Итак, Кронштадт пал. Поздравляю».

На столе лежит газета «Красный Кронштадт». В газете последняя оперативная сводка: 23 часа 19 марта.

«Сев группа: сведений к сроку не поступало. Юж группа: части приводятся в порядок».

Я помню как начинались кронштадтские события. В комнате начальника политуправления всегда было в роде клуба. Сидели, курили, толковали заезжие политработники. У телефона бился Трефолов (начальник осведомительной части). Он пробует соединиться с Кронштадтом. Ничего не выходит, он ругается. «В чем дело?» «Назначено беспартийное собрание, общегарнизонный митинг на Якорной площади. Из Кронштадта передали в Петроморбазу, чтобы прислали делегатов. А кто распоряжается — неизвестно». Эти минуты будешь помнить всю жизнь. Старинный, похожий на шарманку телефон и желтое, усталое лицо Трефолова, горьковатый и душный запах кожаных курток на бараньем меху. Это детали, неизгладимые детали, главное — начался «Кронштадт».

Ночные дежурства. Четвертая, шестая, восьмая кронштадтская ночь. Нас двенадцать, потом восемь человек в полном вооружении. Остальные мобилизованы и отправлены в Сестрорецк и на финляндскую границу. Всю ночь страстные споры о том, «кто виноват, кто мешал работать, кто не принял мер, кто прозевал, прохлопал положение». Но уже с абсолютной точностью проведена черта между верными республике моряками и мятежниками. «Они» и «мы».

Ночь на 6 марта. В шесть часов вечера истекает срок ультиматума мятежникам. У всех слабая надежда: сдадутся, крови не будет. Люди ходят с зелеными лицами, бесцельно бродят по комнатам, смотрят в окна и курят. Выходят на набережную и прислушиваются. В городе особая, непонятная тишина. Половина седьмого — мокрый снег и туман, все еще не стреляют. Может, обойдется? Зашли в штаб. Там тоже невыносимое напряжение, дым от папирос, зеленые лица. Удар! Задребезжали стекла. Опять удар. Началось. И сразу облегчение. Орудия северных батарей и «Красной горки» прогремели, как очистительная гроза. Зарницы выстрелов осветили двухнедельную черную ночь над Петроградом и Кронштадтом.

15 марта, 23 часа 45 м. Боевой приказ: «В ночь с 16 на 17 марта стреми-

тельным штурмом овладеть крепостью Кронштадтом».

Сорок восемь часов назад в театре Вольной комедии репетировали пьесу Евреинова «Самое главное». Актеры выбегали на улицу прислушиваться к канонаде. Гудели пушки «Петропавловска», — это за граница стучалась в ворота Петрограда с подарками: белыми булками, бритвами «жилет», усовершенствованными подтяжками и шелковыми чулками.

Евреинов недавно приехал с юга, он отсиживался у белых. Приехал, прислу-

шался к пушкам Кронштадта и по секрету сказал художнику Анненкову: «Как опытный автор, я всегда являюсь во-время, под занавес».

Сорок восемь часов назад человек, позвонивший мне по телефону и поздравивший с падением Кронштадта, встретил меня на Невском. Я поклонился, он посмотрел в сторону и не ответил. Это было на Невском за сутки до взятия Кронштадта.

А теперь... «Это же чудо. Об этом будут писать!..»

Итак, Кронштадт пал.

*(Продолжение следует).*







# Колхозные страницы

КОРНЕЛИЙ ЗЕЛИНСКИЙ

## Георгин подмышкой

**В**се ты нас снимаешь со свиньями да с коровами. Ты нас баской сними.

На следующее утро они пришли все троим сниматься: Зина Бойцева, Маруся Соколова и Катя Кудрявцева. Они надели свои лучшие платья, ситцевые платья, украшенные яркими цветами, обычные платья, которые покупали их матери, воспитанные вкусом текстильных фабрикантов. Зине нечего было надеть вниз. У нее не было даже рубашки. Ее выгнал из дому отец, когда она осталась в коммуне (родители вышли после «головокружения»). В коммуну Зина пришла почти голая. Они затянулись в башмаки, и кусочки материи вплели в волосы.

Мы вышли из избы в садик. Я делаю «экзамен» их художественным вкусам. Я говорю.

— Как бы вы хотели одеться, если бы у вас было много денег? Или бы если коммуна вам захотела все дать?

— Я бы учиться пошла, — грустно признается Зина.

Они забывают про с'емку и начинают фантазировать о своем будущем. Зине 15 лет. Марусе и Кате по 16. Зина совсем неграмотна. Маруся и Катя прочились одну зиму в сельской школе. Я попадаю на их больное место. Они хотят учиться. Они начинают прыгать, когда говорят об этом. Мечта Маруси быть агрономом. Кати — учительницей. Зина боится об этом говорить. Она ничего не знает. Она не смеет мечтать. Сейчас работа в коммуне не оставляет им ни минуты свободного времени. Но у них

вся надежда на коммуну. Ведь вот Валя учится же в Твери в педтехникуме.

Но в разгар мечтаний приходит Коля Баранов. Сейчас он счетовод в молочной. Но вообще он портной, а по страницам книжек он движется так же свободно, как среди девушек (впоследствии он ушел из коммуны).

— Дивчата, а ну в букет, — говорит он свободно.

Девичье смущенье наступает. Зинка неприлично хихикает. Они становятся вокруг покорителя, не вздумывая мысленно взглянуть на картину со стороны моего аппарата. Они хотят украсить эту картину и внести туда лирическую ноту. Девушки хотят отметить платье пятном цветка, вплести цветок в волосы. Но цветы в саду нельзя срывать. Они принадлежат хозяину избы. И Катя украшает себя единственно возможным способом: она просовывает георгин подмышку, загородивши куст собой.

Фотоаппарат снимает.

29/XII—30 г.

## Мудрец

Вероятно вы не раз отмечали неизменную потребность деревни в кличках. При огромном множестве самых невероятных наименований деревень, хуторков, болот, лугов, балок, колодцев, наименований, отражающих часто еще древний уклад страны, причуды господ, недалеко ушедших в фантазиях от своих крепостных, бесправие и нищету народа, экономическую разобщенность страны, растительные черты сознания натурального земледельца, общую дробность жизни, происходящую от ее слабости, а

не от культурного богатства, — при всем этом вы не раз отмечали томительное однообразие имен и фамилий внутри одного села или деревни. Обычно вся деревня — родственники. Все Сергеевы или Звягины, или Поликарповы. И вот здесь приходят на помощь клички. Они дробят и устанавливают индивидуальности там, где стирает их имя и обычай.

Меня всегда интересовало: как возникают эти клички. Причудливость этих боковых отростков почти всегда соответствует степени обыкновенности обычного наименования. Игра воображения точно мстит обыкновенности, и, вырываясь из ее плена, хочет поразить других чем-то бросающимся в глаза, как яркий цветной платок или необыкновенные чулки с яичными и пунцовыми разводами, что бабы любили носить в старину. Я знал человека, которого не звали иначе, как «Коля с кисточкой». Среди десяти деревенских Коля («Коли маленького», «Кольки меченого», «Фроскиного», «Запрудного» и т. д.) «Коля с кисточкой» отличался своей высокопарной речью. Он окружал собеседника, встреченного где-нибудь на улице, пышными приветствиями, целыми кружевами, домотканными в деревенской глуши.

— Честь имею. Здравствуйте, пожалуйста. Как ваше драгоценное? Наше вам с кисточкой, с кандибобером.

«Коля с кисточкой» — осталось, запомнилось и было закреплено за человеком. Впоследствии он так привык к своей кличке, что захотел сделать из нее свой особый знак отличия. Он достал где-то настоящую кисточку не то от поясного шнурка, не то от гардины и гордо прикрепил ее к своему картузу. Этот смешной пустяк по нелепому случаю между прочим стал причиной его трагического конца.

Вместе со своим верным другом и односельчанином «Колей-большевиком» он влюбился по всем законам молодого существа в некую деревенскую барышню. Друзья решили испытать ее сердце способом, которому тысячи лет и который уже стал литературной традицией. Поменявшись одеждой, они должны были явиться к ней, чтобы под покровом темноты разыграть ее чувства. Зна-

менитая кепка с кисточкой оказалась на голове его друга. Они шли с собрания группы бедноты, где Коля-большевик был председателем и снискал славу грозы кулацкой части деревни. В каком-то черном проулке на них напали мстители старой деревни. «Коля с кисточкой» первый получил удар колом по черепу, потому что «кисточка» была на его друге, и упал мертвым на месте.

Преступники были в конце концов разысканы, но, кажется, они сумели вырваться из неминуемого деревянного ящика, придав сей истории любовный характер. И теперь прозвище, ставшее поговоркой, — «Коля с кисточкой», — имеет в деревне зловещий оттенок, и «кисточка» обозначает смерть.

Некоторые прозвища уходят в глубину годов и стирают из памяти настоящее имя. Кто знает настоящее имя Федора Сергеевича Сергеева? Все зовут его в Копачеве Кююрой. Я попросил однажды объяснить старика это странное звуко сочетание.

— А получилось это вот как: давно, в старое время, еще в семидесятых годах служил я в Петербурге в портовой мастерской Кююлина. Бедно в деревне жили. Ну, приедешь, понятно, в сапогах новых. Главное дело считалось раньше в обнове в деревню явиться. Иной раз на побывку приедешь — сестре ситцу на платье привезешь. Деревенские и спрашивают: «Где живешь-то, Федор? Из чьей миски щи хлебаешь?» Отвечаю: у Кююлина. Ну и пошло так: «А, опять Кююлин приехал?» По-своему потом переименовали — не Кююлин, а Кююла. А Кююла на Кююру переделали. Так и пошло дальше: Кююра да Кююра. Вот и живу с этим.

«Классово-экономическая» кличка (как в старину — «чей ты?»), где застенно слышались вначале легкая неприязнь и ирония деревни к своему, пристроившемуся наверху, затем выветрилась в своем содержании и была подправлена в звуковом смысле, чтобы удобнее было произносить.

Но однажды я натолкнулся на прозвища, происхождение которых я не мог объяснить себе иначе, как работой какого-то одного чудаковатого и язвительного ума. В Глазачах шли перевыборы советов. Кандидаты в будущую

власть, как полагается, были тщательно перетерты с песком на собраниях групп бедноты и партийной ячейки. Но когда председательствовавший на перевыборном собрании смущенный паренек Арсеньев произнес по списку...

— Иван Федотов...

В задних рядах раздалось невольное восклицание человека, пораженного необыкновенностью словоупотребления:

— Это что, Штопор... Иван Федотов?... Штопора в совет?

Неожиданный и дружный хохот потряс бумажные лозунги, старательно развешенные пиднерами по всем направлениям избы-читальни. Натянутость и духота собрания—клубившаяся в воздухе махорка ела глаза и клонила ко сну — были смыты этим приливом веселья.

— Ишь, придумали... Штопора... в совет...

Окончательно обсмугтившийся Арсеньев пытался строгим внушением поддержать официальный авторитет президиума, но обычная деревенская неприступность расположилась хозяином в избе.

— Тогда уж Мудреца лучше. Пусть Мудрец идет.

— Кто они? — спросил я неслышно своего соседа по президиуму.

— Целая карусель. Тут не разберешься, — улыбнулся он. — Тот, кого Штопором зовут, вполне превосходный мужик. Середняк. Верный человек. Но служил он у помещика раньше не то в лакеях, не то в егерях. И прослужил то без году неделю. Но есть тут у нас один безногий инвалид, бывший пастух, — вы его узнаете потом, — вот он и приклеил Федотову Штопора. Говорили про него, что он с барыней жил или бутылки что ли за обедом открывал, но погубили клячкой мужика. Недоверие, насмешка, а если разобраться — обходительный работник, общественник. Его считают подхалимом, но это неверно. Мужик чуть не плачет. Землю роет, чтоб до честности добиться.

Собрание не унималось:

— В советскую власть ввинтиться захотел... Крутись обратно...

— А Мудрец кто?

— Мудрец — один тут, из коммуны. Тоже безногий его окрестил. Да вы по-

том сами лучше у него поинтересуйтесь.

Попытка общественной реабилитации Штопора не удалась. Забили его смехом мужики и не провели в совет. Но я захотел увидеть этого пастуха, прославившегося тем, что он ставил несмыаемые печати на людей. Его необычайные клички я слышал во всех окрестных деревнях.

Он жил на краю деревни в чулане, пристроенном к бывшему помещицкому скотному двору, теперь находящемуся в разрушенном состоянии. В этом чулане пастух жил один зимой и летом. Это был один из тех художественно одаренных и сметливых русских людей, которыми богат наш народ, но которых жизнь заплела в свои плетни так, что кости хрустели, — не до цветения тут было. Он был девятым ртом, который ежедневно открывался с требованием пищи в халупе его отца. Рано ушел он в батраки, так и не узнав беспричинных радостей детства. Неудачи преследовали его по протоптанным следам. В цареву войну он отдал руку. После революции он поступил в Магский совхоз. Летом пастухом, зимой сторожем. Этот совхоз попал сначала в лапы каких-то самодуров, впоследствии настигнутых советским правосудием. Однажды пьяная компания послала сторожа за водкой в далекий шинок. Была ледяная русская ночь, летали жестокие саранчи снега. Неудачника нашли на утро с отмороженными ногами.

Теперь он получает небольшую пенсию и живет, в общем, орудуя в мире единственной конечностью. Где-то он выучился грамоте, где-то он выучился целой энциклопедии различных искусств, начиная от хитрых дудок, частушек в стенгазете до радиоприемника в печном горшке. Я застал его за починкой ручных часов самого председателя коммуны Драгулина.

— Садитесь, — пригласил он, ища глазами для меня подходящего места в его полутемном, невероятно грязном жилище, загроможденном какими-то бутылками, баночками из-под клея, старыми валенками. Я принялся разглядывать вырезанные из журналов и наклеенные на стену картинки. Причудливый паноптикум заинтриговал меня. Я взял со-

стола книги — это была Одиссея в переводе Гнедича, это была «История» Котошикина, это была «История РКП(б)». Пыльные тетради были заполнены огромными буквами, теснившими кое-как на страницах. Склоненная голова хозяина этого жилища. отсвечивала тусклой сединой. Случайные обломки мира со всех сторон валились на эту голову, полную романтической любви к жизни, знаниям, изобретениям, но и покрытую уродливыми шишками от этих обломков.

— А почему вы Салазкина Мудрецом назвали? — спросил наконец, я.

— Это он меня Мудрецом звал. А за ним, видишь, карта осталась.

— Почему так?

— Судьба перекрыла. Отбил я когда-то у него девушку. Но не пришлось мне жениться. Война подошла и пропало тут все. Все мне Салазкин тогда завидовал, что я хоть и бедный, но котелком богат: всякая барышня подманится. Руки, ноги я потерял. А он как-раз и женись на ней. Пошла потом коллективизация. Вступил Салазкин в коммуны. А у нас с ним после его женитьбы все грозь. Не от обиды говорю, но по душе. Вошел он в коммуны с молодой женой на четырех ногах, а мне за ним только и есть на животе ползти. Год я за ним смотрел: искал, с какой стороны звонок пойцепить. Вижу — неоткуда. А нет, так нет. Мудрец, говорю, мудрец ты, что в коммуны пошел. Всем нам дорогу перебил и неоткуда тебя достать. И теперь тебе, Салазкину, одна прямая дорога. Вот и зовут его Мудрецом.

— А почему же «всем нам»? Почему вы не войдете в коммуны?

— Нет мне ворот на правильный путь, — сказал он вдруг с неожиданной горечью. — Жизнь со всех концов меня порубала — одна точка осталась. На чем я пойду? На деревьях своих? А Сталин говорил, что пойдет теперь новая жизнь на железных ногах, на колесах покатится.

Я постарался, как мог, смягчить и расправить его несчастную и смешную мысль, чувство-непоправимости его жизни. Он был возбужден.

— Раньше люди бывали умней жизни, а теперь жизнь умней людей пошла. Серому мужику правильную дорогу те-

перь даром дают. Вот в чем мудрость теперь. Я Салазкина с хитростью Мудрецом назвал, только не понял он это. А я знаете, кто? Сократка я. Была такая собака в совхозе. Но был еще в древние времена ученый человек Сократ. Сам он до всего достиг. Мог этот человек что хочешь другому доказать. А сам не нашел себе правильной дороги и убил себя ядом. Я по секрету вам скажу: хотел себя Сократом назвать. Но разве у нас в деревне поймут? За собаку посчитают. Пускай уж лучше я других метить буду, а меня жизнь отметила. Я отрезанный ломоть.

— Вы в коммуны идете — передайте часы Драгулину. Пружинка у него сдала. Да и у самого тоже, — кивнул он загадочно. — Не с той пружинкой человек.

Много позже я понял Сократа из деревни Маги: оставил Драгулин поле битвы колхозной, скрывшись однажды в Питер. Меткий человек был Сократ, а пропал, как собака. Говорят, он захлебнулся как-то самогонкой в своем чулане.

27/1—31 г.

### Что есть кулак?

Мы идем по деревенской улице. Глинистая дорога рассечена ужасными колеями. В дождь невозможно перейти через улицу с крыльца на крыльцо. Это не дорога, а издевательство над почвой, лошадиные и человеечьи несчастья, уложенные последовательно в ряд. На лево и направо приветливые избы под дранкой или железом. Деревянные кружева окаймляют маленькие оконца, сидящие вплотную друг к другу, как нарисованные. Строения северных деревень куда выше, просторнее, домовитее, чем хибарки за Москву на юг, к Воронежю.

Паношино — зажиточное село.

— Вот дом кулака Калинина, — говорит секретарь райкома.

Двухэтажный домина теперь под вывеской: «Дом крестьянина». Сам Калинин тоже сейчас под вывеской: «Допр».

— Мы раскулачили 16 домов, но нам утвердили только два. Говорят, нет показателей. А кто же эти показатели на свету сейчас держать будет. Это все

равно, что сейчас четверку белых лошадей завести. Выезд.

Секретарь чувствует себя ущемленным. Но секретарь неправ. Удомельский район отличился перегибами в период «головокружений». У некоторых местных работников осталась еще административная чесотка в ладонях. Им «стыдно» приступить к массовой работе.

Темнеет, и я иду на ночлег.

Мой квартирный хозяин в Паношине — Федор Захарьевич Вихров. О, это в некотором смысле знаменитость. Его знают в Москве. У него единственного в Удомле хороший, парный шарабан. Охотники, приезжающие из Москвы, — прямо к нему:

— Вы уж нас доставьте как-нибудь, Федор Захарович.

Вихров доставит. Он помнит покойного Фрунзе. Вихров возил в «Чайку» на охоту Рудзутака. Сколько я ни гляжу на жизнь Вихрова, крутится он в своем хозяйстве, как заведенная машина. Зрелище последовательных накоплений открывается вам, когда смотришь его хозяйство. Прожитые годы точно лежат паслоениями вокруг. Перевернутые сани на дворе с проржавевшими давно полозьями. Хомуты с коричневой кожей, крошащейся, как черный сухарь, висят в конюшне. Войдите в чулан, и пропыленный склад пылнет в вас сквозь застывшуюся паутину дверными скобками, гвоздями, бутылками, сломанными лопатами, стертými подковами, старыми журналами, тряпками, концами веревок, коваными ларями. На чердаке, в углу, в риге, за образами в избе, — всюду у Федора Захарьевича что-нибудь да лежит «про хозяйство». Вихров не Плюшкин, не скряга. Со всеми этими вещами Вихров связан памятью своих дел. Все это хранится в определенном порядке, ведомом, понятно, ему одному. Концы тысячи дел увязаны у него в голове в солнечную систему, где он — центр притяжения, согласования и одновременно исполнения. Соскочит, допустим, в дороге чека с оси, Федор Захарьевич тотчас вспомнит, что где-то у него — «кажись, за овсяным ларем на дворе», лежит такой кусочек железа, ну как-раз подойдет. Кусочек действительно разыщется и будет определен на место. У плуга полозок сотрется, — другие «по

нынешним временам в кузнице-то наплачутся», а у Федора Захарьевича нужная полоска железа непременно найдется — «отец еще на шину покупал, так с поларшина осталось». И так во всем.

— Я и забыл, было, совсем — лукаво скажет Федор Захарьевич, погрохатывая довольным смешком себе в седую бороду, но одновременно кося глазом на собеседника — что тот скажет.

А тому сказать, натурально, нечего.

— Да, ведь как сказать, у самостоятельного хозяина все должно быть в аккурате, — поддакнет Федору Захарьевичу какой-нибудь сосед с завистливой тоской, чувствуя за собой необоримую слабость к веселящей жидкости.

Федор Захарьевич — самостоятельный мужик. Это звание он ценит, как похвалу знатоков. Где-нибудь на широком собрании он не особенно будет доволен услышать такую похвалу. Вихров понимает, что эта похвала теперь — «против советской шерстки», так сказать, не по идеологической линии. Но в глубине души он считает, что это единственное, чем должен гордиться человек и что украшает его. Он живет в своем хозяйстве во все стороны, захлебываясь и брызгаясь работой, как в воде. Он точно мастер, работающий одновременно на десяти станках. То возьмется за одно, то перебежит к другому, то пахать, то столярить, то в извоз, то сбрую чинить, то в трактире сидеть. Его организм работает с головы до ног — мускулы, нервы, мысль. Он не пьет, не курит. У него взрослая семья: две статных дочери, два ладных сына. Высокая, красивая, еще не старуха, жена. Его дом — «полная чаша». Но не слишком, не до краев. Федор Захарьевич умный мужик. Он следит за тем, чтобы лишняя капля не капнула на советскую бумагу, чтобы не попасть в список кулаков, в лишенцы. У него две лошади и корова с телкой. Он середняк. Этим паспортом он не особенно тычет людям в глаза. Он не держится за это звание, как за охранную грамоту его «самостоятельности». Сегодня Федор Захарьевич вернулся только из Москвы, куда ездил с тайным поручением от церковной общины хлопотать за паношинского попа, посаженного за организацию бабьего противоклхозного бунта. Вихров думает,

что я не знаю о его поездке. Вихров напевает что-то, возясь за ситцевым пологом, где он спит с женой. Мы садимся за выскобленный деревянный стол, и хозяйка дает картошку. Сумерки поглощают лица и струящиеся пары от стола, но летом «у хорошего хозяина не жгут керосина».

— Ну, теперь и поговорить можно, — весело задирает Федор Захаревич.

Что ж, его всегда интересно слушать. Он любит поговорить. Он прирожденный спорщик. Он не просто работает и живет, он утверждает и обговаривает свою жизнь. Это деревенский софист, где площади и форумы ему заменяют завалянки и чайные.

— Вы вот «за коллективизацию». Я тоже за коллективизацию. Я сорок лет в колхозе прожил. Было в нашем колхозе четыре семейства: трое братьев да отец с матерью. Ну, и что же — пирог с гвоздями был. Мужик ничего. Мужик еще уступит, но баба, прости господи. Как иной раз золовки сцепятся, так хоть подол им на голову накидывай. А вы говорите — колхоз. Отца боялись все, — это верно. Отец молчать любил. Молчит и смотрит. Молчит и смотрит. В Палестину в старое время молиться ездил ко гробу господню. Десять лошадей у него было. А разделились, все перекрестились. Теперь мне брат — лучший друг. Окошко вечером открою и через улицу переговариваемся. То да се, приходи на чай с вареньем, а уж дегтем я сам у себя где надо помажу.

— Я, — продолжает Федор Захаревич, — сам себе ось и колесо. На себе верчусь, на себе и еду. Когда лягу, когда встану, — все у меня во-время, все рассчитано. Надо — я в два часа встану, а то совсем не ложусь. Все под руками горит, всему хозяин. А в колхозе у нас что? У меня вон старший сын в колхоз пошел. Один чешется, а другой оборачивается, как бы тот лишку не перечесался. Наша работа, я вам скажу, отдушины не любит. Только бедность в дом пусти — не выгонишь. Сколько я себя помню, я менее четырнадцати часов в сутки никогда не работал. Вот и достаток отсюда. Ты по тому равняйся, кто в дом несет, а не из дому. Ране бывало в деревне скажут: «Ишь, Калашников в поле поехал, значит и нам соби-

раться надо». А теперь, гляди, весь народ давно сено под крышу сvez, а у нашего колхоза еще половина в болоте цветет. Штука не в науке, а вот в чем. — Федор Захаревич, прохаживаясь, погромыхивает смешком, похлопывает себя по крепким бокам. Он невысок, необычайно плотен, и душок здоровья шерстится на его темных руках с засученными рукавами.

— Я агроному нашему говорил: давай состязание устроим. Ты на своей полосе сей, а я на своей, на отцовской. У кого больше уродится.

— Позвольте, — невольно восклицаю я. Прямые, открытые защитники трехполки в наши дни все-таки уже редкость. Но я не перебиваю Вихрова. Я слушаю его.

— А очень просто, говорю я агроному. Не хуже вашего соберу многополья. Не в нем радость. Агроном отказался, а я бы доказал.

— Что же вы против советских порядков?

— Зачем против. Я говорю, что не в порядках только радость. А я сам был председателем удюмельско-рядского волостного исполнительного комитета целых четыре года. С 20 по 24. Я вам скажу, как меня мужики любили. И высшему начальству всегда полное удовлетворение. Сейчас, допустим, налог наложат, я лошадь запрягаю — по деревням. Там уже видят: Федор Захаревич приехал. Зайдешь в избу, поздоровкаешься, за стол посади. Похорошему, по-хозяйски, по-божескому договоришься. Так и так, мужики, наша власть требует, должны дать, или мне под суд итти. И никогда такого не было, чтобы меня подводили. Четыре года переизбирали. Семен Никанорович, Николай Силантьич... Уважение...

— А колхозы что, вам мешают?

— Почему мешают? Я разве что говорю. Идите в колхоз кому нравится, а мне дома пока хорошо. Зайти к им — грязь, а у меня гляди...

Иконы поблескивали в углу, фикусы раздвигали сумерки широкими листьями, протягиваясь к окну. Облупленный комод стоял у стены, и бумажные розы украшали висевшее над ним зеркало. Баян его сына, забубенного гармониста, лежал на цветном одеяле.

Старший сын его ушел в паношинский колхоз, баянист поклялся сбежать на фабрику, но не итти «на барщину». Что будет делать Федор Захаревич в колхозе через два года, когда Паношино будет полностью коллективизировано? Сколько я ни слушаю Вихрова, мне невольно приходит на ум Иван Ермолаич Глеба Успенского. Да ведь это же Иван Ермолаич, говорю я себе, с его «поэзией крестьянского труда», с его идеалами «самостоятельного земледельца». Но вместе с тем я не могу не видеть совершенно кулацкой сущности его бытия.

Мне стелют на сеннике во второй половине избы. Я ложусь и продолжаю размышлять, глядя на потолок с темными трещинами в досках, подобными морщинам неустанныго труда.

— Он не волк,—говорю я себе.—Конечно он не хищник. Он не тот кулак, который ползет к колхозу, намочив тряпку в керосине. Он не тот кулак, который организует и двигает против нас армии. Но он оттягивает наши армии к себе. Кулацкая опасность его страшнее. Всей своей жизнью, всем строем своих устремлений, вкусов, интересов, симпатий, наконец доблестей он работает сейчас по сути дела против нас. Конечно доблестей; его облик непрестанно трудящегося человека несомненно должен возбуждать симпатии к нему и всё это как бы говорит: вот моя удача—она дело моих рук, вот моя жена—это моя жена, вот мой дом — он пахнет моим трудом. Наконец он агитирует за фидоличное хозяйство не только своей удачей, но и просто словами. Он не выступает против коллективизации, но он же глумится над своим колхозом. Наконец, плановая борьба может качнуть его в лагерь прямых врагов.

— Но, — начинаю возражать я, — в нем нет ничего что было бы органически чуждо социализму. Мы можем эту трудовую машину повернуть в свою сторону. Его достатки, якобы добытые только трудом, это его иллюзия. Это добросовестный самообман человека, не знающего законов капиталистического общества и законов капиталистического накопления. Почему он не может войти в колхоз? Даже вероятно, что будет там. И наконец, войдя туда, будет одним из лучших работников. Ведь пред-

седатель паношинского колхоза тоже как-раз из зажиточных середняков — Александр Бойцев. Это лучший ударник.

— Ну, а если бы не было колхозов? — спрашиваю я.

— Если бы не было колхозов, — отвечаю я, — Вихров сделался бы настоящим кулаком. В нем вертится-качается это ядрышко собственнического накопления. Он один из тех миллионов «маленьких Корниловых», о которых когда-то говорил Ленин. Вихров может пойти по этой, но может пойти и по той дороге. Сейчас он на грани.

— Значит, если его предоставить самому себе, то-есть, если устранить всю сумму воздействий и политических, и экономических, и культурных, толкающих деревню на путь социалистического переустройства, то он...

— То он неизбежно превратился бы в чистосортного кулака. Но он уже кулак, — накатывает неотгоняемая мысль, пробегая как мурашки. Я составляю в уме обвинительное заключение. Я перебираю: 2 лошади, корова, телка, крытый хорошо дом. Я присоединяю признаки: фикусы, комод, зеркало с розами... Я вспоминаю наконец: он же ездил хлопотать за попа, он связан с враждебными нам кругами деревни...

— Вы что же не спите, — говорит, шурша босыми ногами, входящий Федор Захаревич. Он шарит в темноте свою забытую сумку с московскими бумагами.

Я вздрагиваю, точно застигнутый в засаде.

— Ничего, спите, я уйду сейчас. А насчет колхозов это я верно вам говорю. Каждый природный умный мужик—всегда самостоятельный хозяин. Он и без колхоза проживет. Ему ломать себя не к чему.

Невольно вспоминаю я знаменитое бакунинское, подхваченное потом народниками:

— Каждый русский умный мужик — природный социалист.

Эх-ма, вот тебе и Бакунин. Я силую представить себе Бакунина. Лицом Вихров будто похож на Бакунина.

Но сон приходит и приостанавливает маятник моих размышлений.

## Страхи

— Скажи ты мне, хороший товарищ, только по совести, как для себя скажи, что там наши главные в Москве о войне говорят. Будет война или нет?

— А что такое? Небось газеты читаешь. Твой сын, я видел, кажется, «Правду» даже для себя выписывает?

— В газетах это вообще пишут. Ну, как бы для всего народа. А в народ волнение зря не пустят. А ты мне как факт скажи. Чтобы уж до подлинности знать.

— Сама понимаешь, мы у них как кость поперек глотки. А кто же знает — сунутся или нет. Давно бы рады, да свои прорехи не пускают. Вот мы и должны приналежать пятилетку. Тогда, шалишь, братец.

— Господи, да я не знаю что — я десять потов за день с себя спущу. За мной молодая не угонится. Лютость в работе я могу такую пустить, что сам Сталин мне скажет: «Сядь, Екатерина, отдохни малость, а то руки оторвешь, а ведь они рабочие». Не за себя боюсь. Я старуха. Я жизнь прожила. Я за детей. Им то какво. Как мужа моего на войне убили, сколько я с ними намаялась. Сколько их вырастить стоило. Пятеро их у меня.

Арсеньева поправляет косынку и продолжает, наклонившись к уху.

— Наши-то — Драгулин Миша да Борцов Санька — хоть и партейные, но у них дома хозяйство на стариков оставлено. Вышел из коммуны и все тут. А я вся здесь. И лошадь, и корову в коммуну отдала. Новый ход сдала. Только за два месяца ремонт справила. А теперь, считайте сами, колесо в пятьдесят рублей станет. Ну, как перемена выйдет. Куда я тогда пойду? С чем я тогда останусь с малыши-то детьми. Избу-то я в своей деревне продала, а деньги в коммуне.

— Брось, Екатерина Ивановна. Брось и думать об этом. Вот глупости — «перемена».

— Эх, милый, только и есть у меня этот червяк. Засосет иногда старую. А так я ничего не боюсь. Господи, да мне только работы давай-подноси. Да я себя закопаю. Только успокой меня, — чуть заслезилась Арсеньева.

И она, высокая и костлявая, полубе-

гом пошла на жнитво, подбрасывая обугленными босыми пятками. Золотая работница — Арсеньева.

31/XII—30 г.

## ГМС

В сарае, отобранном у бывшего псаломщика, что на самом краю Маги, коммуна устроила крольчатник. Фландры и шиншилла привыкли, как иностранцы, к комфортабельной жизни. Фландры знамениты мясом, шиншилла — мехом. Оба знамениты необыкновенной плодовитостью. В своих маленьких сосновых квартирах они привлекают, кроме того, всех юных коммунаров, как зоологический сад. Они наконец привлекают народ и из деревни. Это местные паноптикум.

Длиннолицый Смирнов, заведующий фландрами, в душе гордится своей работой. Он любит распространяться о великом будущем кроличьего хозяйства.

— Сейчас у нас 50 кроликов, а к концу пятилетки будет 5.000. На экспорт работаем. Валюту работаем, понимаете? Понимать это надо. А тут бабы анисимские или зеленцовские в церковь ходят, ну у меня на пороге и переубиваются. В дороге-то босиком идут. Шмыг да шмыг. Кролику беспокойство.

И Смирнов угрюмо начинает стучать кормушками и переставлять клетки.

Однажды я застал его укрепляющим вывеску над воротами в сарай. Смирнов стоял на сколоченной из досок лесенке в белой на выпуск рубашке, без шапки, как всегда, в валенках. Жара повисла в воздухе, сгущаясь вдали синеватой дымкой. Обливаясь потом, Смирнов приколочивал доску, на которой было намалевано черным:

ВХОД  
ВОСПРЕ-  
ЩЕН  
ГМС.

— Что это ты, Смирнов, затеял?

— Для порядку требуется. Вход воспрещен — Григорий Михайлович Смирнов. А мож и так понять: вход воспрещен — гражданам местных селений.

— Это, брат, не годится. Ты хоть молодой коммунист, а не годится. Должен



понимать: нельзя единоличников отпугивать от коммуны. Пусть интересуются.

— Да ну? А ведь верно. Хорошо надоумил, а то быть бы беде.

И Смирнов сконфуженно снял доску.

Он покаялся в ячейке об этом, как о своем «уклоне». Посмеялись. Посоветовали сделать о кроликах стенгазету, которую пустить по деревне.

Его теперь зовут не иначе, как Геэмэс. А газету он все-таки выпустил.

### Честь коммунара

Честь — самое непререкаемое из всех человеческих чувств. Она подобно демонам войны. Вселившись в человека, она делает его одержимым, и он готов итти куда угодно с сомкнутыми челюстями.

И вот делом чести стал труд. Это сделало возможности труда почти безграничными. «Мирный» вид жизни — он стал бешеным и угрожающим для врагов. Он стал театром военных действий. Я знал случаи, когда некоторые коммунары работали по двое суток непрерывно, чтобы взять приступом цифры — знамена промфинплана.

Но существуют различные проявления чести. Более поражающее в мелочах, в случайно сверкнувшем отсвете больших событий. Бывает, что она входит в быт и заряжает его электричеством, которое дает искры в неожиданных местах.

Однажды я сфотографировал себе на память избу Кудрявцева, оставленную им в деревне при переезде в коммуну. Я забыл об этом. Но Большаков и Сергеев постучались ко мне как-то на рассвете. Я вышел в туман. Лошадь стояла запряженная у моего дома. Коммунары были одеты по-дорожному.

— Поедемте с нами?..

— Куда?

— А мы едем в деревню свою — Ивково. Хлеб у нас остался там на полосах—позжем для коммуны. Так заодно, думаем, вы наши дома снимите. Хозяйственные дома оставили.

Я не был подготовлен к этой поездке, занявшей бы у меня несколько дней, и не смог выполнить эту просьбу. Коммунары сдержанно промолчали, переглянувшись. Но потом я узнал, что они были обижены. Чем же хуже они Кудрявцева? Их семьи столь же велики. Их дома столь же были обжиты.

Они захотели тоже получить «фотоорден». Я обошел их жертвы и усилия. Гордость бойцов была уязвлена. Случайно я оцарапнул спичкой, и она осветила внутрь изменения, совершенные коммунизмом; показала существование ныне вулканических источников у людей, которые были раньше лишь частицей унылого человеческого ландшафта, называемого российской равниной.

5/II—31 г.

# Черное золото

Роман

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

(Продолжение<sup>1</sup>)

35

В Ревеле у Хаджет Лаше было три чрезвычайных дела. Он выехал туда с Левантом, Вольдемаром Ларсеном (датским коммерсантом) и Йоганом Гензенем—одним из четырех шведских офицеров, бывших на заседании Лиги и затем по указанию так называемой «Секретной комиссии» пытавшихся ликвидировать у портового кабака большевистствующего журналиста Карла Бистрема (ему между прочим приписывали заметку о кредитках Юденича).

Миссия Лаше остановилась в гостинице Дорбат. Часть номеров занимали министры северо-западного правительства. Отношения с эстонцами у них были натянутые. Молодое эстонское правительство стремилось спихнуть русское правительство в Нарову, где была ставка белой армии, но министры (и сам Юденич) цеплялись за Ревель, во-первых, потому, что здесь под рукой английская и американская миссии, и потому, что уже слишком страдало великодержавное самолюбие: из-за строптивости маленького народишка — чухонцев (в России пруд пруди такими: мордва, черемисы, карелы), воспользовавшихся большевистским декретом, чтобы объявить себя независимыми, и не признанных всероссийской верховной властью — Колчаком — и даже, как следует, Антантой (и в недалеком будущем, разумеется, долженствующих вернуться в первобыт-

ное состояние), из-за этих говорящих на собачьем языке белобрысых фермеров и мелких лавочников русским генералам и министрам торчать в грязной дыре Нарове! От возмущения дух спирало в груди! Можно снести голод и холод, но не унижение, — этого северо-западному правительству не простит История и Державный Народ...

Северо-западное правительство выросло на берегах Балтики естественно, как гриб в сырые деньки. В восемнадцатом году в Пскове при поддержке, тогда еще могущественных, немецких монархистов сформировался добровольческий Северный корпус. Во главе его стал генерал Едришкин (переменивший для благозвучия свою фамилию на Вандам). В корпус набралось тогда тысячи две душ, — беглые с разных фронтов солдаты и голодное бродячее офицерство. Едришкин, — так говорит история, — не смог влить энтузиазма в эти упадочные души: офицеры стали пьянствовать на немецкие деньги, скакали по Пскову на извозчиках с цыганками из табора, солдатешки шатались по дворам, тащили, что плохо лежит.

Однажды туманным утром по грязной шоссеиной дороге в походном порядке под Псков подошел третий Петроградский краснознаменный кавалерийский полк (сформированный в Луге). Командир полка Булак-Балахович (и батько, так как он же и формировал полк) вел петроградцев будто бы в наступление и привел в засаду под германские пулеметы. Петроградцы побросали оружие,

<sup>1</sup>) См. «Новый мир» кн.кн. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 с. г.

большая часть их перешла к добровольцам. Горожане восторженными кликами встретили перевернувшегося батьку.

Булак-Балахович был из тех людей, кому гражданская война расправляет крылья, — ни предрассудков и в прошлом — никаких сожалений. Он пришел в Псков делать карьеру народного героя. Худощавый, среднего роста, с темными усиками, быстрый, хваткий, в туго перепоясанной черкеске, с кривой саблей в серебряных ножнах. Псков на другой же день почувствовал героическую руку. Утром на телеграфных столбах посреди базарной площади висели пять человек в грязных подштанниках. Испуганные обыватели шептались, что висят большевики. В одну ночь был отпечатан первый номер газеты «Новая Россия освобождаемая» с приказом № 1, где Булак-Балахович объявил себя атаманом всех войск Псковского и Гдовского районов, а гражданскую власть вручил общественному гражданскому управлению, — это было мало понятно, но убедительно, как телеграфный столб на базаре. Во главе управления стал никому неизвестный гибкий человек с роскошными водянистыми глазами, увлекательный оратор и пылкий журналист — помощник присяжного поверенного Н. Н. Иванов. Город был обложен налогом в 200.000 рублей. Кроме того, офицеры Балаховича пошли по зажиточным еврейским домам, предлагая на нужды отечества сдавать все золото и серебро, тех же, кто противился, били, таскали за бороды, грозили нагамами и еврейским погромом и кое-кого утробили. Во главе контрразведки встал решительный полковник барон Энгельгардт. В особенности обнаружился батькин чрезвычайный гений в подведении экономической базы под добровольческий корпус. В Германии в это время бушевала революция. Немцы не могли больше снабжать добровольцев деньгами, продовольствием и оружием. Первоначальная идея немецких прибалтийских помещиков — занять Петроград, утвердиться с флотом в Кронштадте, очистить Прибалтику от революционной заразы и создать из Лифляндии, Эстляндии и Курляндии суверенное королевство, связанное с Германской империей

личной унией в лице прусского короля, — обширнейший план этот отодвинулся в мглу революционной непогоды. С уходом немцев в Пскове появились эстонцы. Молодая республика (только что очистившая Ревель от большевиков) нуждалась в валюте. Эстонцы предложили батьке товарообмен — за продовольствие, частью за эстонские бумажные деньги брать высоковалютный (но батьке в данный момент совершенно ненужный) псковский и гдовский лен. Контрразведка во главе с бароном Энгельгардтом начала ударно добывать лен в уездах, — мужиков, которые упирались или прятали лен, немедленно вешали, как уличенных в симпатии к большевикам. Эстонцы принимали товар: за два пуда льняной кудели — пуд крупчатки. Лен экспортировался в Англию, и английская мысль на фактах убеждалась в жизнеспособности белого движения.

Когда все же нехватало денег, батьку приказывал печатать «керенки», — ночью оцепляли типографию и со свечами работали на плоских станках. Словом, добровольческий Северный корпус кормился, выросал численно, подтягивался. Когда летом восемнадцатого года части Седьмой красной армии (состоявшей в большем числе из местного крестьянства, неохотно дравшегося за питейские лозунги) подошли к Пскову, Булак-Балахович с добровольцами лихо ударил и отбросил красных. Председатель гражданского управления Иванов обнародовал в «Новой России освобожденной» гимн батьке:

«Первоначально немногочисленная, выдвинувшаяся кучка белых, казалось, была обречена на гибель.

Но великая волна, несущая освобождение и свободное устройство России, недаром поднялась в древнем Пскове.

Недаром на гребне волны этой гремит на всю северо-западную Россию легендарное имя народного героя — батьки атамана Балаховича.

Разгром красной сволочи под Псковом открывает дорогу к сердцу страны.

Народный герой сказал уже свое слово:

— Партизаны, вперед. На родную русскому сердцу Москву!»

Когда лен был весь продан, евреи ограблены, когда завернули декабрьские холода и жить стало тесно и неуютно, когда местное крестьянство, отчаявшись в белых, снова покачнулось к красным, и Красная армия нажала на Псков, — Добровольческий корпус оставил город и отступил в более сытые места в двух направлениях: часть — в Латвию (где влилась в русско-германский, сформированный баронами, корпус шикарного авантюриста полковника Бермот-Авалова), другая — с батькой Булак-Балаховичем — в Эстонию. Там эстонский главнокомандующий Лайдонер заключил с добровольцами договор: русские получают довольствие, обмундирование и снаряжение и за это обязуются занять фронт и бороться с большевиками и с анархией в Псковской области. Во главе добровольцев был поставлен вместо просыпавшегося народного героя генерал Родзянко.

Заняли пограничный фронт. Постреливали по дымкам красноармейских кухонь. Красноармейцы постреливали по белобандитским дымкам. Дела шли вяло. Морозы загоняли людей во вшивые тепляки. Кормились кое-как на эстонских хлебах. Офицеры смывались в Ревель и там перед вывесками шашлычных матерились от безденежья и с досады на чухонцев.

В то же время на юге России и в Сибири поднималось наступление белых стотысячных армий. Красные отступали в тяжелых условиях крестьянского недовольства комбедами и продрозверстой. В Париже и Лондоне оживилась деятельность интервентских кругов. Их открытое выступление сдерживалось только революционными волнами, пробегавшими по глади Версальского мира. Заговорили о крестовом походе четырнадцати малых держав на Советскую Россию. Парижское совещание, получив от Колчака триста миллионов франков, гнало корабль за кораблем, груженные оружием, в Черное море.

По всей Европе возникали белые центры и организации (в роде «Лиги Хаджет Лаше), связанные с миллионами Парижского совещания. Одной из таких ячеек был гельсингфорский «Особый

комитет по делам русских в Финляндии», основанный бежавшими в Финляндию крупными промышленниками и банкирами. Комитет возглавлялся известным философом мистиком Карташевым. С весной, когда начало бродить вино и по всей России зарычали пушки, помчались гайдамацкие, разбойничьи тачанки по степям, засвистали сабли казачьих сотен, белых дивизий и красных конармий, — в гельсингфорском комитете нетерпеливо стали искать боевого петуха. К их счастью такой нашелся, — в Гельсингфорсе проживал бывший герой Эрзерума, сердитый и мрачный генерал Юденич. Он говорил: «Что такое политика? Моя политика — чик.. (пальцем по воротнику, где висел «Владимир»)»... и готово, вот и вся политика»... Промышленники, банкиры и Карташев поняли, что нашли вождя. Обступив его, они переформировали штатский комитет в более уместное по такому горячему военному времени. «Политическое совещание при генерале Юдениче». Под это можно было достать денег, это звучало в Париже и в Лондоне. Начались переговоры, начались хлопоты. Пока что территория правительства охватывала только физическое тело низенького и плотного генерала, с необыкновенной величины усами и подусниками, внушающими почтительное представление о бывшей имперской мощи, с жирным, прорезанным глубокой морщиной лбом, — короткая серая тужурка, беленький «Георгий», лампы, ярко вычищенные козловые штиблеты на резинках, широкополая фуражка и из-под козырька — божественно строгие глупые глаза.

Финляндия, Эстония и Латвия готовы были содействовать борьбе героя с большевиками, но при одном условии, чтобы наперед генерал и его «Политическое совещание» (Карташев, знаменитый черный монархист Марков второй, нефтепромышленник Лианозов и другие) признали независимость этих республик. Хуже всего, что Англия пристально советовала так именно и поступить.

Приходилось пока что лгать и вывертываться. Списывались с Колчаком, — армии верховного правителя бешено наступали на Урал и слышать не хотели

ни о каких республиках, тем более, что англичане в Сибири тоже гнули к монархии. Списывались с Южным фронтом, — денкиницы бешено наступали на Киев, Харьков, Курск, Орел — и за всякие вольные мысли грозили веревкой. Но здесь, на Балтике, англичане продолжали петь о самоопределении народностей, о либерализме, о деньгах же и реальной помощи выражались туманно.

Выход был один — наступать на Петроград, приобрести территорию для правительства и разговаривать, подняв голову. Министры сновали, как челноки, из Гельсингфорса в Ревель, заседали с генералами Родзянко и генералом Лайдонером. Обстановка для наступления складывалась благоприятно. Перебежчики доносили: Красная армия за зиму развалилась в чортовой матери, красноармейцы дезертируют, возвращаясь в деревни, разбивают исполкомы и военкомы, в полках — измена, воровство, комиссаров не слушают, не боятся, деревни стонут от грабежей, прячут хлеб и скотину от продразверсток, комбедчиков закапывают живыми в землю. В Псковском и Гдовском уездах — мужицкие бунты. Петроград опустел, коммунисты на фронтах, рабочие перестреляли всех лосей в окружных лесах и едят лошадиную падаль. Только бы появиться первому белому раз'езду у Нарвских ворот, — город взорвется восстанием, как пороховой погреб.

Решились. В середине мая эстонской армии и русскому Северному корпусу отдан был приказ наступать. Красная Седьмая армия действительно сейчас же, вяло отстреливаясь, покатила на Север. Эстонцы шли на завоевание побережья и за кораблями Балтфлота, русские, оборванные и нищие, иные полуголые, иные в бабьих кофтах и передниках вместо штанов, шли на грабеж столицы. Пали Ямбург, Гдов и Псков. На реке Плюссе взят в плен красный командир разбитой бригады генерал Николаев, выдран шомполами и повешен на ветле. В деревне Выре комиссар предавшегося белым Третьего пехотного полка товарищ Раков один из окна штабной избы отстреливался из пулемета и, когда кончились ленты, пустил пулю в сердце. На левом фланге эстонцы и русские дошли до Гатчины. Измени-

чески сдался эстонцам форт Красная Горка и по заранее данной из Лондона через Гельсингфорс и Ревель инструкции обстрелял Кронштадт из тяжелых батарей, предлагая сдаться в четверть часа. Но форт был отбит орудиями «Петропавловска» и «Андрея перво-званного» и атаками с суши кронштадских коммунаров и моряков. Изменники бежали, расстреляв по дороге всех захваченных большевиков и беспартийных, верных клятве республике. В середине июня фронт был уже в тридцати верстах от Петрограда, но здесь началось сопротивление красных. В их армейские части начали вливаться боевые отряды петроградских коммунаров и профсоюз. Реввоенсовет республики послал 328 партийцев комиссарами и простыми бойцами. Прибывали члены моссвета и члены губкомов. Питерские рабочие день и ночь готовили снаряды и броневые машины.

Белые остановились и понемногу, к середине июля, начали отходить. В конце концов они и не рассчитывали на такую огромную территорию. Дело было сделано. Европа аплодировала. В Англии создалось впечатление, что «уже есть о чем говорить». Гельсингфорские министры Юденича торопливо сносились с Лондоном, Лондон — с Омском, верховный правитель Колчак прислал армии свои поздравления (теперь это был уже не Северный корпус, но Северо-Западная армия) и повелел быть ее главнокомандующим генералу Юденичу. Генерал Родзянко обиделся, но он был слишком молод и неясен для Европы.

Юденич прибыл в армию, когда она уже отступила для переформирования, пополнения и обмундировки в Гдовский и Псковский районы. Новое наступление предполагалось через месяц. От Колчака прибыли деньги. Начались переговоры о крупных кредитах. Северо-Западная армия казалась уже не просто сбродом голодных оборванцев, — открылись возможности использовать эту силу для обширных целей. Америка, изнемогающая по окончании мировой войны от избытка оружия и продовольствия, могла пропихнуть сюда часть военных стоков, Англия, без шума в левой прессе, — прибрать к рукам Бал-

тику, Финляндия — захватить лесные массивы Карелии. Словом, кредит мог быть предоставлен, но открывалась некоторая опасность. Армии Колчака и Деникина, приближаясь к Москве, чернели с каждым днем, как грозовые тучи, развеивались последние остатки либерализма и общественного приличия. Финнам, эстонцам и латышам чудились карательные экспедиции боевых генералов, сколачивающих новую монархию единой, неделимой России. Это противоречило принципам Версальского мира. Даже тигровые ноздри Жоржа Клемансо ощущали в воздухе некоторую дрянь, идущую от победоносного пота белых армий.

Времени терять было нельзя. Англичане послали в Ревель генерала Марша, и он, — как легендарный англичанин-мудрец — помуслив палец, стер с черной доски меловые знаки неверной политической формулы и начертал новые, — ошибка была исправлена: Финляндия, Эстония и Латвия с легким сердцем соединились в единый фронт против большевиков, осажженная в великодержавных помыслах Северо-Западная армия послушно встала во главе интервенции. Этот замечательный политический переворот произошел в продолжение сорока минут. Генерал Марш предложил явиться к себе (в номер гостиницы) членам Политического совещания и некоторым общественным деятелям демократического уклона. Русские собрались, гудели вполголоса в приемной, некоторые даже закурили папиросы. Ровно в шесть с четвертью раскрылась дверь в номер, занятый генералом, — Марш стоял, раздвинув ноги в тощих желтых крагах. В левой руке твердо держал записочку, правая засунута за кожаный пояс френча. Не предлагая садиться, он сурово оглядел эти лица (русских), — у кого — выражение государственной мудрости на вспотевшем лбу, у кого — кривоватая улыбочка уязвленного самолюбия, у кого перепуганные глаза, отвалившаяся челюсть:

— Господа, — сказал генерал Марш по-русски, с британской твердостью, — положение Северо-Западной армии скверное, точнее говоря, — критическое. Нужно употребить чрезвычайные меры, чтобы ее спасти. Если вы хотите от нас

реальной помощи, то вам нужно составить демократическое правительство. Мы ставим одно условие, — правительство должно безоговорочно признать независимость Финляндии, Эстонии и Латвии. Союзники считают необходимым, чтобы таковое правительство Северо-Западной области сформировалось, не выходя из этой комнаты. Вот список министров, он мне нравится. До моего приезда у вас было достаточно времени для переговоров. Сейчас четверть седьмого, я даю вам время до семи часов. В семь приедут представители эстонского правительства для переговоров с тем правительством, которое вы выберете. Итак... Если до семи вы ничего не сделаете, то мы, союзники, бросим вас на произвол судьбы...

Он протянул записочку нефтянику Лианозову, поставленному в списке под номером первым (премьер-министр), засунул левую руку туда же — за пояс, повернулся на каблуках и вышел. Через сорок минут правительство было образовано. Кредиты получены. Пароходы с американским и английским грузом повернули в Ревельский порт. Батько Булак-Балахович и его министр Иванов, не получив портфелей, вернулись в Псков и при поддержке эстонских скупщиков льна пытались было образовать независимую Псковскую республику. Юденич объявил Булак-Балаховича вне закона, но батько плевал на эти мелочи. Сейчас он (вместе со своим министром Ивановым) проживал в Ревеле в гостинице Дорбат, интриговал и хамил и в полной генеральской форме шатался по кинематографам.

### 36

В часы досуга главнокомандующий Северо-Западной армией и военный министр правительства, генерал Юденич, для упражнения читал своей жене, аристократке по происхождению, вслух по-французски.

Читал он не слишком бойко, — всего полгода назад взялся за изучение языков. Обычно, сидя у окна (в серой тулупе и ночных туфлях), держал на отлете (так как был дальновзорок) желтый томик «Клодин в Париже». Генеральша за ширмой разогревала на керосинке завтрак. Супруги Юденич были

не скупы, но мудры, — они трезво со- знавали, что жизнь в Ревеле — не жизнь, но случайный этап, что политика и война превратны, и умный, желая стать хозяином превратностей, должен терпеливо подкопить нешатающиеся от всяких революций ценности (доллары, золото, камни).

Генерал, записываясь, строго читал:

«Фиалковые глаза Клодины и крошечные розовые соски на двух прелестных выпуклостях, просвечивающих под ароматным багистом сорочки...»

За ширмой генеральша перебила:

— Совсем не так... Грудь, женская грудь будет не «сан», а — «эс-и-эн», при чем «и» почти не слышно, — «с'н»... Так же, как — «синж», — обезьяна, но без «ж»... Тебя не поймет ни один француз...

В голосе генеральши послышалось почему-то раздражение. Генерал повторил: — Грудь — «с'н», грудь — «с'н»... — Затем вздохнул, как человек, взобравшийся на холм. В дверь легко постучали. Вошел свежий, улыбающийся, в английском ловком френче адъютант барон фон-Мек:

— Ваше высокопревосходительство, из Стокгольма — миссия полковника Магомета-бек Хаджет Лаше... Он хотел бы...

— А! Знаю, — Лаше...

— Может быть, вы изволите принять — запрос?..

— А? Да, да... Только, голубчик, дайте-ка мне из-за ширмы штиблеты...

Генерал закрыл томик «Клодин в Париже», не спеша натянул старые, еще петербургской постройки зеркально вычищенные башмаки и, заложив руки за спину, прошелся по комнате.

Фон-Мек ввел полковника Хаджет Лаше. Генерал полуофициально (за ширмой шипела сковородка) предложил ему занять место на голубого шелка диванчике стиля модерн. Сам опустился коротким туловищем в кресло, — плечи поднялись, небольшая голова ушла в плечи, и огромные подусники величественно легли на широкие без звездочек погоны с зигзагами.

— Чем могу служить, полковник?

— Ваше высокопревосходительство, я говорю от имени Лиги...

— Знаю, наслышан, весьма одобряю

вашу патриотическую деятельность, голубчик...

— Ваше высокопревосходительство, когда вы рассчитываете взять Петроград?

Седоватые подусники сдержанной усмешкой шевельнулись по золотым погонам. Касаясь пальцами пальцев, опустив покачивающуюся голову, Юденич ответил:

— Когда поможет бог, полковник, когда поможет бог...

— Ваше высокопревосходительство, Лига берет на себя смелость поставить вас в известность, что огромное количество национальных ценностей может бесследно ускользнуть от вас... Большевики лихорадочно перевозят из Петрограда на территорию Швеции, как нейтральной страны, валюту, золото, камни... По нашим сведениям, на трех частных квартирах в Стокгольме спрятано ими свыше полумиллиарда...

Подусники замерли, генерал, казалось, перестал дышать. Затем голова его начала подниматься и немигающие глаза, как два зенитных орудия, уперлись в полковника Лаше:

— Потрудитесь объяснить подробнее...

Хаджет Лаше рассказал о деятельности Лиги, о связи с французской и американской миссиями. Он умолчал о казни четырех большевиков, изъял всякое упоминание о генерале Сметанникове, но зато подчеркнул участие шведской гвардии и представил обширный список добровольцев, вступивших в Лигу (это был лист, заполненный в Берлине посетителями Александра Леванта в гостинице Адлон). Генерал нашел в списке много знакомых имен, немало боевых товарищей, — иных он считал давно погибшими от руки большевиков, — и, дойдя до фамилии генерала Кудеярова, засопел, как бы сдерживая слезу, готовую скатиться на красный отворот тулурки.

Хаджет Лаше подробно перечислил сокровища царской короны. Когда он упомянул о шапке Мономаха, генерал тяжело поднялся с кресла и в волнении отошел к окну, — короткие пальцы за спиной сжимались и разжимались...

— Ваше высокопревосходительство, я своими ушами слышал, — в ресторане Гранд-отель еврей, большевизский

курьер, Леви Левицкий в нетрезвом состоянии похвально другому большевику, Ардашеву, что будто бы примерял на себя шапку Мономаха и садился на кресло с державой и скипетром... Оба цинично смеялись на весь ресторан... Российская реликвия на жидовской голове...

Юденич поднял, опустил плечи:

— Прекрасно-с... Они заплатят... (Пальцы заработали за спиной). Жестоко заплатят...

— Чтобы овладеть ценностями, нам нужно, по скромному подсчету, на слезку, наем помещений, автомобили, оплату людей, покупку оружия, — двадцать пять тысяч крон... Лига ходатайствует, чтобы вы вместе с этими суммами прикомандировали к нам доверенное лицо для наблюдения. Мы работаем с открытым забралом, но клевета готова свить гнездо и в святом деле...

Генерал вернулся в кресло, провел горстью по подушкам:

— Я должен подумать... Дело весьма щекотливое... В европейской столице расправляются своими средствами!.. Гм... Как ни как, — грабеж ведь это. батенька... Мы-то знаем, у кого берем и что берем, но щепетильные европейцы, — бис их батьку знае, як они шухае... (Поколыхался хохотком)... Люди вы горячие, ухлопаете там парочку еврейчиков... Да еще двадцать пять тысяч вам отвали. Попадешь в историю...

Генерал с искоторого времени начал поглядывать на ширмы, где шипело и добро пахло сальцем. Лаше, проведя ладонью по лбу, сказал с мягкой задушевностью:

— До взятия Петрограда, — бог поможет, — три, ну — два месяца... Но пока я не вижу других путей поддерживать ваши бумажные деньги, ваше высокопревосходительство...

Генерал отвлекся от ширм, насторожился:

— Не улавливаю связи.

— Вы помните провокационную заметку об английском обеспечении ваших денег, печатающихся в Гельсингфорсе?.. Она исходила от компании Леви Левицкий, Ардашев, Бистрем. Одного из них Лига уже ликвидировала... За последние дни нам стало известно, — и это одна из причин моего приезда в Ре-

вель, — что английский государственный банк не сегодня — завтра опубликует опровержение... Ваше высокопревосходительство, сам господь бог не спасет вас от инфляции, от катастрофы с кредитами и так далее..

— Мои деньги, господин полковник Лаше, обеспечены всем достоянием государства Российского...

Но тут полковник Магомет-бек Хаджет Лаше не то, чтобы подмигнул как-нибудь неприлично, — жирноносое лицо его осталось невозмутимым, — изменился лишь цвет глаз, они будто просветились веселой иронией:

— Перед отъездом я беседовал с незабытым биржевым деятелем Дмитрием Рубинштейном. Он откровенно высказался, что готовится к большой игре, но не решил еще, — валить ли ему финскую марку и поднимать рубль вашего высокопревосходительства или поднимать финскую марку и валить рубль вашего высокопревосходительства...

— Ах, вот как! (Генерал беспокоиво потерся спиной о спинку кресла). На чем же Рубинштейн основывает недоверие к моему рублю?

— Не к вашему рублю, но к российскому рублю... Европейская биржа рассматривает Россию, как банкрота на долгий период времени... Проблема русского банкротства — мировая проблема. Русские долги, задолженность по внешним займам, разрушение промышленности, транспорта, шахт, нефтяных вышек, сельского хозяйства, скотоводчества, — это колоссальнейший пассив. Рубинштейн исчисляет его миллиардов в сто золотых рублей. (Генерал крикнул). В активе — будущая твердая власть, под нее союзники могут дать денег на возрождение русской промышленности и сельского хозяйства. А могут и не дать... Но откуда русский рубль, — пусть на острие победоносного белого штыка, — стоит не дороже бутылочной этикетки...

— Так, так, — сказал Юденич, — ага, вот как! А если я как следует умиротворю Петроград?

— Это уже много... Но, ваше высокопревосходительство, деньги нужны сейчас... Я просил Рубинштейна обождать несколько дней... Если я скажу ему, что в ваших руках будет на полмиллиарда



валютных ценностей, разумеется, он не станет колебаться в выборе между рублем и финской маркой...

Генерал, казалось, был убежден, но все еще не решался. Больше всего его напугал Митька Рубинштейн. Но двадцать пять тысяч крон тоже было не легко оторвать от тела. Он сказал, что хочет посоветоваться с начальником снабжения генералом Яновым и попросил Лаше оттянуть вопрос о деньгах до завтра...

Хаджет Лаше решил не утруждать главнокомандующего остальными чрезвычайными вопросами и в полном составе миссии явился к правой руке генерала Юденича — генералу Янову. (Он занимал номер в том же коридоре наискосок).

Генерал был «с мухой» после обеда и повышенно встретил гостей. Денщик «сорудил» кофе и коньячок. Сели вокруг преддиванного стола. От генерала веяло здоровьем и оптимизмом, — закрученные усы, раздвоенная бородка, подвижные брови на низеньком лбу, каштановый ежик волос, расстегнутая гимнастерка («извиняюсь, господа, разрешите так остаться»), мягкие генерал-майорские погоны и короткие крепкие ляжки ёрника... Он сразу овладел настроением. Предложил чудные папиросы:

— Табак настоящий довоенный Месаксуди... Один тип под видом казенного медицинского груза ухитрился вывезти из Петрограда полвагона этого табаку и загнал его к нам во время наступления... Гений, честное слово... Вот это... (Хлопнул по валяющейся на плюшевом диване папке с бумагами). Одни его предложения, проекты... Тут и колбаса для Петрограда, дрова и картошка, и полсотни американских аэропланов, и постройка узкоколейки до Гатчины, в шесть недель... А? Как он умудряется ставить такие цены — на тридцать процентов дешевле, поражаюсь... А еще говорят — в наше время нет патриотов...

Хаджет Лаше высказал, что действительно, патриотов гораздо больше, чем это кажется, по той причине, что истинный патриот не шумит и не кричит в разных совещаниях, но делает свое скромное и незаметное дело... Пусть при этом что-то положит в карман, малую круп-

цу, — нужен же какой-нибудь материальный «стимул», кроме голой идеи. Правда?

— Стимул! Совершенно верно, полковник...

— Мы же тоже люди, ваше превосходительство...

— Совершенно верно, полковник...

Чисто одетый денщик, в новых сапожищах, работая под придурковатого, принес кофе, раскупорила коньяк. Генерал Янов, указывая на его припомаженный зуб, вздернутый нос, часто мигающие русые ресницы:

— Вот — рожа расейская, решето не покроешь, а поговорите с ним. Ну-ка, Вдовченко... При покойном государе-императоре хорошо жилось тебе?

Вдовченко — руки по швам, нос кверху, оловянные глаза в генерала:

— Так точно, ваше превосходительство...

— А почему? Об'ясни толково.

— Так что — страх имел, ваше превосходительство.

— Молодец... (Лаше многозначительно переглянулся с членами Лиги, все одобрительно покивали)... Ну, а скажи, — ты, милостью революции освобожденный народ, — что ты сделаешь в первую голову, когда с оружием в руках войдешь в Петроград?

— Не могу знать, ваше превосходительство...

— Отвечай, болван...

— Так что — стану колоть и рубить большевиков, жидов, кадетов и всех антилихентов...

Генерал карикатурно развел руками:

— Пасую, господа... Что я буду делать с этим народом! Слушай, Вдовченко, троглодит, ну, а что бы тут сидели наши министры — Маргульес, или Горн, — и ты бы им брякнул... Заели бы меня, болван! (Открыл крепкие, как собачья кость, зубы, захохотал, мотаясь по дивану). Живьем бы с'ели... Сгинь, пердила деревенская... (Денщик повернулся в полоборота, по-лошадиному тоная, вышел)... Да, господа. Беда с нашими либералами... Мечтатели, российские интеллигенты... Реальной жизни знать не хотят... Кофейку, господа, коньячку...

Хаджет Лаше говорил за коньячком:

— Либерализм как оппозиция — залог кредита... У нас в России часто не понимают, что политическое приличие дороже искренности. Мы еще варвары, простите за словечко, генерал...

— Пожалуйста, пожалуйста, дорогой...

— наших друзей-союзников не нужно заставлять морщиться от неловкости. Господа, тот же Клемансо, Ллойд-Джордж, Черчилль покидают же когда-то деловой кабинет и садятся за обеденный стол с изящными женщинами. Не будем пачкать этим людям их вечерних сорочек... Либеральные министры, Моргульесы и Горны — это тот маленький комфорт, которого у нас вежливо просят, и поверьте, дорогой генерал, эти мелочи приносят иногда больше выгод, чем какие-нибудь военные успехи...

Генерал Янов, неподвижно выкатив бутылочные глаза, с удивлением слушал полковника Лаше. Чорт его возьми, — европеец! Потянулся за рюмкой, выпив, покрутил головой:

— Да... Политика... Извольте видеть, нам из Парижа Савинкова навязывают. Социалист, бомбометатель. Нет уж, пардон... Может быть, я чего-то не понимаю, но, ей богу, повешу... Да и вообще... (Чтобы не брякнуть лишнего, хлопнул еще рюмку)... Так что же вас привело, господа, в нашу чухонскую дыру?

Шведский офицер Иоган Гензен, похожий на гигантского младенца, и датский коммерсант Вольдемара Ларсен (человек в коричневом костюме, с дряблым животом и маленькой востроносой головой) не понимали по-русски, с достоинством терпеливо улыбались, попивая из рюмочек, воспитанно отставляли мизинец. Хаджет Лаше перешел к делу, широким жестом указал на скандинавов:

— Дорогой генерал, перед вами потомки тех самых древних варягов, которым русские когда-то сказали: «Земля наша велика и обильна, но порядка не имам»... (Он перевел эти слова по-датски. Все рассмеялись, чокнулись). Ходатайствую за них в интересах Лиги, дорогой генерал. Гензен и Ларсен — наши активные сотрудники, горячо любят Россию и в данном случае руководятся более идейными соображениями, чем личной выгодой... Но, — несовершенство человеческой природы, — одними свет-

лыми идеями живота не набьешь... (Опять добродушный, счастливый смех. Выпили). Конкретно предложения таковы: лейтенант Иоган Гензен интересуется псковским и гдовским льном.

— Ага, — сказал генерал Янов, — представляю.

— Лейтенант Гензен хотел бы оформить концессию на вывоз льна и куда-ли не из вторых рук — от эстонских скупщиков, а непосредственно от русского интендантства. Условия чрезвычайно выгодные, — с валовой выручки десять процентов интендантству. И обязательство: при заключении договора поставить в Северо-Западную армию четыре тысячи добровольцев, лучших стрелков Швеции, коим по окончании войны российское правительство предоставит свободные земли для поселения.

Генерал Янов настороженно стучал ногтями по столу:

— Счастливая идея, есть о чем подумать...

— Второе касается моего друга, русского фанатика Вольдемара Ларсена. (Маленькая голова, острый нос, платиновые пломбы закивали дружелюбно)... Предложение его таково: концессионный договор на двадцать пять лет на сдачу господину Ларсену петроградского городского хозяйства — водопровода, трамвая, электротока и телефона. В день взятия Петрограда Ларсен вносит первый денежный аванс. Но, идя навстречу нуждам армии, он готов теперь же поставить интендантству тысячу тонн вареной колбасы лучшего качества, с уплатой половину в русских и половину в финских деньгах... Вот в общих чертах... И тот и другой считают, что, минуя министерство снабжения, непосредственно с вами они короче идут к цели... Тем более, что личные дружеские отношения, связывающие нас за этим уютным столом, уничтожают всякий элемент недоверия или шепетильности. Господа Ларсен и Гензен были бы в восторге скрепить дружбу вещественными узами...

Отвыкший от европейских форм разговора, генерал Янов испытал душевное напряжение, глаза налились кровью:

— Я доложу главнокомандующему... Он озабочен, надо вам сказать, вопросом пополнения особого безотчетного секретного фонда...

— Ну, да, да, суммы на контрразведку и так далее...

— Именно... Скажите этим господам откровенно, так сказать, в данном случае желательнее, чтобы пополнили секретный фонд исключительно американской или английской валютой... Мы, так сказать, договоримся, я, так сказать, приму без росписки, и договоры оформим... Генерал Юденич так именно и выскажется, я уверен... (Отдулся, вытащив шелковый платок, провел по усам и уже облегченно гаркнул)... Эй, Вдовченко! (Денщик вскочил)... Слетай в буфет, — две бутылки шампанского и миндального печенья...

Вернувшись в составе всей миссии к себе в номер, Хаджет Лаше потребовал минеральной воды и некоторое время сосредоточенно ходил (в мягких кавказских сапожках), стиснув за спиной руки. Остальные члены миссии сидели.

— Ваше дело со льном, петроградской концессией и колбасой — на колесах... Мошенику Янову сунуть пятьсот долларов, Юденичу — тысячи полторы... (Вольдемар Ларсен тяжело вздохнул). Но с кредитами для Лиги — хуже, да — хуже... Мне не понравился главнокомандующий, — мелочный человек, глупый, ленивый хохол... Генеральша за ширмой воняет керосинкой. На Кавказе этот орел большую валюту зажал на курдских землях, и врет, большевики у него ни крошки не взяли... Информация о царских сокровищах произвела на него некоторое впечатление, но едва я упомянул о двадцати пяти тысячах крон, генерал упал духом... Широты — нуль... Говорю, генерал, одно ваше движение помощи, и я приношу вам на блюде полмиллиарда... Жмется, старый петардщик... Удалось его несколько взять на испуг...

Иоган Гензен (с ямочками на розово пухлых щеках) произнес презрительно:

— Псст... (Вложил в рот сигару, дым — к потолку, и, снова вынув сигару, уже удивленнее). Псст!

Вольдемар Ларсен, обладавший умом болес острым, заметил осторожно:

— Быть может, у господина главнокомандующего более достоверные сведения о местонахождении сокровищ царской короны?

Лаше круто остановился, бешено (забагровев мясистым носом) взглянул на Ларсена:

— Прикажете понимать, как недоверие к оперативному отделу Лиги?

— Сохрани меня бог — недоверие, нет... (Острый и длинный нос Ларсена с добродушием андерсеновских сказок поднялся навстречу прожигающему взгляду Лаше)... Колбаса для армии и права на петроградскую концессию — это уже пахнет деньгами, господин полковник... Но царские сокровища еще не пахнут, — позвольте себе именно так понять мою мысль...

— Пусть царские сокровища не существуют, — Лига существует, и принадлежность к Лиге накладывает на вас суровые обязательства...

Как от доброй шутки нос Вольдемара Ларсена свернулся слегка на сторону, собрались добродушные морщинки на висках. Александр Левант (обычно молчавший в присутствии Лаше) сказал жестко:

— Мы не настаиваем, чтобы именно вы получили концессию на петроградское городское хозяйство. Нам известно состояние ваших счетов, — вам едва хватило денег на закупку тухлой колбасы. Права на концессию беру я...

Хаджет Лаше, раздвинув ноги, руки — в карманах, вывороченными губами прямо в лицо Вольдемару Ларсену:

— Лига сквозь пальцы смотрела на ваши спекуляции... Вы не желаете нам доверять, повидимому, слишком спешите отделаться от нас... Мы тоже будем осторожны, господин Вольдемар Ларсен... Мы не позволим вам подписать запродажную на колбасу (что составит миллион двести тысяч юденичевских рублей), покуда не выполните первого параграфа устава: вы внесете в кассу Лиги двадцать процентов — двести сорок тысяч... Или финны вышвырнут вашу тухлятину в море...

Тогда Вольдемар Ларсен сдался — ушел в кресло, выставив дряблый живот, как окопное сооружение, прикрыл веки. Он никак не думал, что этим бандитам, Леванту и Лаше, известно его тяжелое дело с колбасой: два месяца тому назад он закупил колбасу у американской комиссии Гувера (панической распахивающей по Европе свиные изде-

лия — заготовки мировой войны). Колбаса, действительно, так воняла, что санитарный осмотр в Бергене приказал товар сжечь. Пришлось истратиться на погрузку и фрахт, и сейчас парусник с колбасой болтался на якоре в Гельсингфорском порту.

— Я плачу десять процентов при подписании запродажной с северо-западным правительством и десять процентов при сдаче колбасы, — слабо сказал Ларсен. — Это все, что я могу... Но концессия, за мной, господа, на этом я буду настаивать...

Левант и Лаше переглянулись. Согласились. Разговор снова принял дружественный оборот. В семь часов Левант и Лаше пошли — этажем выше — в номер министра юстиции Кедрина для свидания (по третьему чрезвычайному делу) с премьером Лианозовым.

Принадлежность к левому крылу правительства обязывала много и хорошо говорить. Министры северо-западного правительства собирались в чьем-нибудь номере, пили чай с печеньем, выкуривали по сто пятьдесят папирос каждый (в день) и говорили о метафизических проблемах, поставленных историей перед многострадальной Россией и перед цветом и мозгом страны — русской интеллигенцией. Практическая сторона деятельности интересовала их меньше, потому что территория для приложения великих идей конституционной свободы была мала, и народ на этой территории (псковские и гдовские мужики) — невежественный, звероподобный и даже неграмотный и потому еще, что главнокомандующий и вся военщина не допускали штатских либералов до практической деятельности («было ваше сволочное времячко, книжники слюнявые, шляпы, был ваш царь — Сашка Керенский, — дюжины большевиков не смогли повесить»).

Англичане, американцы, французы относились к министрам симпатично, оказывали знаки внимания (консервы, табак, одежда, напитки), но в практических вопросах предпочитали иметь дело с Юденичем и его штабом. Министры надеялись на одно, — что окончится же когда-нибудь власть грубой силы, и солнце гуманности и свободы (как на

«думской» тысячерублевке) взойдет над куполом учредительного собрания... (О, лакированные темнокоричневые трибуны в Колонном зале Таврического дворца, — блеск речей и водопады оваций!.. о, кулуары, — веселая и остроумная политическая болтовня, журналисты, фотографии и элегантные женщины! О, собственные автомобили, уносящие избранных народа по широкому петроградским улицам среди счастливых, свободных и зажиточных обывателей)...

В чрезвычайно удушливом воздухе (пепельницы были полны, окурки бросались за спину на пол) пять министров, сидя в красных плюшевых креслах вокруг овального стола, слушали Кедрина. Он был невелик ростом и, находясь на низеньком диванчике, подвертывал под себя ногу. На нем были теплые светлые брюки и по-стариковски просторный старомодный сюртук, — бледное, как жеваная бумага, заросшее седойной лицо, растрепанные белые волосы, глаза, воспаленные от бессонницы и никотина, — как щелки в опухших веках. Несмотря на грудную жабу и бронхитное покашливание, душа его была порывиста и неутомима. Министры (у стола, обсыпанного пеплом) устало, через силу внимали ему. Кедрин говорил:

— ... Мережковский дает только два составных силлогизма, два бедра великого треугольника, две разлетающиеся в бесконечность линии — Христос и Антихрист... Но здесь он останавливается в чудовищном вопросе, — третьим бедром он не покрывает треугольника. Он только вопрошает. Мережковский, это — все безумие вопроса, это мы — русская интеллигенция до семнадцатого года... Славянофильство и западничество... Деревня и фабричный город... Европа и Азия... до девяносто семнадцатого мы чувствовали только (именно в нас, в народе, в русской интеллигенции) присутствие исторической обреченности, мессианство... Да, мы называли Россию мессианской. И недаром Рудольф Штейнер весной четырнадцатого года в Гельсингфорсе говорил о роковой обреченности России спасти мир, спасти своим телом и кровью... Господа, теперь мы знаем эту третью составную силлогизма, мы замыкаем равнобедрен-

ный треугольник. Это третье — мировой большевизм, в демонических безднах которого рождается спасение мира, — священное белое движение. Его символ — солнечные латы Георгия-Победоносца, под копытами белого коня — змей — антихрист — большевизм и за плечами — кровавый плащ, победно взвитый над бурей революции...

(Передышка. Бронхитное покашливание. Звон чайных ложечек и гипертрофированные клубы табачного дыма).

— Я цитирую это по замечательной книге Николая Александровича Бердяева. Я положил бы эту книгу в ранец каждого белого солдата. Большевики идут в бой, распевая «Интернационал» и веря в социализм... Мы должны противопоставить свою идею, — понятную массам, идею Георгия-Победоносца (то есть русского народа), идею белого посланца, поражающего в мире антихриста... Я слышу, господа, иронические голоса: мы владеем пока только двумя уездами России, мы еще собираемся итти на Петроград, у нас, представителей русской культуры, нет реальной силы для такой даже мелочи, чтобы предать суду прохвоста Булак-Балаховича за превышение власти и художества сольным, мы машем кулаками по воздуху, нас едва терпят, в день взятия Петрограда генерал Юденич попытается вздернуть нас на трамвайных столбах... Все это так... Но тем не менее, или, если хотите, тем более положение обязывает нас ставить вопросы мирового порядка...

(Вытащил из-под себя затекшую ногу, живо подsunул другую. Бумажное лицо, не розовея от умственного возбуждения, только сильнее лоснилось. Душа в этом хилом теле, заключенном в пыльный черный сюртук, выбрасывала фейерверки мыслей.

— Мы должны создать и возглавить международную комиссию по изучению в теории и на практике большевистской доктрины и ее практического применения. Ходячее понимание большевиков, как шайки уголовных преступников (а такое отношение к ним — особенно ходовое в Европе и, к сожалению, в белых армиях, нужно решительно отвергнуть, это — одна из провокаций самих большевиков: они усыпляют бдительность, они хотят незаметно подкрасться, чтобы вне-

запно встать во весь антихристов рост... Да, мы имеем дело с антихристианством и антикультурой. Задачи комиссии: первая — изучить большевизм исторически, изыскать его корни в научных и метафизических работах социальных мыслителей... Лично я ставлю под подозрение основной источник, — Жан Жака Руссо. Пусть молодая буржуазия эпохи Великой французской революции подняла на острие копья вместе с фригийским колпаком его «Общественный договор», Руссо — это бунт духовного варвара против восемнадцати веков христианской цивилизации. Книги Руссо налиты кровью робеспьеровского террора. И в момент, когда победившая буржуазия уже за ненадобностью отшвыривает Руссо, он получает настоящую расшифровку в явлении стропоцентного большевика Бабефа... Фурье, Сен-Симон, весь ряд утопистов, — та же тенденция выключиться от гуманизма. Вторая: комиссия должна собрать исчерпывающий объективный матерьял о большевиках, добытый следственными властями и судебными приговорами. Для этого — третья: комиссия должна подготовить со всей широтой сеть уголовных судов с привлечением в прокуратуру иностранных специалистов, для мирового судебного процесса над большевиками... Таковы, господа, задачи, стоящие перед нами. Исполнив их, мы создадим чрезвычайные профилактические меры против большевизма не только в России, но и на пространстве всего мира, мы откроем, — и мы призваны к этому, — откроем глаза близоруким европейским политикам на величайшую, когда-либо грозившую миру опасность, на змия, нашептывающего пролетариату сладкую ложь о невозможном: о справедливости и равенстве; на змия, которого раздавят только мистические копыта белого коня...

Когда в номере появились Хаджет Лаше и Левант, утомленные министры договаривали последние фразы критического разбора этой замечательной речи. Лианозов (предупрежденный о визите) тотчас встал из-за стола и отошел с Хаджет Лаше и Левантом к окну. Это был маленький, утомленный чело-

век с бородкой цвета высохшей степной травы и редкими волосами на подбородок.

Подслеповатыми глазами он без любопытства поглядел на полнокровного, улыбающегося с открытой честностью Лаше, на костлявые скулы, сломанный нос и скрытое выражение какого-то бандитского мрака на лице Леванта...

— Я слушаю вас, господа...

Хаджет Лаше, берега драгоценное время министра, в сжатой форме (вполголоса) изложил свою точку зрения на мировую борьбу американской компании «Стандарт ойл» и английского нефтяного концерна Детердинга. Он откровенно признался, что в этой борьбе он, — «как это ни странно звучит», — является агентом Детердинга, «не в буквальном конечно смысле»... (Лианозов устало покивал, выражая этим, что понял, в каком смысле)... Как уроженец горячо им любимого Кавказа, как председатель Лиги по восстановлению Российской империи и как русский патриот Хаджет Лаше решительно стоял на стороне Англии. Одни англичане способны смертельной хваткой взять большевиков за горло. Но для этого английские интересы нужно прочно увязать в российском болоте. Отсюда — прямой ход к поддержке Детердинга залежами русской нефти. Детердинг сейчас платит громадные деньги за нефтяные участки. Но гражданская война превратна. Кто поручится, что большевики, хотя бы на короткое время, снова не захватят Баку и Грозный; что верховный правитель Колчак не представит американцам каких-либо исключительных концессий; что под давлением революционных масс не осуществится эта проклятая конференция на Принцевых островах, где Америка, отгороженная океаном от красной заразы, несомненно легко договорится с большевиками о нефти?..

Затем Хаджет Лаше передал слово Леванту, и тот подробно рассказал о свидании с Детердингом в Лондоне, о продаже Чермоевым и Монташевым нефтяных земель по довоенной стоимости и показал письмо к нему Детердинга, где глава концерна «Рояль дейч шелл» благодарил Леванта за содействие, удивлялся его бескорыстию, просил передать поклон Хаджет Лаше и два раза вскользь упоминал имя Лиано-

зова. (Письмо было одной из первокласснейших работ Эттингера).

— Итак, что же вы от меня хотите, господа? — без энтузиазма спросил Лианозов.

— Ничего, господин министр... (Лаше поклонился весело, честно, с кунзюковой улыбкой, положил руку на кинжал)... Если вы убеждены, мы исполнили долг перед родиной... А если не убедились, мы еще будем убеждать, покуда не убедим...

Он шумно, по-кавказски, рассмеялся. Лианозов, потирая на виске мигрень, сказал тихим голосом:

— Хорошо, я серьезно подумаю над вашим предложением. Зайдите ко мне в номер после полуночи, но не слишком поздно...

В десятом часу вечера Лаше и Леванту удалось наконец спокойно пообедать (вдвоем, в тихом ресторанчике). Закурив сигару, Лаше черепаховой зубочисткой на скатерти стал подводить итог:

...за шесть месяцев (организация Лиги, наем помещений, раз езды, представительство и прочее) истрачено Лаше тысячу двести английских фунтов (с мелочью). Александром Левантом во Франции (считая долги Налымова, туалеты для дам, дачу в Севре, раз'езды, представительство и прочее) — шестьдесят тысяч франков. Общий пассив, переводя на доллары, — девять тысяч долларов. Поступлений за это время в общую кассу — нуль.

Еще раз подсчитали. Минут пять дымили сигарами. Левант, закрутив головой:

— Да...

Хаджет Лаше, высокомерно:

— Что да?

— Треску много, а...

— Что а?

— Нет, что ж, тебе конечно виднее... Твои в конце концов деньги, Магомет...

Затем Хаджет Лаше подвел должествующий поступить актив: 150 тысяч франков от графа де-Мерси (на приобретение «Скандинавского листка»), 25 тысяч крон от американского атташе, 25 тысяч крон от Юденича, 100 тысяч франков от Чермоева и Монташева,

240 тысяч рублей («крылаток») от Вольдемара Ларсена и минимум 200 тысяч франков от Лианозова.

— Может быть, Лианозова пока не будем считать?—скромно спросил Левант.

— Это такие же верные деньги, как все остальное.

Лаше кусал зубочистку. Левант, часто моргая, всматривался в цифры, нацарапанные на скатерти:

— Магомет, ты не думаешь, было бы выгоднее, если бы, как я тебе говорил, мы занялись просто спекуляцией? Хотя бы с той же американской свининой... Ларсен буквально червей сбывает, и — свежие деньги... Политика, знаешь, далеко не верная игра.

— Не раз повторял тебе, Александр, ты — мелкий жучок, в тине трешься, жаба... отвыкни от этого... Спекуляция! Плевал я на твои проценты, разницы, накладные... Я швырнул девять тысяч и еще швырну и возьму миллионы... Я возьму власть, славу. Я жил эти шесть месяцев, живу полной жизнью... Отойду от дел и буду писать мировую книгу...

Обычно, когда разговор между ними доходил до «мировой книги» («Париж, мансарда, святое искусство»). Левант умолкал с некоторым страхом. На этот раз решился возразить:

— Я тебя понимаю, Магомет... Но ведь пока миллионы, это — сон... Даже за все эти цифры (указал на скатерть) за этот актив самый неосторожный человек не даст и десяти процентов наличными.

— Ты — ишак.

(Помолчали. Лаше постучал перстнем, спросил бутылку шампанского).

— Плохо, Александр, когда у человека нет фантазии... Морган и Вандербильд, откуда их миллиарды? Плоды мощной фантазии. Эти люди призвали миллиарды, как Фауст сатану в магический круг. Точно так же я выдумал царские сокровища.

— Магомет, ты их выдумал? Ай, я так и знал! (У Леванта отхлынула краска с лица, белые косточки проступили на носу)... На что же ты рассчитываешь? Безумец!

— Я их выдумал, я их возьму... Полмиллиарда, сам понимаешь, — арапская цифра, шапка Мономаха, скипетр и корона — это все для американцев, фран-

цузов, Юденича и для нашей шпаны из Лиги... Но миллиона три-четыре долларов я возьму. Они ждут меня в Стокгольме... (Левант передохнул, с тоской и надеждой глядел на друга). Ты спрашиваешь, ишак, что мной сделано за эти шесть месяцев, куда я угрожал деньги? А вот что сделано: военные миссии великих держав, президенты и премьеры, все контрразведки, нефтяные короли и магнаты тяжелой индустрии, биржи и спекулянты военными стоками — все они заинтересованы теперь в том, чтобы полковник Магомет-бек Хаджет Лаше, хотя бы нарушая все правила благопристойности, взял эти деньги. Сама полиция поможет мне превратить уголовный грабёж в акт священной борьбы за цивилизацию, и ни один болван не посмеет спросить у меня отчета в деньгах. Вот что сделал Хаджет Лаше, — я поставил кверху ногами все их моральные незыблемости. Простой логикой, друг мой Александр. Великолепнейший сюжет для мировой книги...

— Ты сходишь с ума, Магомет...

— Я играю за «золотым столом» в игру, в которую играют сегодня... Жучки, мелкая рыбка пачкаются на биржевой разнице, заработав сто долларов, бегут покупать перстни в четыре карата и лакированные ботинки. Я играю за столом с королями, президентами и начальниками контрразведки. А! Будь у меня капитал! Самому Моргану втер бы козыря с восемью нулями!

— Магомет, Магомет, ты сломишь шею...

Хаджет Лаше надменно усмехнулся. Спросил вторую бутылку шампанского. Черные глаза его нестерпимо горели, Опытный лакей, не так поняв его возбуждение, наклонился из-за его плеча и шопотом предложил девочек. Лаше послал его к черту.

— Ни на один градус я не более сумасшедший, чем Жорж Клемансо, президент Вильсон, или создатель вертикальных концернов Гуго Стинес, или на выбор любой европеец после войны... Я современен, я впечатлителен, я кровью понял, что такое темп... Вся гуманитарная, моральная бюргерская, благопристойная бурда выметена начисто с пятнадцатью миллионами трупов... Царь

жизни — темп! Ты прав, может быть, я смахиваю иногда на сумасшедшего, при всем прочем я еще и артист, Александр... Ты представляешь, я плохо сплю последние ночи. Меня утомило однообразие человеческой глупости — все это дураченье дураков, нескончаемые заседания... Потребность в более острых ощущениях... Ты понял меня, Александр?.. Послезавтра в Стокгольм... Я приступаю к делу... (Взглянул на Леванта, рассмеялся)... Не бойся, ты-то будешь кушать свою кефаль в Париже, ты мне не нужен...

37

Дом в Баль Станесе был приведен в порядок (распоряжалась всем Вера Юрьева), — принципиально все вымыто и вычищено, в столовой — ковры, на лампах — красивые абажуры, в вазах — охапка осенних цветов. Обычно под утро из Стокгольма (из Гранд-отеля) на машине возвращалась Мари, усталая, обевшаяся котлетами и соусами за столиками гостей. Выступала она в русском репертуаре с некоторым даже успехом. Часто ей было лень снимать грим и переодеваться, и она садилась в столовой (над столом — мягкий свет абажура, за длинным окном — зеленоватый холод осенней зари), полуголая, с обсыпавшейся пудрой на розовых плечах, в шансонеточном платье, залитом вином и сверкающем чешуей фольги и стекляшек. За этими передрасветными ужинами все четверо дули шампанское покуда хватало сил, но без прежних откровенных бесед, даже без слез, без шуточек Нальимова, — не то что в незабываемом Севре... «Все-таки, там было чудно, девочки! Помните, июль, цвели липы, золотые ленивые дни... Пчелы... Овернские песенки Нинет Барбош из кухонного окна. Бархатные, влажные ночи...»

Лили засыпала, уронив растрепанную голову на стол. Мари в шансонеточном платье засыпала на диване. Вера Юрьевна, пошатываясь, брела на лужайку, где уже высокое солнце пригрело копну сена, валилась в него и дремала в странных видениях, рожденных из пузырьков шампанского. Нальимова находили мертвецки пьяного в самых неожиданных местах.

Перед обедом купались в холодном озере. Молча, мрачно обедали, опохме-

ляясь водочкой. Под вечер Мари уезжала в кафешантан. Через день (в полуденное время) уезжала в Стокгольм и мадам Лили, — по требованию Хаджет Лаше она дала об'явление при гостинице Гранд-отель об уроках французского и английского, требований покуда не поступало, но определенные часы приходилось отсиживать в холле гостиницы, сдерживая зевоту над иллюстрированными журналами.

Всего тяжелее были пустые (и трезвые) часы, когда Вера Юрьевна и Нальимов оставались одни в Баль Станесе. Василий Алексеевич старался держаться в сторонке, — то одиноко покуривал на крылечке, то возился с футбольным мячом, трусил за ним (без пиджака) пропитой рысцой на поляне. («Бросили бы вы мячик, сели бы куда-нибудь, чем сердце трепать, в глазах мелькаете» — говорила из копны Вера Юрьевна). Однажды она долго наблюдала, — он сидел с удочкой на берегу, в Лилькиной широкополой соломенной шляпе, как мертвый, только синел дымок папиросы. Вера Юрьевна подошла, посмотрела на поплавок, на консервную жестянку с червями, в лицо Василию Алексеевичу (от солнца ли, от водки кожа лупилась, и выцветшие, какие-то собачьи глазки), пожалала плечами: «Шут гороховый, право...» Еще пожалала плечами, ушла.

Но все это он проделывал так, будто искося наблюдал за Верой Юрьевной. Они мало разговаривали, только о мелочах. Здесь между ними не было близости. Вера Юрьевна и подумать не могла бы теперь притти ночью «выкурить папироску в его постели» (как в Севре в первые недели), повздыхать, согретая лаской, пожаловаться, поплакать в его подушку. Тогда он был беззаботным, веселым, чудным товарищем (как сказала мадам Мари) — «луч солнышка в нашем заведении».

В Баль Станесе все это осложнилось. Нагромоздились чувства, не выразимые словами. Не будь его здесь, половина тяжести свалилась бы с Веры Юрьевны. Но то, что он остался, наполняло ее почти-что восторгом, мрачным и жгучим. В тот же первый день приезда она рассказала ему в подробностях константинопольские похождения и даже то.



что припомнил ей Хаджет Лаше. На Василия Алексеевича рассказ как будто не произвел впечатления: «Твой жизненный опыт, Вера Юрьевна, так это и запиши». Но после разговора он совсем бросил привычку хихикать и разводить «философишку инфузории». В нем впервые появилась внимательная нежность, особая осторожность, как к чему-то, что выше меры переполнено и хрупко.

Иногда ей приходила дикая мысль (почему в сущности дикая?), неужели он не может (если любит) придумать какой-нибудь план спасения, вытащить ее и себя из предсмертного мрака? Должен же он получить деньги от Чермоева и Монташева, значит все в том, чтобы бесследно скрыться от Хаджет Лаше, от полиции, от русских, от всего прошлого... Что ему мешает? Легкомыслие, безволие, тупость? «Шут гороховый...» Вон с папироской, руки в карманах, стоит, щурится на ленивою тряпкой летящую ворону. Огромная злоба подливала к сердцу Веры Юрьевны. Сердце свирепо сжималось, злой клубок в горле... Чтобы не видеть уж ничего, закрывала локтем глаза. Но понемногу отходила в тишине над скошенным лугом, над желтеющим лесом, над прозрачным озером... нет, он прав, конечно, — никуда не уйти, да и зачем? Кур что ли разводить на Соломоновых островах!.. Странно, о какой бы жизни ни подумала она (предположим — убежали отсюда, скрылись, замели следы, деньги есть, все есть), что бы то ни представила, все вызывало в ней омерзение. Совсем как мечты пошлячки Лильки о тихом счастье в Таганроге с чистым юношей, с козой и подсолнухами за окошком... Медленно снимала руку с глаз. Вася торопливо отворачивался («неужели он все понимает, все чувствует?») и опять глядел куда-то шутом гороховым.

Однажды позвала его присесть рядом на копне. Обхватив руками колено, морщила губы усмешкой:

— Вася, ты перетерпи немножко, я только свои соображения выскажу и отпущу... Я все время думаю о тебе, — ты загадочный человек. Скажи, ради бога, на что ты надеешься? Неужели только так — пиццеварить, выпивать, целовать

ся и — в могилу? Ведь что-то не так... Я не про себя говорю, про тебя... А уж я за тобой, как смятая газета в пыли за автомобилем, помчалась бы наверно... Понимаешь, у тебя вихря нет, у тебя хода нет... Ну, почему? Только ты говори по-настоящему, без дешевки. Ты меня измучил, Вася... В Константинополе в публичном доме, в номере у Лаше после убийства, в Париже с Левантом, когда он меня, мерзавец, на улице посылал... (да, да, это тоже было, — сидели без денег месяца за три до Севра)... во мне была сила жить, несмотря ни на что... А теперь я передалась тебе... Вася, не сердись, не могу представить... человек, которого любишь, этот человек больше всего мира. В нем все... А ты хочешь уверить, что ты — чучело на огороде, машешь рукавами... Врешь, не понимаю зачем... (покусав губы, сдержала вот-вот готовую прилить злобу). У тебя должна быть идея... Зачем прикидываешься шутом гороховым, — от лени, от мерзости, с ума сойду, не пойму... Презираю философишку, — разводил бобы перед Лилькой с Машкой, — мол, отечества у него нет, мол, он в обезьяньем царстве, позади — пепел, мундир растоптан в грязи... Сволочь ты... (Побелевшим кулачком заколотила себя по колену)... Должен сейчас ответить, на что ты надеешься? Почему ты жив? И от этого твоего ответа я буду жить или я не буду жить...

В первый раз во всю бытность Василий Алексеевич ответил важно, тихо, почти заикаясь. (Нельзя было иначе).

— Мои достоинства, то-есть одно достоинство — то, что я тебя в самую глубь понимаю и всей тобой чрезвычайно восхищаюсь... Вот объяснение, почему решил (не то, что решил, а просто не мог иначе) разделить с тобой все, до конца... Так, это — одно... Каждый человек носит в себе спектакль, пошлый, маленький или трагический, величественный... Твой спектакль, Вера, трагический спектакль, закончен, разучен, актеры на местах, вот — взвывается занавес... Но зрительный зал пуст. Трагедии играть не перед кем... Один я торчу где-то в девятнадцатом ряду кресел по контрамарке... Мир, — я не знаю нового, возникающего, того, откуда мы

родом, не знаю и страшусь, но мир, где сейчас живем, пресытился зрелищами... Чего уж шикажнее, — на сцене осталось пятнадцать миллионов трупов, всамомделишных, не бутафорских... Мир вернулся к обезьяньему царству, — гримасничать и кривляться, таскать с дерева жизни кисло-сладенькие минутки. Я прав. Шекспир им не нужен, Шекспир написан на человеческом языке... А мой маленький водевильчик? Разве что перед Лилькой и Веркой по пьяному делу разыгрывать для смеха... Ужасно, Вера, что друга в эти года ты отыскала себе такого, как я... Я предупреждал, — не выдумывай меня. Ты продолжаешь награждать меня своим избытком... и гневаешься, почему я пальцем не пошевелю вытащить тебя из этого ужаса... Не могу и не знаю, зачем это делать... Куда бы ты ни убежала, хоть на Соломоновы острова, ты — уголовная преступница, девка с желтым паспортом и ко всему чрезвычайно опасная, потому что всегда готова перейти через страх виселицы и потащить за собой хозяина, кто тебя нанял, кто тобой владеет... Бешеное животное, вот кто ты. Спасти тебя? Дурочка. Тебе же самой не нужно спасение.

Вера Юрьевна слушала спокойно, кивала иногда, соглашаясь. Лицо ясное, даже улыбочка блуждала на бледных (не тронутых карандашом) губах.

— Теперь договаривай главное, — сказала после молчания.

— У уже повторял, Вера Юрьевна, не имею права не только научить, но и намекнуть о главном не имею права. Не мне вмешиваться в такой спектакль. Сама, сама, не надеясь ни на кого, пойми, реши и так поступи...

— Ты не о смерти ведь говоришь? (У нее чуть дрогнул голос).

— Нет, не о смерти. О такой пакости не стоило бы и говорить много. Нет, я не хочу, чтобы ты умирала, любовь моя. Можно жить и не умереть. Все зависит от установки. Если в твоей жизни поставлена мертвая точка, твоя могила, — вся жизнь и кружится вокруг могилы.. в ужасе косится каждую минуту, как водоворот жизни все ближе и ближе несет туда — к черной дыре.. Чорт знает, какое бессмысленное времяпрепровождение. Это —

обезьянье царство!.. (Едва заметно вздохнул). Но это лишь точка зрения, установка сознания. Можно представить и другую установку... Участвовать в бесконечно движущемся мире творчества. Смерть? — ну, гибель земли, столкновение с неведомой планетой, угасание солнца, смерть — в астрономической дали. А эта зловонная гнусность, — твоя могила, — выключена из сознания, из поля зрения, через нее валом валят толпы феноменальных идей, все пленники обезьяньего царства. Человек вышел из тюрьмы, где сто каторжников вертели жернов, чтобы один какой-то чудно ел,пил и веселился, пряча сам от себя неизбежный ужас черной точки. Хорошо, обезьянье царство? Оно сгинет. Человечество расколет гроб. Через трупы тюремщиков и фокстротчиков устремится в новую вселенную. Человек получит свое настоящее призвание. Мозг или желудок? Творчество или пищеварение? Мы — пещерные троглодиты, мы не можем вообразить всей величины счастья, когда человечество поведет великие творческие идеи. Люди будут испытывать неведомые нам восторги... А ты когда-нибудь вдруг споткнешься и, падая, передашь другому факел... Только всего... Смерти нет... Факел летит вперед, вперед, разгорается... А для желудка — хотя бы питательная таблетка, чтобы отвязаться, чорт с ним...

— Сказки, — проговорила Вера Юрьевна, — валяешься бездельником на копне, плетешь сказки... Ты предложи-ка мне что-нибудь реальное.

— Сказки? А ты поверь. Это — ведь также все от установки. Поверь, начини приглядываться, — гроб-то трещит, обезьянье царство шатается. Ты видела только фокстротчиков, а тех, кто в подземельях, ты их видала, ты их знаешь? Я был в подземельях, помнишь, работал одно время в сточных каналах под Парижем... Ох, какие люди, какие намерения! Сказки оказываются на яву, да такие, что не придумаешь. Мое несчастье, Вера Юрьевна, я — спившийся барин, я — наблюдатель, я — со стороны, спектакль мой маленький... Ты — другое дело. И тебе возможно унести самое себя совсем из обезьяньего царства.

— Не понимаю, ты про что?

Василий Алексеевич медленно кинул красным, припухшим лицом куда-то в синюю даль, за озеро. Вера Юрьевна в недоумении взглянула туда, уронив на колени руки, глядела долго. Поняла:

— Ах, вот о чем ты...

— А что, дико?

— Да ты с ума сошел... Вернуться в Россию?

— Такой страны нет больше. Россия, это — мы, неприкаемые, с желтым паспортом... Приведу один факт, ты поймешь, что это не сказки. Третьего дня читаю в «Скандинавском листке»: русская революция отказывается от хлеба из рук классового врага. Революция будет есть хлеб, только добытый без противоречия с принципами классовой борьбы. Если такого хлеба нехватит, то смерть, но не компромисс... Скажи, душа моя, ты видела в обезьяньем царстве человека, который бы нюхал деньги?

— Знаешь... (Вера Юрьевна сморщилась, подвигала лопатками, точно под платье набились колючки из сена)... Я не знаю, что происходит в России... Может быть, огромное, очень страшное и важное... Я-то помню только теплушки со вшами, разбитые вокзалы, опустевшие города, рвотные кабаки, истерических баб, тыловую сволочь, проспиртованную военщину... Другой стороны не видала, не знаю... Революция швырнула меня в помойную яму... Но виню в этом только себя, вот представь это. Лялька с Машкой конечно костят большевиков. Вся моя жинзь с окончания гимназии — проституция, — в гостинной, потом в

публичном доме, потом в бандитской хазе. На революцию смотрю с ужасом, как на гигантское что-то, — громовой, беспощадный голос. Молчу, как жучок в обмороке... Но так растленно болтать, как ты болтаешь, благополучный кот... Ужасно, это ужасно... Там — потоки крови, а ты философствуешь... За это одно бы там тебя расстреляли.

— В два счета, у первого пограничного столба, без сомнения...

— Для чего же все это говорил?

— Потому, Вера Юрьевна, что я только твои мысли высказывал, а мне лично — рюмочка водочки, и на большее не замахиваюсь... А разговор нужен потому, что послезавтра приезжает хозяин из Ревеля, и ты должна быть готовой...

— К чему готовой?

— К поступкам, к решениям...

Она медленно сдвинула брови, все лицо стало ассиметричным, обозначились скулы... Свинцовым обручем сдавило голову... Безобразное, кровавое и неминуемое (для чего и приехала сюда) придвинулось. Больше уже нельзя было жмуриться. Почернел свет над лугом, над озером, над тишиной и раздумьем этих дней.

Налымов, лежа на животе, грызя соломинку, глядел снизу в лицо Веры Юрьевны, глаза ее подернулись пленкой, как у птицы, Побелевшими губами проговорила:

— Дай мне спокойно решить... Еще хоть один день...

*(Продолжение следует)*

## Мих. Рудерман

\*\*\*

Здесь паутиною — дремота,  
На об'явленьях Совторгфлота  
Зеленый,  
Желтый,  
Голубой  
Огни летят наперебой,

И оглушительный салют  
Гудки вокзальные нам шлют!

Зевком приветствуя рассвет,  
Ворчит и злится мой сосед:  
Ворчит и шлет ко всем чертям  
Буран, идущий по путям.

Буран, несущийся сквозь сон  
Речитативом строгих строк.  
«Здесь будет город заложен  
На зло надменному...»

Соседу  
Не спится,  
Он спешит туда,  
Где возникают города.

А ветер замечает след  
Сезонников далеких лет.

Он здесь работал, прадед твой,  
Над растревоженной Невой!

Он строил город, гнил и чах  
В болотных северных ночах.

И хриплый стон его хранит  
Инкрустированный гранит.

Корявый щебень, глину, ил  
Он на горбу своем носил  
И слушал, как царя клянет  
С окраин согнанный народ.

Глухую ругань псковичей  
В болотном сумраке ночей!

А на кострах в густой тиши  
Скрипели яростные вши!

Чтоб скрип придворного пера  
Воспел творение Петра.

Ты просыпаешься, сосед,  
Зевком приветствуя рассвет.

И заонежский говорок  
Речист,  
Задорен  
И высок!

Рассказ идет о том, о сем,  
Какой в колхозе чернозем,

Какая рыжая жарынь  
На кругляках кубанских дынь!

Какой кирпич,  
Какой бетон,  
Какие стекла у окон,

О том, какие тепляки  
Твои построят земляки.  
Чтобы сезонник круглый год  
Не отрывался от работ.

Тебе ль о прадедах тужить,  
Коль надо строить,  
Надо жить!

И в окнах с раннего утра  
Толплятся южные ветра,  
Цветная, шумная орда,  
Перебирая провода,  
Летит за нами вслед туда,  
Где возникают города!

# Люди и факты

1. ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ—Магнитострой. 2. ВСЕВОЛОД ЛЕБЕДЕВ—Санчичеза.

## 1. МАГНИТОСТРОЙ<sup>1)</sup>

О черк

Вяч. Полонский

1

Произошла заминка: аппарат вылетел из Свердловска позже назначенного времени. Запоздал поэтому и наш отлет из Челябинска: мы поднялись в начале девятого. Солнце уже зашло, и воздух стал синим, когда вдали обозначилась гора Магнитная. Около ее подножия слабо мигали огни. На аэродроме горели костры. В сумраке они казались большими желтыми цветами, которые колебал ветер. От игрушечного домика бежали крошечные люди, растягивали на земле какую-то замысловатую холстину, положую на букву Т. Аппарат, снижаясь, вдруг сделал крутой вираж, левый горизонт провалился глубоко вниз, земля справа встала дыбом, и вдруг на повороте сверкнула в глаза широкая россыпь электрических огней. Огней было очень много, большие и помельче, они стояли стеной, собирались кучками, разбегались в стороны, мерцали и мигали, а за ними гладким зеркалом синела какая-то блестящая поверхность; казалось странным, почему она не опрокинется. Аппарат сделал еще поворот, горизонт выровнялся, снизу быстро стала набегать, приближаясь, земля, кто-то махал шапкой, костры кругом прошли мимо, и аппарат на цыпочках запрыгал по полю, по каким-то невидным неровностям.

Магнитогорск, сверкнувший огнями, показался огромным. Что он напомнил? Большой приморский город, когда подъезжаешь ночью с моря. Он влечет мигающими огнями, мерещатся

громадные здания, глубокие улицы, толопливая, незнакомая жизнь.

Утром, выйдя из гостиницы, я был поражен: город исчез. Не было громадных зданий, не было улиц. Но перед глазами была другая сказка. Справа и слева, вдали, на горе, и по склонам, куда я ни бросал взгляд, на много километров во все стороны вздымался густой, стройный, ажурный лес лесов. То, что представлялось улицами, были широкие шоссе, по которым происходило оживленное движение. Спешили автомобили, изредка ползли, густо вздыхая, катерпиллеры, влекущие за собой груженные платформы, торопились люди, иногда скрываясь в облаках пыли, которая в порывах ветра казалась желтым дымом. Где-то, среди лесов, лязгая буферами, передвигались железнодорожные составы, вагонетки со щебнем, платформы с песком, лесом, железом. Плелись плетеные брички, развозившие по стройке техников, производителей работ, служащих с черными лицами, вооруженных громадными «пыльными» очками, придававшими лицу фантастический вид. Шоссе шли по всем направлениям, исчезали в стройке, обрывались у котлованов, где копошились люди с лопатами, и то подымались, то опускались высокие хоботы экскаваторов. Грудами, штабелями в разных местах громоздились то сложенные в порядке, то беспорядочно брошенные железные конструкции, рельсы, арматура, бревна, какие-то трубы, кирпич, песок. Земля изрезана канавами, пересечена дорогами, рельсовыми путями.

Глаз сразу не может разобраться в густом этом лесе. Пейзаж не был однообразным. В одном месте подымались

<sup>1)</sup> Все фото в настоящем очерке фотографа Копеленского (Магнитострой), фото-пластины на 132 стр. «Пресс-клише», зарисовки ударников — художника В. Свароча.

башни, то длинные и тонкие, то приземистые, могучего охвата; в другом, неподалеку, трубы стояли в ряд; от них шла тонкая сетка проводов, канатов, проволоки. Иные постройки вздымались высоко над уровнем и казались прозрачными, другие плотно закрыты чем-то в роде футляров. В некоторых местах клубился дым, в других вздымались черные краны, площадки, хоботы, раздавались свистки, гудение моторов, скрипы — все двигалось, шумело, сновало,—гигантский улей или еще что-то, чему не подберешь сразу подходящего слова. Все казалось так сложно, могуче и многообразно, что у нас возникло опасение: да сможем ли мы в тот небольшой срок, каким располагала наша бригада, разобраться в этой махине, раскинувшейся на десятки квадратных километров и живущей такой деятельной жизнью?

Магнитогорск — один из решающих участков, где происходит настоящая война. В истории нашего времени, которая будет написана, Магнитогорский фронт займет не менее видное место, чем описание боев под Перекопом. В сущности борьба с интервентами и белыми армиями была первым актом кампании. Бои под Магнитогорском, Кузнецком, в Березниках, на Днестре, в Сталинграде и других им подобных местах — продолжение той же борьбы, но другим оружием. Война продолжается. Мы на фронтах пятилетки. Пред нами окопы, где рабочий класс ведет штурм новых командных высот.

Что же представляет собой эта вышка, имя которой Магнитогорск?

Попробуем рассказать по порядку.

## II

Через два года поезда, проходящие мимо, будут останавливаться около большого вокзала «Магнитогорск-город». Пока этого вокзала нет. Нет еще и города: он лишь строится. То, что будет через два года Магнитогорском, сейчас представляет собой кусок степи, изрытый канавами и котлованами, пересеченный дорогами, заваленный кирпичом, лесом, бочками цемента, трубами, железом, оборудованием. Но среди груды материалов и оборудования уже высются первые два ка-

менных четырехэтажных дома и десятка полтора домов, выложенных до второго этажа. В других местах кладутся фундаменты или возводятся стены других домов. Рассчитан город на 120—150 тыс. человек. Он будет закончен к концу 1932 года. Дома строятся из кирпича, в несколько этажей, с балконами, водой, ваннами, электричеством. Город возводится по германским проектам под руководством архитектора Май. В нем будут предусмотрены все нужды населения—общественное питание, санитарные, учебные, культурно-просветительные. В нем будут театр, цирк, вокзал, сады, физкультурные площадки, ясли, библиотека, книжные магазины. Он будет отделен зеленой зоной древонасаждений от заводской территории. Сейчас город еще в наметке, видны его железные кости, пустые глазницы окон, оскаленные пасти дверей. Стучат топоры, хлопают молотки, визжат пилы, снуют люди, пыхтят грузовики,—шорох, шум, шелест, лягз в облаках пыли, в горячем степном солнце. Он растет, как живой, будто из ничего, на месте, где полтора года назад ветер играл лишь степной травой.

Возведение соцгорода на полтора-два тысяч жителей может показаться величественной затеей. Но эта величественность перестает поражать, когда мы узнаем, что город—только подсобная часть металлургического предприятия, отнимающая лишь незначительную долю тех сил и средств, какие поглотит строительство самого завода.

Этот завод называют гигантом. Он и в самом деле гигант: его производительность превзойдет крупнейшие металлургические предприятия капиталистического мира. Одна Америка сможет похватать заводом примерно равного масштаба: это завод Герри. Он рассчитан на годовую производительность чугуна в 3.000.000 тонн, но никогда не работал с полной нагрузкой. Так что Магнитогорск, который будет максимально развернут до 4.000.000 тонн чугуна в год, крупней Герри. Американцы свой завод строили 23 года. Магнитогорский завод мы начали возводить в 1929 году. Первые домны и некоторые цехи будут пущены в эксплуатацию 1 октября этого года. Весь же завод, в окончательном



Соцгород. Первые здания (втуз).

виде, полностью начнет работать с начала 1933 года.

Он имеет уже свою историю. Предварительные проекты завода относятся к 1925 году. В 1929 г. был опубликован первый вариант, рассчитанный на годовую продукцию чугуна в 656.000 тонн. Это была вредительски преуменьшенная цифра. При том голоде на чугун, какой испытывает наша страна, и при том первостепенном значении, какое имеет черная металлургия для строительства социализма, установление такой небольшой продукции носило злостный характер. В 1930 году, уже после начала работ, цифра была пересмотрена: магнитогорские инженеры увеличили ее до 850.000 тонн. При пересчете в центре оказалось, что и эта цифра недостаточна: она возросла тогда до 1.100.000 тонн. Дальнейшее изучение вопроса показало, что и эту границу можно перейти: цифра поднялась до 1.600.000 тонн. Наконец последний пересчет с тщательным анализом всех возможностей привел к увеличению ее до 2.500.000 тонн

чугуна в год с возможным дальнейшим ростом продукции до 3.000.000 и даже до 4.000.000 тонн чугуна в год.

В феврале 1931 г. общая продукция Магнитогорского завода на ближайший после пуска период утверждена в размерах:

2.500.000 тонн, или 150 миллионов пудов чугуна и

2.100.000 тонн, или 126 миллионов пудов проката, т.-е. металлических изделий ежегодно.

При таком масштабе магнитогорские рудники должны дать в год не менее 5.000.000 тонн (300 миллионов пудов) железной руды.

Читателю, привыкшему к большим числам, может показаться, что цифры эти, хотя и велики, но не представляют ничего особенного. Позвольте поэтому привести несколько сравнений.

### III

То, что называется современной культурой, строится на металле. Наш век

может быть поэтому с известным основанием назван веком металлическим. Металл лежит в основе современной цивилизации. Капитализм строил свое благополучие на металле. Социализм должен вырвать металл из его рук. Берлинские металлисты недавно писали в телеграмме т. Сталину, что каждая тонна железа, полученная по пятилетнему плану, является выстрелом против капиталистических угнетателей. Это сущая правда. Социализма нельзя построить при отсутствии или недостатке металла. Без металла нет индустриализации, это—азбука. Поэтому борьба за металл—в условиях современной борьбы классов—есть борьба за жизнь. Количество потребляемого металла можно считать мерой, определяющей ту или иную степень культурного и промышленного развития страны. По количеству добываемого металла Россия до революции занимала одно из последних мест. Наша страна еще не идет впереди и сейчас. Один житель в САСШ потребляет в год металла в 31 раз больше, чем гражданин СССР. Революция поставила задачей освободить нашу страну от зависимости передовых капиталистических стран. Забота о повышении добычи металла становится одной из основных задач нашей партии.

Вступая в борьбу за металл, мы имели дезорганизованное хозяйство, разрушенную валюту, неисчислимые раны, нанесенные интервентами. Тем не менее, сначала медленно, но упорно, из года в год, с неуклонно возрастающими темпами начинается рост выплавки чугуна.

В 1919 году среднемесячная выплавка чугуна в Англии равнялась 626.000 тонн, Германия выплавляла—471.000, Франция—204.000, САСШ—2.590.000 тонн. Бельгия выплавляла 21.000 тонн, Швеция—41.000, Канада—69.000, Люксембург—51.000 тонн.

А как обстояло дело в нашем Союзе? Мы получили разрушенное хозяйство. В 1919 г. среднемесячная выплавка была равна всего 9.000 тонн,—во много раз ниже довоенной выплавки. Мы стояли в хвосте, на самом последнем месте.

В 1920 году выплавка увеличилась на одну тысячу тонн в месяц в среднем. В 1921 году она стояла на том же уровне—10.000 тонн.

Но уже в 1922 г. она поднялась до 16.000 тонн. С этого года начинается подъем: в 1923 г. выплавка удвоилась по сравнению с среднемесячной выплавкой 1922 г. В 1924 г. она увеличилась до 63.000 тонн, в 1925 г.—до 128.000; в следующем дала 203.000; в 1927 г.—153.000; в 1928 г.—281.000; в 1929 г.—360.000 тонн. Первые три месяца 1930 года показали дальнейший рост: в январе было выплавлено 415.000 тонн, в марте выплавка поднялась до 440.000 тонн. Такую же картину мы имеем по стали: среднемесячная выплавка с 17.000 тонн в 1919 г., поднялась до 469.000 тонн в 1929 г., и дальнейшее повышение как по чугуну, так и по стали шло из месяца в месяц.

За короткий срок мы обогнали Бельгию, Канаду, Люксембург, Швецию и продвигаемся в первый ряд мировых металлических стран. Мы догнали Англию. Впереди нас идут пока только Америка, Германия и Франция. С постройкой Магнитогорского и Кузнецкого заводов, выполняя программу по металлу, намеченную XVI съездом нашей партии, мы догоняем, а в ближайшем году перегоним крупнейшие, самые могучие капиталистические страны.

Успех в борьбе за металл означает успех в борьбе за хлеб: без металла ведь нет сельскохозяйственного машиностроения. Это означает далее овладение топливом, потому что без металла немислима добыча нефти и угля. Это означает также успехи на транспорте, новые успехи во всех отраслях тяжелой и легкой индустрии, усиление машиностроения, развертывание энергетических ресурсов и так далее, и так далее. Строительство социализма требует скорейшей индустриализации страны сверху до низу, от центра до отдаленнейшей периферии. А индустриализация без металла—это чепуха, сапоги всмятку. Оттого-то борьба за металл заняла виднейшее место в социалистическом строительстве, оттого-то успехи на этом фронте имеют решающее, ни с чем несравнимое значение для дальнейших побед.

Путь, пройденный от 108.000 тонн чугуна, добытых в 1919 году, до



17.000.000 тонн, намеченных для выплавки в 1932/33 году, говорит сам за себя. Семнадцать миллионов тонн в последнем году первой пятилетки—это рекорд, который должен быть установлен и будет установлен.

Магнитогорское строительство и является одной из предпринятых мер, которые в основном обеспечивают это рекордное движение.

Теперь, думается, читателю стала более понятна цифра в два с половиной миллиона тонн чугуна, которые выплавит Магнитогорский металлургический завод в 1932/33 году. Ему вероятно станет более близкой цифра в 1.200 тонн чугуна суточной выплавки металла одной только доменной печью. Для начала их в Магнитогорске будет 8, они будут давать 9.600 тонн чугуна в сутки: это больше, чем вся выплавка, какую (не в сутки, а в целый месяц) давала вся металлургическая промышленность нашей страны всего двенадцать лет назад. А ведь кроме Магнитогорска, возводится Кузнецкий металлургический завод. Одновременно с Магнитогорском, начиная с 1932/33 года, Кузнецк будет давать в год 1.500.000 чугуна. Читатель теперь может себе составить представление о том, с каким вкладом войдут в нашу промышленность оба эти завода—Магнитогорский и Кузнецкий. О связи этих заводов мы скажем в своем месте. А сейчас вернемся к Магнитострою.

#### IV

Общая стоимость Магнитогорского завода согласно предварительной наметке, включая и строительство города, приблизительно равняется 700 миллионам рублей. Люди, близко стоящие к строительству, говорят, что цифра эта вероятно увеличится примерно до одного миллиарда. Но что такое миллиард рублей? Много это или мало? Попробуем и здесь прибегнуть к сравнению. Возьмем например бюджеты Англии и Франции. Эти капиталистические хищники имеют самые крупные в мире армии и флоты. Они расходуют на них огромные средства. В 1926/27 годах например Англия, самая могущественная морская держава, израсходовала на флот 58.100.000 фунтов стерлингов.

Переводя на рубли, мы получим примерно 581 миллион рублей. На Магнитогорск мы израсходуем почти в два раза больше. Франция за тот же бюджетный год израсходовала на армию 5.075.000.000 франков и на флот—1.792.000.000 франков. Переводя на рубли, мы получим расходы: на армию — около 500.000.000, на флот — около 170.000.000. Другими словами: на одно магнитогорское строительство мы израсходуем в два раза больше, чем Франция расходует в год на могущественную сухопутную армию и в пять раз примерно больше, чем она расходует на могущественный морской флот.

Приведем другие цифры. В том же году Англия израсходовала на народное образование, науки и искусства 533 миллиона рублей, т.-е. опять-таки почти вдвое меньше нашего расхода на один Магнитогорск. Франция на ту же статью — около 220 миллионов рублей. Эти цифры — крупнейшие в бюджетах мировых империалистических хищников. Если поинтересуемся бюджетом САСШ, то увидим, что на армию в тот же год было израсходовано 672 миллиона рублей и на флот—666 миллионов, т.-е. суммы, значительно меньшие той, которая нами вкладывается в одно только магнитогорское строительство. Если же мы приведем для сравнения сумму, какая за тот же 1926/27 год была по бюджету намечена на финансирование всего народного хозяйства нашего Союза,—то грандиозность цифры, вкладываемой в магнитогорское строительство, сделается еще более ощутимой: в 1926/27 г. на финансирование всего народного хозяйства всего нашего СССР было ассигновано 901 миллион рублей, т.-е. сумма, приблизительно равная той, какая затрачивается на строительство одного Магнитогорского металлургического гиганта.

Приведенные цифровые сравнения не дают однако ясного представления о заводе. Поставим себе поэтому вопрос: что же получит страна за эти деньги?

Но здесь я хочу сделать небольшое отступление, чтобы рассказать о горе Магнитной. Гора эта и есть в сущности база, на которой воздвигается гигантское строительство.

## V

Заметим мимоходом, для точности, что горы, которая называлась бы Магнитной, нет. Есть несколько гор, лежащих неподалеку одна от другой, каждая имеет свое собственное имя, а все вместе называются «Магнитной». Мы взобрались на самую высокую, Атач, и смотрели на стройку, раскинувшуюся у ног, куда глаз хватал. Площадь, занятая строительством, или, как ее называют, промплощадка, около ста квадратных километров, охвачена рекой Уралом. За полукружной чертой реки, как бы прочерченной свинцовым, с блеском, карандашом, простирается до самого горизонта степь. В одном месте, где река перехвачена плотиной, на солнце зеркалом искрится озеро. Магнитострой был как на ладони. В разных местах белели палатки, словно брошенные горсти белых кубиков; длинными прямоугольниками темнели земляные бараки, серели бараки из дерева и камня, чернели глубокие котлованы, которые долбили экскаваторы, издали казавшиеся какими-то замысловатыми насекомыми в роде кузнечиков. Вдали вздымался огромный тепляк коксохимического комбината, около которого, близко друг от друга, стояли шесть высоких черных труб. Дальше высилась кружевная стройка Центральной электрической станции. Ближе ЦЭС одна за другой—первая в лесах, вторая голая, третья и четвертая лишь начатые возведением—подымались могучие доменные печи. По соседству с домнами прямо из земли торчмя вырастала труба мартеновского цеха, и простым глазом нельзя было заметить—работают около нее люди или нет. Нащупав ее полевым биноклем, я обнаружил, что она усеяна черными булавочными головками, — кладка трубы была в разгаре. Сверху в бинокль хорошо было видно черное, казавшееся тонким железо кранов. Один, гигантский, около второй домны, возвышался над всей стройкой, другие, в разных местах—пониже. Видны были исчерченные черными шпалами железнодорожные пути, темными гусеницами ползли вагоны платформ, вагонетки, кое-где дымили трубы, и в разные стороны вперемешку с палатками и бараками раскинулись груды дере-

ва, камня, железа, здания, службы, склады, сверкавшие стеклами, белыми стенами. В центре строительства, господствуя над приземистыми бараками, конторами и службами, высились два крупных, темных, широкоплечих каменных многоэтажных здания—завоуправление и центральная гостиница. Ни деревца, никакой тени,—вся равнина в пыли и солнце. Только в стороне, направо от площадки, километрах в шести, заметна была небольшая зелень и белые какие-то низенькие строения: то поселок «Американка», выстроенный вначале для иностранных инженеров, а сейчас место жительства не только иностранных специалистов, но также части командного технического состава Магнитостроя. Еще дальше, километрах в 10 от горы, подымался бетонитовый завод, а на противоположном конце, слева от нас, неясной грудой намечались общие контуры строящегося сощгорода.

Все это лежало под ногами, в лучах солнца, с глубокими тенями сбоку, как рельеф, но рельеф живой, в котором все находилось в движении.

Это была великолепная картина, но в ней еще много было для нас непонятного.

— Скажите,—обратился один из нас к т. Ларину, начальнику информотдела Магнитостроя, — как высока эта гора, на которой мы находимся?

— Атач? Вершина—616 метров над уровнем моря.

— А над уровнем реки Урал?

— Немного: 268.

— Гора невысокая. А вот эти, лежащие около?

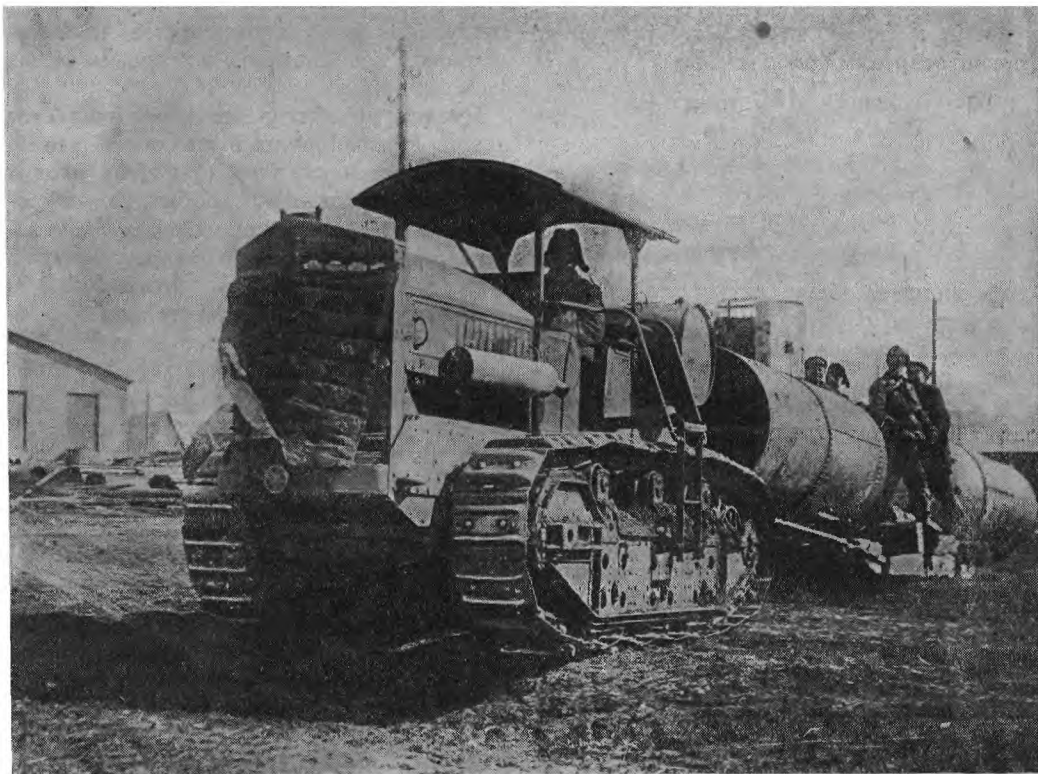
— Они все ниже Атача. Называются они Березовая, Дальняя и Узьянка. Около Узьянки—холм Ежевка. Все вместе они и называются Магнитная. Но сила их в чем. Взгляните.

Он поднял с земли кусок породы, тяжелой, зернистой, с блестками.

— Это—руда. Она лежит на поверхности. Здесь ее страшно много. Все, что вы видите,—драгоценная руда с богатым содержанием железа.

— А много здесь этой руды?

Гора Магнитная обладает запасом, по последним вычислениям, около 300 мил-



Перевозка тяжестей

лионов тонн. Это—одно из богатейших мировых месторождений.

— Триста миллионов тонн? Значит эти горы в сущности представляют собой чистое скопление руды?

— Почти. Пласт руды опускается в глубину более чем на сто метров. Но главное в том, что процентное содержание железа доходит до 64,5, мало серы и других примесей. Качество руды значит высокое.

\*\*\*

Эти залежи руды призван разрабатывать и перерабатывать Магнитогорский гигант. Богатство рудных залежей на Магнитной было известно и до революции. Разработка руды ведется здесь примерно уже лет сто пятьдесят. Но даже перед революцией она была кустарной, вручную: эксплуатировалась преимущественно поверхность горы, благо «рассыпная» руда валялась тут же: бери, сколько хочешь. Руда свозилась с «горы» лошадьми, а зимой, сан-

ным путем, отправлялась на ближайшие заводы. Количество добываемой руды доходило до 50.000 тонн в год. Сейчас на гору проведен железнодорожный путь, — первый паровоз поднялся на «гору» меньше года назад, привезены машины, гора взрывается аммоналом, ставятся механизмы. Чтобы увеличить добычу с 50.000 тонн в сто раз, т.-е. с трех миллионов пудов в год довести ее до трехсот миллионов пудов, надо соорудить новое рудное хозяйство по последнему слову техники, электрифицированное и механизированное, богато оборудовать его транспортными, складскими и обрабатывающими средствами. Работа здесь поэтому ведется по двум линиям. С одной стороны, увеличивается добыча руды, а с другой — сооружается новое рудное хозяйство с могучими механическими приспособлениями. Добыча и сейчас растет изо дня в день. Но пока механизация недостаточна, недостает транспортных средств, не хватает оборудования, поэтому добыча идет неровно. Вот например цифры добычи

за время с 1 по 6 июня (опубликованы «Магнитогорским рабочим»):

1 июня	180 тонн
2 »	450 »
3 »	772 »
4 »	522 »
5 »	1.206 »
6 »	1.347 »

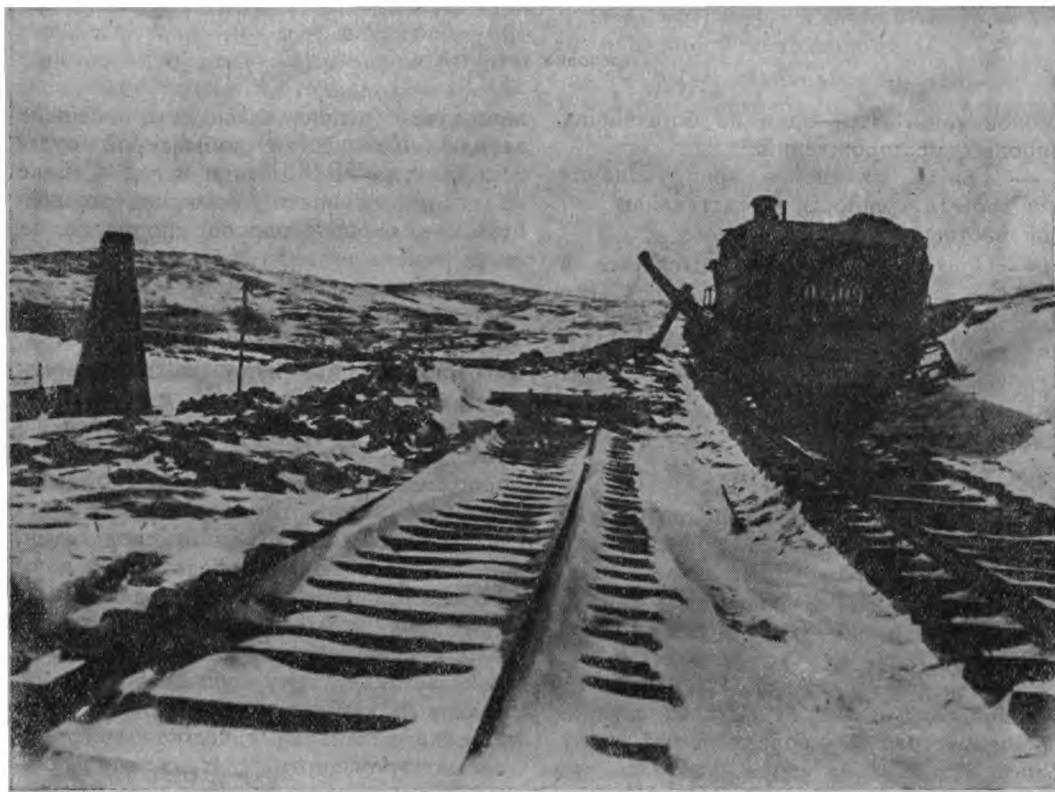
Как видим, добыча неуклонно растет. Но до июня работа шла с перебоями: то не доставало механизмов, то прерывалась подача энергии, не подавалась вода и т. п. Беда и с транспортом: недостаток подачи вагонов тормозил отгрузку. Вместо ежедневной подачи в 74 вагона 7 июня например не было подано ни одного, 8 июня—всего 28, 9-го—29, а 10-го—12 вагонов.

Эти срывы и перебои объясняются тем, что правильной эксплуатации рудника еще нет, что параллельно с эксплуатацией идет установка нового оборудования. На вершинах Магнитной построен мощный рудник. Взрываются

котлованы для фундаментов обогатительных, дробильных и промывочных фабрик.

Рудное хозяйство не ограничивается одной добычей руды в шахтах и штбелях. В состав рудного хозяйства входят мощные фабрики: 1) дробильная, в которой гигантские машины грызут и крошат руду, как сахар, превращая ее в куски величиной в среднем около 30 мм. и 2) агломерационная, которая, наоборот, рудную мелочь, поступающую как с рудников, так и с дробильной фабрики, превращает в небольшие куски.

Но и этих двух могучих предприятий недостаточно, чтобы сделать руду годной для завала в домну. Руда добывается с примесями: механическими (земля, песок, глина) и химическими (сера и др.). Промывочные фабрики освобождают руду от механических примесей, а магнитообогатительные извлекают из нее химические примеси. Насколько могучи эти предприятия, читатель может увидеть из того, что ежегодно три сотни



Первый паровоз на горе. Зима



Субботник на горе Атач

миллионов пудов руды должны частью пройти через дробильную фабрику, просеяться сквозь гигантские грохота, частью через агломерационную фабрику, затем сквозь промывочную, где водой и сухим путем руда будет освобождена от земли, песка, глины и другой породы, далее—сквозь магнитообогащительную, где из нее будут извлечены сера и др. примеси. Одна водная промывка руды требует на каждую тысячу тонн в одну минуту 6,4 куб. метра воды. Чтобы эту промывку совершать, при рудниках создается гигантское водохранилище. Чтобы не сливать отработанную воду в Урал и не загрязнять реку, отработанная вода будет отстаиваться в особых прудах глубиной до 20 метров каждый, чтобы после очистки вода вновь могла быть использована.

Все это сказано, чтобы показать, что рудное хозяйство как самостоятельное целое при той добыче, какая намечена, является огромным предприятием.

Если бы в Магнитогорске сооружалось только одно это хозяйство, оно было бы одним из крупнейших рудных предприятий вообще. Но это огромное предприятие со всеми своими шахтами, лабораториями, дробильными, рудообогащительными, агломерационными, промывочными фабриками, со своими складами и транспортом, оказывается лишь незначительной частью мощного организма, какой представляет собой Магнитогорский металлургический завод в целом.

Добыча и обработка руды—наиболее элементарная из задач, поставленных заводу. Нам это станет яснее, если мы от рудника обратимся к доменному цеху, насыщать который и будет рудник со всеми своими предприятиями.

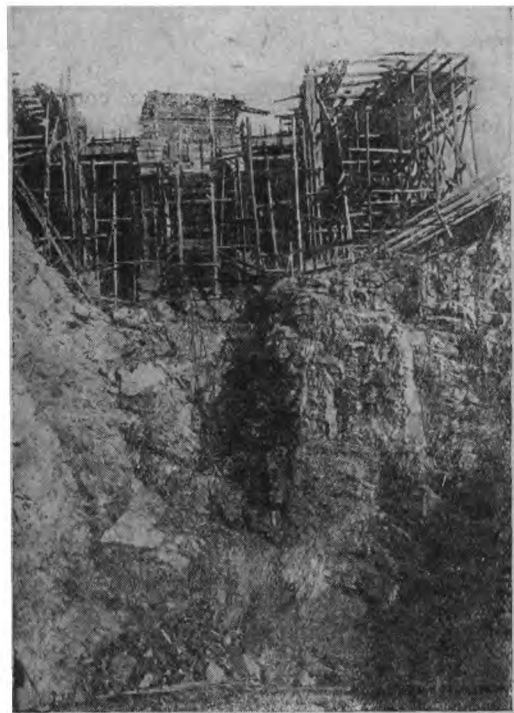
Итак, познакомимся с доменным цехом Магнитогорского завода.

## VI

Это будет гордость советской металлургии. Цех состоит из восьми домен.



Вскрышные работы на горе.



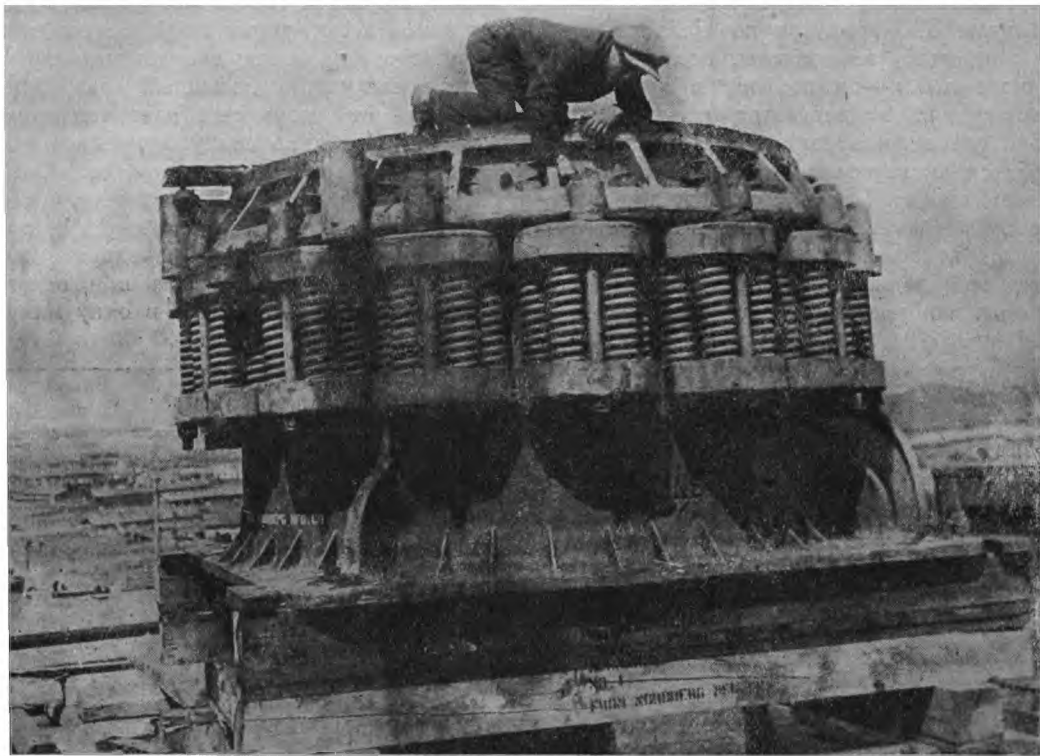
Подготовка котлована на горе для промывной фабрики

Число их будет доведено до десяти. Европа не имеет равного. Одна доменная печь в Магнитогорске будет выплавлять 1.200 тонн в сутки с возможным повышением до 1.500 тонн. Самая мощная домна в нашем Союзе—на Макеевском заводе домна № 5, как сообщила телеграмма из Макеевки от 30 июня,—установила рекорд: она выплавляла 713 тонн в сутки. Чтобы представить себе, что получит наша страна от Магнитогорских домен, я укажу, что тридцать семь из существующих ныне доменных печей Урала, вместе взятые, дают в месяц 100 тысяч тонн чугуна, т.-е. столько, сколько будут давать три магнитогорских домны. Это циклопическое сооружение имеет высоту от уровня, на котором находится выпускное для жидкого металла отверстие, до колошниковой площадки (верхушечная часть, с которой заваливается в печь руда, кокс и флюсы) 30 метров. Объем домны около 1.200 кубических метров. Диаметр ее горна около восьми метров. Она одета в толстый железный, клепаный кожух, а изнутри выложена особенной прочности огнеупорным кирпичом, образующим толстые стенки, внутри которых заложены холодильные плиты с проходящей охлаждающей водой: температура в печи достигает 1.500—1.700 градусов. Раз зажженная, она горит, не погасая, много лет подряд, ежедневно глотая тысячи тонн руды, кокса и примесей. Чтобы утолять ее голод, сверху домны пристраивается целое сооружение — колошниковая площадка; к ней идет наклонный железный мост с рельсовыми путями, — по ним движутся электрические вагонетки (168 метров в минуту), подвозящие и сваливающие в пасть (диаметр 6 метров) руду и флюсы (примеси, необходимые для плавки). В то время как из коксовых печей с помощью ленточного транспортера автоматически передается в домну кокс, вагонетки (скипы) подвозят руду автоматически: когда одна вагонетка, поднявшись по мосту на колошник, разгружается, другая в специальном сооружении (бункер) нагружается. Раз зажженная, или, как говорят, задутая, домна без перерыва годами перерабатывает руду, превращая ее в жидкий металл: металл льется из отверстия, как

молоко, выбрызгивая голубые и оранжевые искры. Около выходного отверстия домны дежурит гигантский ковш; в него выливается металл. Набрав его в один прием 75 тонн (4.500 пудов), ковш с помощью могучего крана перенесет эту горячую жидкость к мартеновскому цеху и вылет в печь, не мешкая, в то время как другой ковш будет дежурить у домны. Таких ковшей в сутки пропутешествует от доменных печей к мартеновскому и бессемеровскому

\*\*\*

Чтобы понять сложность современного металлургического завода, надо иметь представление о том, что происходит в домне. Она закрыта наглухо. Заваливаемая сверху рудой, коксом и флюсами (все в известных весовых и объемных количествах, в определенном порядке, с помощью особых приспособлений, которые обеспечивают автоматическое и равномерное заваливание



Часть рудодробильной машины.

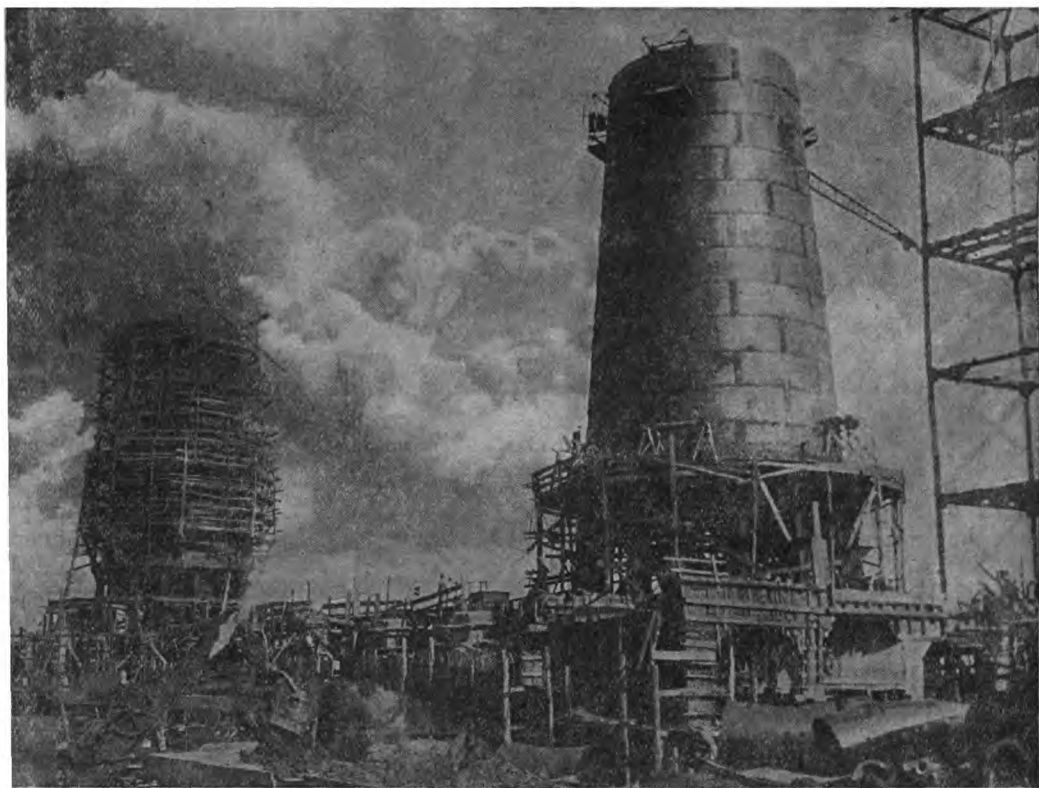
цехам примерно 80—85. Остальной металл из домны пойдет на литье чугунных «чушек». Для производства их около каждой пары доменных печей будет устроен один литейный двор в 2.400 кв. метров на бетонном фундаменте, с железными колоннами, железной крышей и кирпичными стенами, снабженный кранами мощностью в 35 тонн и 10 тонн. Одновременно из домны через другое отверстие, выше первого, выливается шлак.

домны), домна представляет собой резервуар, наполненный сверху донизу этой смесью. Выплавляя в сутки 72.000 пудов чугуна, домна пожирает сырье в количестве много большем. Но чтобы в ней происходило непрерывное горение, чтобы образующиеся газы не разорвали ее, как одуванчик, чтобы поддерживать температуру на высоте около 1.700 градусов, — к домне присоединяются два гигантских сооружения, из которых одно — коротко назы-

ваемая воздуходувка (системы Каупера) — занимается тем, что вдует в дому горячий воздух, а другое — газоотвод, куда выходит из нее раскаленный газ: доменная печь продувается насквозь. Каждая домна имеет четыре воздухонагревательных аппарата с нагревательной поверхностью каждого аппарата в 12.500 кв. метров. Диаметр труб этих аппаратов таков, что если трубу положить, в ней свободно ходит человек с поднятыми руками. В каждом аппарате в одну минуту может нагреваться 2.550 куб. литр. воздуха до температуры 830 градусов по Цельсию. Газ, выводимый из домны, несет с собой много пыли, — он поэтому в особых сооружениях подвергается после выхода очистке и фильтрации, после чего собирается в газгольдере (хранителе) объемом свыше 1 млн. куб. фут., из которого трубами может распределяться по потребностям. Каждая домна сопровождается таким образом, с одной стороны, мощными аппаратами, выводящи-

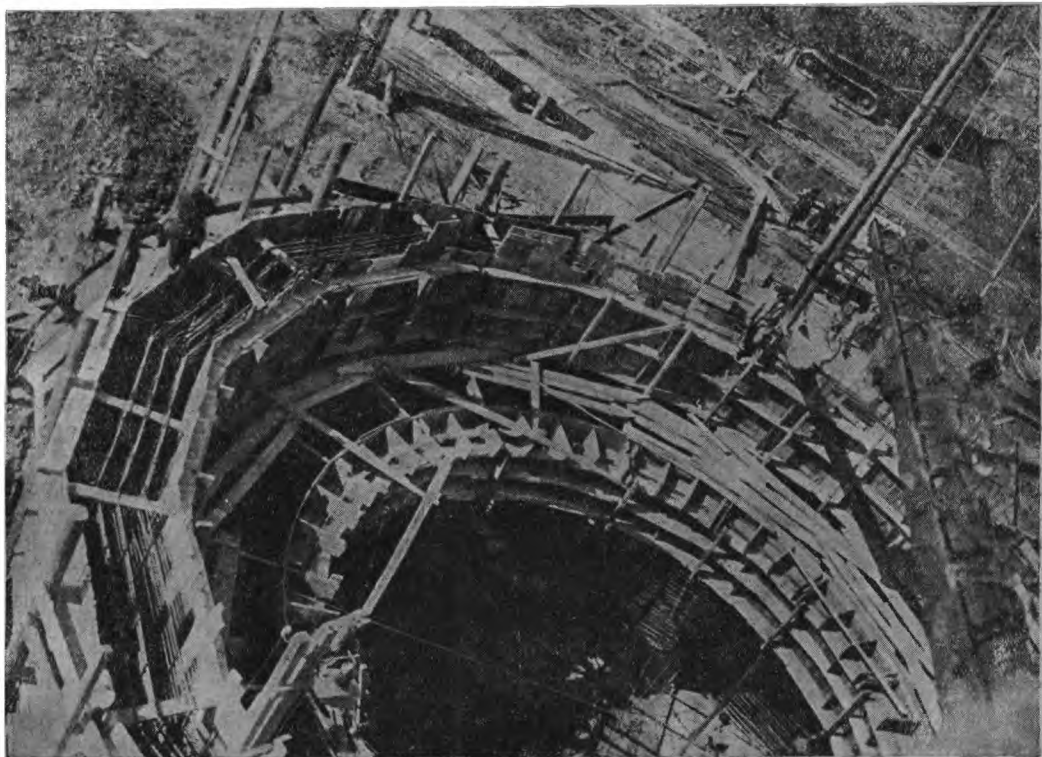
ми и очищающими доменный газ, а с другой — гигантскими воздуховодными машинами, в которых воздух сначала нагревается до высокой температуры и затем вдвывается в доменные печи.

Работа этих могучих механизмов, — по очистке и хранению газа, выходящего из домны, и по нагреву воздуха в воздуховодах, и по вдванию его в печи, — вся эта работа, требующая колоссальной энергии, производится тем же самым выпускаемым из домны газом. Старые домны были открыты; газ выходил наружу и горел, как факел. Домны новой конструкции не упускают драгоценного газа: верхушка домны закрывается наглухо, и доменный газ, очищенный от примесей, дает тепловую энергию не только воздуховодным аппаратам, но мартеновскому и бессемеровскому цехам, коксохимкомбинату, руднику, кирпичным заводам и многим другим вспомогательным предприятиям. Количество доменного газа при наших размерах домен — огромно: в одну мину-



В доменном цехе. Домна без лесов.—Комсомольская (№ 2).





Цементировка фундамента для домы.

ту доменный цех будет давать приблизительно 18.000 куб. метров газа. Это значит, общее количество газа в год будет исчисляться миллиардами кубометров. С своей стороны доменный цех в сутки поглотит количество воздуха, которое превышает то количество, какое потребляет для дыхания в сутки все население Ленинграда.

Но работа доменных печей возможна только при условии, если вместе с рудой будет в дому заваливаться и кокс. Обратимся поэтому к коксохимическому комбинату, или иначе—коксовому цеху. Сооружается он рядом, бок-о-бок с доменными печами.

## VII

Но вот в чем дело: своего каменного угля, а значит и кокса, Магнитогорск не имеет. Именно поэтому связан с Магнитогорском другой металлургический гигант востока — Кузнецк. Если поставить добычу руды на Магнитной, а добычу угля в Кузбассе и перебрасы-

вать уголь из Кузбасса на Магнитную, а в Кузнецк руду с Магнитной, можно создать гигантскую металлургическую базу, которая на ряду с существующей на Украине окажется могучим орудием в борьбе за социализм. Так возникла урало-кузнецкая проблема, величайшая в истории борьбы за металл. Поэтому магнитогорское строительство — только часть плана, другую часть его составляет строительство кузнецкое. Самая проблема Урало-Кузбасса была в свое время гениально предусмотрена Владимиром Ильичом. Вот что о ней было сказано на XVI съезде т. Сталиным:

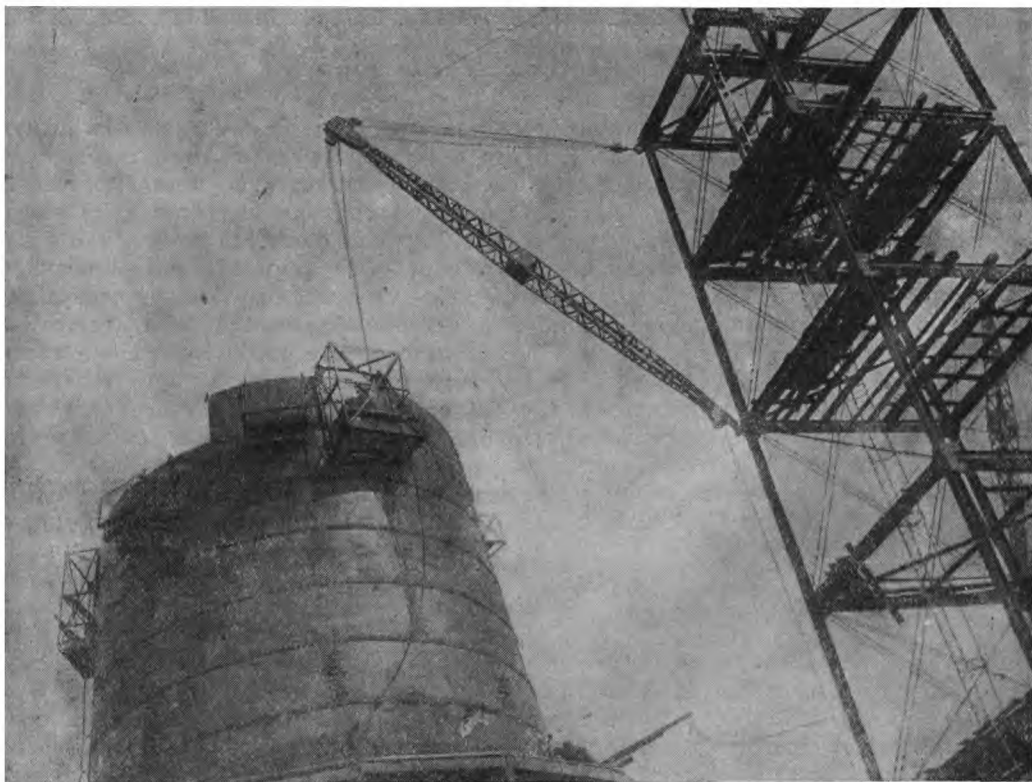
«Сейчас дело обстоит так, что наша промышленность, как и наше народное хозяйство, опирается в основном на угольно-металлургическую базу на Украине. Понятно, что без такой базы немислима индустриализация страны. И вот такой базой является у нас украинская топливно-металлургическая база. Но может ли в дальнейшем одна лишь эта база удовле-

творить и юг, и центральную часть СССР, и север, и северо-восток, и Дальний Восток, и Туркестан? Все данные говорят нам о том, что не может. Новое в развитии нашего народного хозяйства состоит между прочим в том, чтобы, всемерно развивая эту базу и в дальнейшем, вместе с тем немедленно создавать вторую угольно-металлургическую базу. Этой базой должен быть Урало-Кузнецкий комбинат, соединение кузнецкого коксующегося угля с уральской рудой. Постройка автозавода в Нижнем, тракторного завода в Челябинске, машиностроительного завода в Свердловске, заводов комбайнов в Саратове и Новосибирске; наличие растущей цветной металлургии в Сибири и Казакстане, требующей создания сети ремонтных мастерских и ряда основных металлургических заводов на востоке; наконец решение о постройке текстильных фабрик в Новосибирске и в Туркестане,—все это повелительно требует немедленного приступа к делу образо-

вания второй угольно-металлургической базы на Урале».

Магнитогорск и Кузнецк являются двумя нераздельными частями единого гигантского предприятия, хотя и разделенного расстоянием в две тысячи километров. Крупнейший металлургический завод СССР связывается с крупнейшим угольным бассейном нашего Союза. В то время как запасы угля в Донецком бассейне исчисляются приблизительно в 68 миллиардов тонн,—запасы Кузбасса равны приблизительно 400 миллиардам тонн.

В пятилетнем плане Кузбассу поставлена большая 'задача—сделать огромный скачок вперед: до войны бассейн этот давал максимум 1.300.000 тонн каменного угля в год. В 1931 году он должен дать примерно около 27 миллионов тонн, т.-е. ровно столько же, сколько давал Донецкий бассейн в начале этой пятилетки. Кузнецкого угля должно хватить на питание западно-сибирской промышленности и транспор-



Монтаж комсомольской домны с помощью крана



Клепка газовых труб для Коксохима

га, на питание Магнитогорского завода и сверх того на питание собственного гиганта. В Кузнецком бассейне на кузнецких углях строится металлургический завод производительностью в полтора миллиона тонн чугуна ежегодно. Завод этот является в сущности уменьшенным вариантом великого Магнитогорского завода. Разница лишь в том, что железные рудники в Магнитогорске заменяются каменноугольными копами в Кузнецке. Магнитогорск будет давать Кузнецку уральскую руду. Кузнецк будет давать Магнитогорску свой каменный уголь.

И в тот самый день, когда отойдет от Кузнецка первый маршрут с кузнецким углем, из Магнитогорска двинется встречный состав с магнитогорской рудой.

И так — состав за составом, несколько сот пар ежедневно, — между Кузнецком и Магнитогорском будут двигаться

товарные поезда с углем в Магнитогорск, с рудой — из Магнитогорска, и эта живая связь, которую можно сравнить с приводным ремнем или с цепной передачей, или еще с чем-нибудь, превратит в единый организм с одним дыханием два громадных предприятия, отделенные одно от другого расстоянием в две тысячи триста километров.

\*\*\*

Мы знаем теперь, что коксохимкомбинат, возводимый рядом с доменным цехом, будет получать каменный уголь из Кузнецка. Чтобы удовлетворить голод восьми домен, т.-е. дать им 2.245.000 тонн кокса для выплавки 2.500.000 тонн чугуна, необходимо обжечь 3.487.000 тонн каменного угля. Без кокса домы не будут жить. Эти два процесса — коксование каменного угля и плавка руды в домнах — центральные процессы металлургического



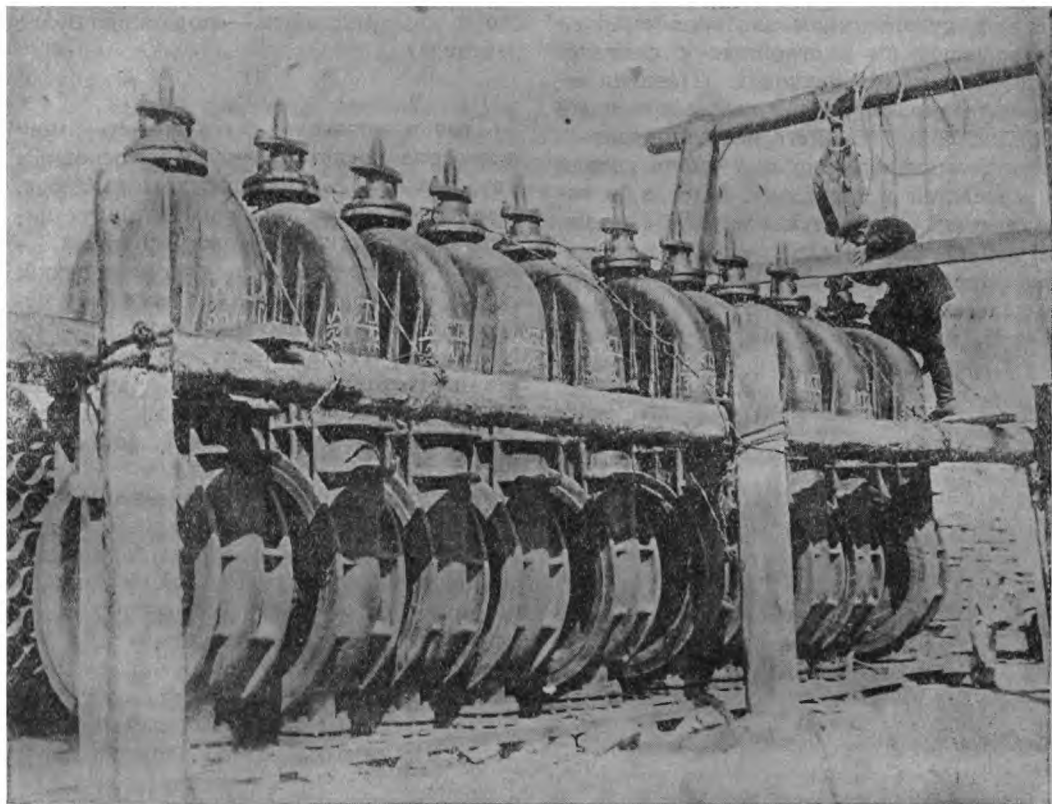
Деревянный тепляк Коксохима. В нем происходит кладка печей

завода. Они взаимно друг друга дополняют. Работая вместе, они являются источниками энергии, с помощью которой приводится в движение вся эта гигантская машина. Мы говорили уже о доменном газе. При обжиге каменного угля выделяется столь же огромное количество побочных продуктов. Именно для улавливания летучих отходов и отбросов коксовальный цех и превращается в коксохимический комбинат: продукты, получающиеся при коксовании, он превращает в драгоценные для промышленности необходимые вещества. В результате коксования получается прежде всего кокс, необходимый для доменных печей, далее нашатырный спирт, улавливаемый особо построенным заводом, далее бензол, также улавливаемый и перерабатываемый особым заводом, далее топливо для моторов, далее смола, также получаемая и перерабатываемая с помощью особых аппаратов, далее коксовальный газ, идущий вместе с доменным газом на промышленные надобности самого

магнитогорского завода, наконец коксовый отсев и коксик, употребляемые как топливо. Включается также в комбинат завод по производству туковых удобрений. Я приведу примерные цифры, в которых выражаются эти уловленные и переработанные продукты коксования. Из 3.487.500 метр. тонн каменного угля, который будет в течение года переработан коксовыми печами через посредство всех механизмов и аппаратов коксохимкомбината, будет получено:

металлург. кокса . . .	2.245.000 метр. тонн
смолы . . . . .	58.650.000 литр. в г.
топлива для моторов .	32.175.000 литр. в г.
коковского отсева . . .	127.950 метр. тонн
коксика . . . . .	96.400 метр. тонн

Чтобы уловить и переработать все эти вещества, необходимо сооружение, которое само по себе, если даже взять его обособленно от остальных частей металлургического завода, представит собой гигантское и сложнейшее предприятие.



Задвижки для коксовых печей.

Но коксохимкомбинат входит как звено в состав металлургического завода. Основной коксохимкомбината является коксовальное отделение: оно занимает площадку длиной в один километр и состоит из нескольких сот коксовальных печей тончайшей конструкции, выложенных из импортного, огнеупорного, особо приготовленного кирпича таких богатых и многообразных форм (свыше 400), что сооружение, именуемое коксовальной печью, пронизанное множеством труб в разных направлениях, мне представляется более тонким, прозрачным и кружевным сооружением, чем любой из готических соборов.

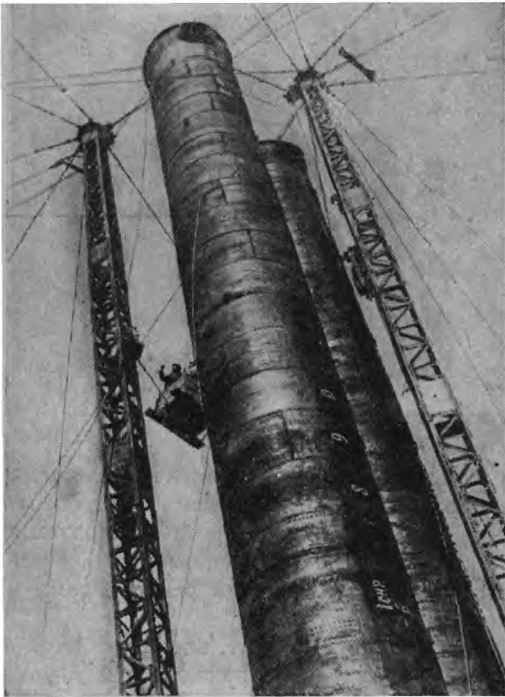
Коксовальное отделение разгруппировано на восемь батарей, по 52 печи в каждой батарее. Эти печи будут окружены и соединены с заводами для улавливания побочных продуктов, с холодильниками, с приборами для осаждения смолы, с аппаратами для выпаривания аммиачной жидкости, с перегревателями газа, с аммиачными скрубберами,

с конденсаторами, с поглотительными аппаратами, с бензольными скрубберами, с ректификационными аппаратами, с оборудованием для промывки кислотой, с многочисленными резервуарами и другими приборами.

В настоящий момент, когда цех только еще возводится, он находится в огромном «тепляке», т.е. в деревянном футляре со множеством стекол, отапливаемом паром в зимнее время. Сложность и точность печной кладки требует громаднейшей ответственности: от малейшей неисправности, допущенной при кладке печей, позднее, при эксплуатации, могут создаться условия для взрывов, которые разнесут все сооружение в одно мгновение.

Наша бригада — Гладков, Малышкин, художник Сварог и автор этих строк — посещала коксохимовую кладку несколько дней: стройка росла буквально по часам. Работает молодежь. Одни на тачках подвозят кирпич, складывают около молоденьких укладниц. Укладчи-

цы под руководством знатоков «марок» складывают их в стройные и сложные штабеля около печников. Печники — внимательно, ощупывая глазами каждый кирпич, примеривая его и прикидывая — кладут на место, вновь и вновь сверяя с чертежами и примеряя. Иногда, в затруднении, образуется «летучка», вызывается производитель работ для решения проблемы: как класть дальше. Когда сам производитель работ затрудняется, появляются иностранные инженеры, работающие здесь же: это реша-



Установка скрубберов на Коксохиме.

ющая инстанция. В дни нашего приезда кладка настолько поднялась вверх, что понадобилось устройство под'емника для механической подноски кирпича и цемента. Готового механизма не оказалось: был сконструирован собственными силами электрический под'емник в деревянной оправе, необычайной простоты, с двумя платформами: когда подымалась одна, опускалась другая. Под'емник должен был быть пущен в ход в день нашего отъезда. Были сомневающиеся — из иностранцев: необычайно уж просто.

Но я не сомневаюсь — под'емник будет работать.

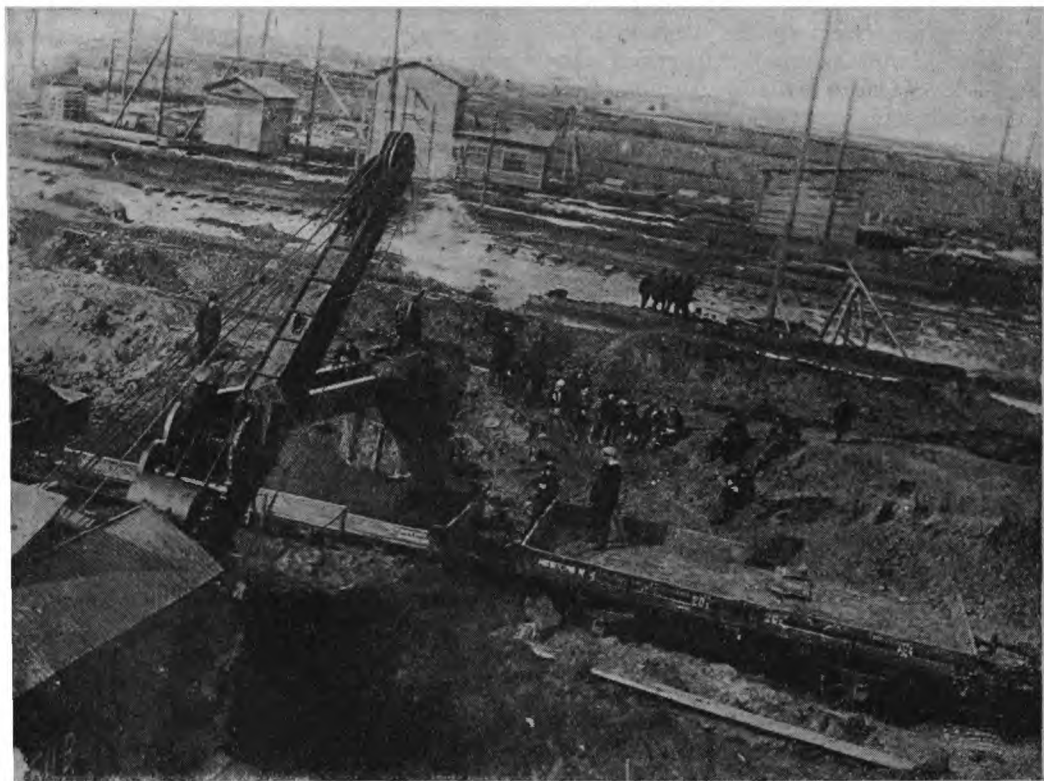
## VIII

Теперь читатель, быть может, имеет некоторое представление об основных двух цехах Магнитогорского завода. Плоды их совместной работы будут питать два других — тоже основных — цеха: маргеновский и бессемеровский. Здесь путем добавления к жидкому чугуна дополнительных металлов и примесей будут выплавляться разные сорта стали. Цехи эти столь же грандиозны по размерам и производительности. Длина каждого из них по 1 километру. Каждый из них, представляя самостоятельное целое, связан с доменным и коксовым цехами цепью механизмов, железнодорожными путями, трубопроводами. Получая основной жидкий металл из домен, они сверх того получают еще доменный и коксовальный газы, которые и производят всю нагревательную работу. Подвозка металлов и минералов, подвод воды и топлива, передвижение слитков, отвал шлака, золы и т. п. операции механизированы, т. е. будут производиться с помощью особых сооружений, кранов, механизмов, транспортеров, специальных вагонов. Только с помощью механизации можно обеспечить бесперебойное производство в намеченном размере. Если доменные печи рассчитаны на выпуск 2.500.000 тонн чугуна (с увеличением в ближайшие годы до 4.000.000 тонн), то маргеновский и бессемеровский должны дать 2.650.000 тонн стали. Когда выплавка чугуна будет поднята до 4.000.000 тонн, печей будет 42, каждая вместимостью 150 тонн (9.000 пудов). Наимощная ныне печь в нашем Союзе — на Днепропетровском заводе — имеет вместимость 100 тонн. Ковшами мощностью по 150 тонн сталь будет разливаться в слитки. Вот эти болванки по 240 пудов каждая и являются тем полуфабрикатом, который будет направляться в прокатный цех: здесь они пойдут в мощный блюминг. Кусок стали весом в 240 пудов выйдет из блюминга уже в виде стального рельса. Один такой блюминг приводится в действие мотором мощностью в 7.000 лошадиных сил. В год один блюминг должен выпускать

350.000 тонн тяжелых рельсов и 300.000 тонн тяжелого строительного материала.

Необходимо пояснить, что плитки по 240 пудов каждая направляются в блюминг в нагретом, т.е. мягком, состоянии. Нагрев они получают в особых нагревательных колодцах, имеющих много гнезд для одновременного нагрева многих слитков. Нагретые до необходимой температуры, слитки вынимаются из колодца особым краном и на специаль-

где взять потребное количество электроэнергии для освещения площади, города, цехов, для приведения в движение множества механизмов — электровозов, кранов, лебедок, подъемников, станков и т. п.? Где взять тепловую энергию для многократного нагрева миллионов тонн чугуна, стали, котлов, воздуха? Где наконец взять воду, которая является постоянным спутником металлургии, — необходимо охлаждать доменные печи; требует охлаждения горячий ме-



В мартеновском цехе. Работает экскаватор.

ных тележках подвозятся к блюмингу. Выходя из блюминга, слиток превращается в длинную стальную полосу, которая, как нитка, режется ножницами на отрезки требуемой длины. Она подвергается, разумеется, еще многообразному действию различных приспособлений.

## IX

Такое гигантское хозяйство немислимо без могучей энергетической базы.

талл, выливаемый в мартеновском цехе, на литейных дворах; требует охлаждения работа некоторых механизмов; требует воды коксохимический комбинат. Горная речонка Урал в своей верхней части, протекающей около Магнитогорска, давала ничтожное количество воды. Чтобы читатель мог себе представить, каких количествах идет речь, я назову несколько цифр: Магнитогорский завод нуждается каждые сутки в одном (приблизительно) миллионе кубометров во-

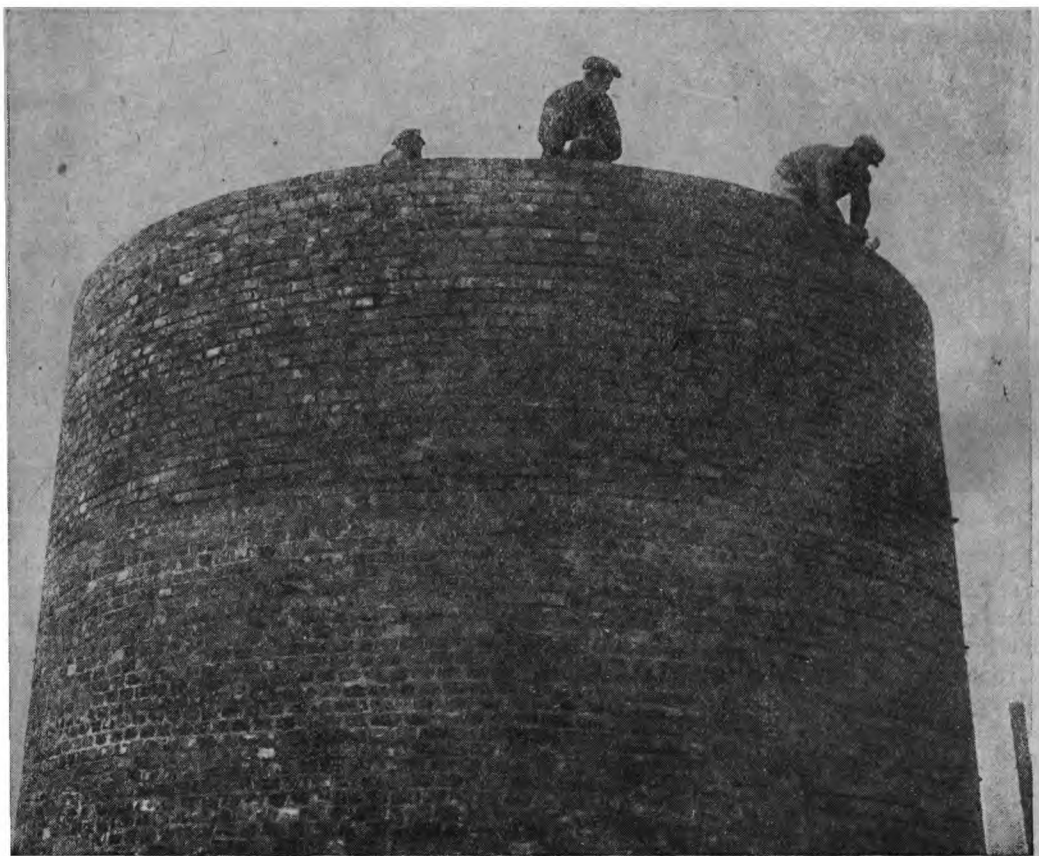
ды. Миллион кубометров в сутки! Для экономии часть воды по использовании будет очищена, охлаждена и вновь использована. Вычислено, что такой «оборотной» воды будет примерно 440.000 кубометров. Останется следовательно ежесуточная потребность в свежей воде около 600.000 куб. метров (без электрической станции).

И эти проблемы — труднейшие — оказываются разрешенными.

Магнитогорский металлургический завод будет обслуживаться электрической станцией мощностью в 280.000 киловатт. Эта мощность будет увеличена затем до 500.000 киловатт. Другими словами—перед нами второй Днепрострой. До возведения этой станции для нужд строительства уже построены и работают две временные электрические станции. Работа в Магнитогорске производится круглые сутки: вечером и ночью при электрическом свете. Стройка сияет

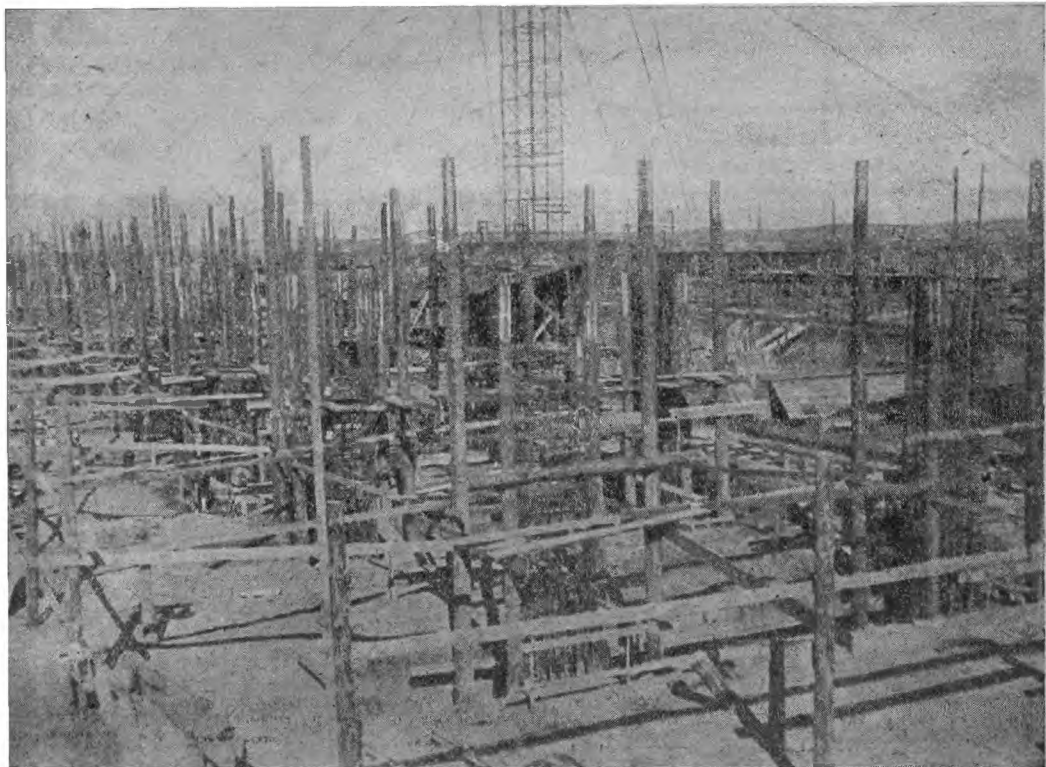
огнями. Электричеством питаются механизмы: экскаваторы, краны, бетономешалки и др. Работают прожектора. На стройке в любом пункте ночью можно читать газету. В настоящее время на ЦЭС (т.-е. Центральной электрической станции) отливаются верхняя часть железобетонного здания, устанавливаются железные конструкции и прибывающие машины. Если что задержит пуск станции, — то невыполнение своих обязательств заводами, изготовляющими оборудование.

Как разрешена проблема тепловой энергии? Я касался ее: самое сырье, подвергаемое обработке, есть источник тепла. Каменный уголь, превращаясь в кокс, дает горючий коксовый газ. Плавка руды в доменных печах дает доменный газ, также горючий. Общее количество газа так велико, что его с избытком хватает для обслуживания не только цехов доменного, коксового, мартенов-



Возведение трубы мартеновской печи.





Центральная электрическая станция в начале работ

ско-бессемеровского, прокатного. 1 аз будет обслуживать и другие основные и вспомогательные предприятия: рудники, кирпичные заводы, город и т. д. В дополнение к газу топливом служит коксовая мелочь, остающаяся после обжига каменного угля. В современном металлургическом хозяйстве не пропадает ни один золотник не только основного сырья, но также того, что называется отходом, отбросом.

Остается проблема — вода. Она решена наиболее эффективно. Горная речка Урал, которую в июле в иных местах переходили вброд коровы, могла ли она утолить жажду такого гиганта? Надо было следовательно внести к природе какую-то поправку. Эта поправка была сделана: мелкая речка около промышленной площадки, где возводится завод, была превращена в озеро в тринадцать с половиной квадратных километров, емкостью в 30 миллионов кубометров.

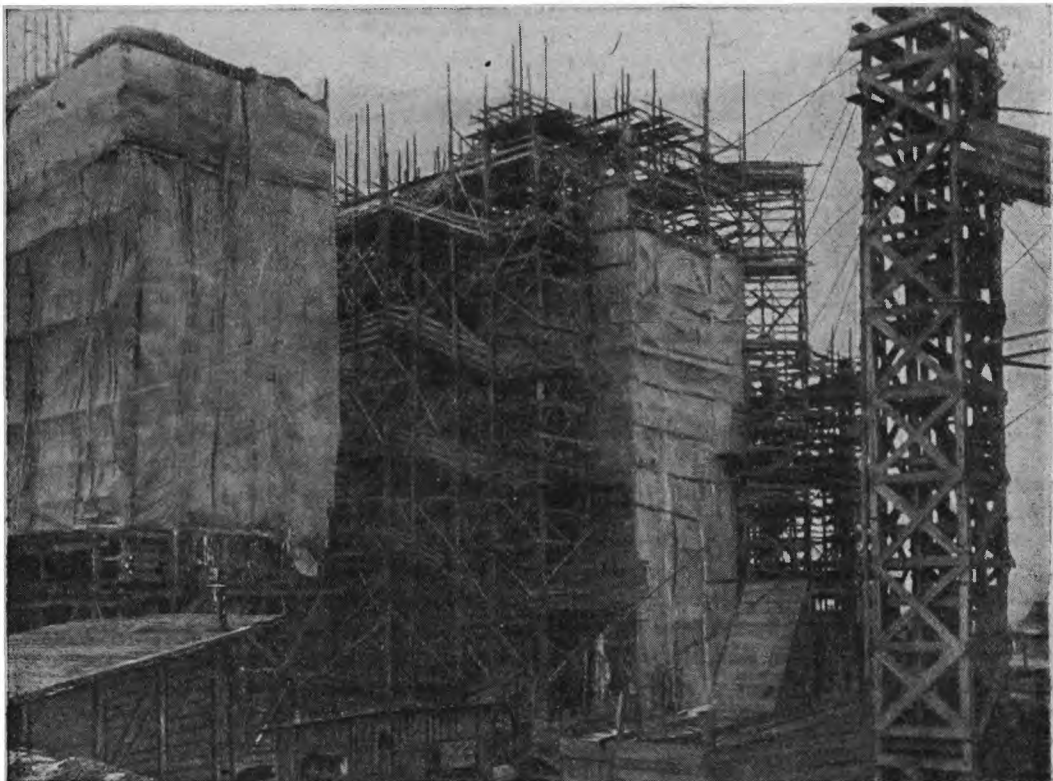
Когда я стоял на плотине и смотрел в глубокую синюю воду озера (когда

дует ветер, по нему бегут небольшие валы с седыми гребешками, они, шумя, набегают на берег, образуют прибой), когда охватывал одним взглядом водную поверхность, не верилось, что это сделано в продолжении всего нескольких месяцев. Плотина так высока, что если человек под'едет к ней верхом на лошади, он должен смотреть на нее снизу вверх. Сто две арки, стоящие одна подле другой на протяжении более километра, производят сильное впечатление. Вода, поднявшись до поверхности плотины, накапливаясь, сливается, образуя по всей длине ее стеклянную ткань струй. Это озеро и бросилось в глаза своим синим зеркалом, когда, при крутом повороте самолета, я неожиданно его увидел.

Озеро создано было в 150 дней героическими усилиями энтузиастов. За эти 150 дней была сооружена железобетонная плотина длиной тысяча тридцать метров и высотой семь метров. Я дальше расскажу, как она строилась, — ее по заслугам воспел в поэме «Первая

победа» молодой и талантливый пролетарский поэт Александр Ворошилов. Это и в самом деле поэма. В результате героического штурма плотина была возведена. Водное зеркало — перед нами. Оно на время разрешило проблему. Магнитогорск располагает пока достаточным количеством воды. Но этого запаса недостаточно. Поэтому разработан проект постройки второго озера в восьмидесяти километрах от магнитогорского, большего объема.

цехах, как напр. ремонтно-котельном, кузнечном, механическом, — каждый из них представляет собой мощное механизированное предприятие; я должен был бы упомянуть, что в Магнитострое создается еще несколько силикатных производств, цехи динасовый, шамотный и краснокирпичный с общим производством специальных кирпичей, превышающим двести миллионов штук в год; я должен был бы рассказать далее о деревообделочном комбинате, включа-



Центральная электрическая станция (ЦЭС) зимой в парусиновом тепляке

## Х

Я кратко и буквально мимоходом рассказываю о могучих предприятиях, входящих в состав Магнитогорского завода. Я упомянул лишь цехи доменный, коксохимический, мартеновско-бессемеровский, прокатный. Я говорил о рудном хозяйстве и хозяйстве энергетическом. Но если бы я ставил своей целью дать подробное описание завода, я должен был бы еще рассказать о многих других

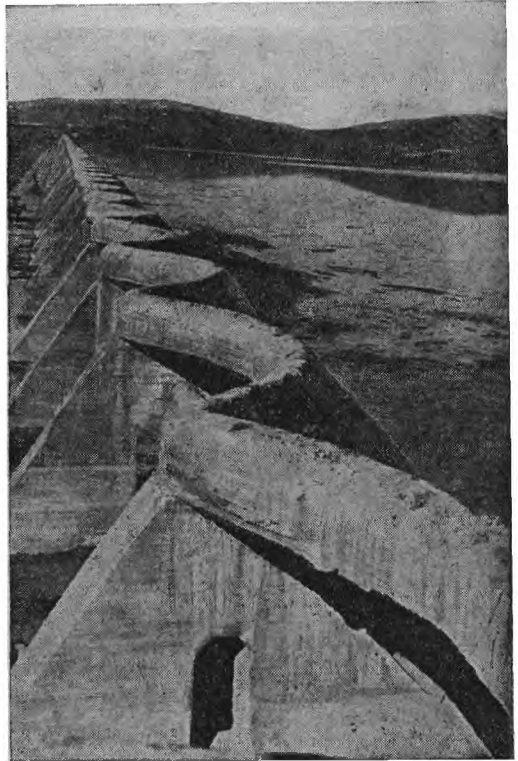
ющем в себе лесопильный завод с импортным оборудованием (последнее слово техники), я упомянул бы еще модельный цех и ряд других. Все эти предприятия включены в общий организм завода как его составные части. Многие из них уже на ходу, как например рудник, деревообделочный комбинат, кирпичный завод, завод бетонитовых камней, временная электростанция. Если бы я взялся рассказывать подробно о заводе, я должен был бы также специаль-

но описать транспорт его, ибо читатель понимает, что, занимая площадь около ста квадратных километров, по которой надо перебрасывать с одного конца на другой по многу раз сотни тысяч тонн руды, угля, кокса, жидкого металла, металлических слитков и изделий, можно передвигать их только с помощью могучего транспортного хозяйства. Кроме под'ездных железнодорожных путей, которые будут связывать завод с внешним миром, он будет располагать еще собственным внутренним транспортом: последний свяжет рудники между собой и со всеми цехами, цехи между собой и с подсобными предприятиями, наконец город со всеми точками заводской территории. Надо было бы также рассказать о замечательной механической системе передачи тяжестей и грузов, угля, металла, изделий — о бункерах, автоматически нагружающих саморазгружающиеся вагоны, о ленточных могучих транспортерах, передающих уголь из коксохимического цеха в доменные печи, о мощных кранах, поднимающих в один прием десятки тысяч пудов, о лебедках, о блюмингах величайшей мощности. Я должен был бы также рассказать об одной из самых трудных работ, к каким в ближайшие месяцы приступит строительство, — об организации канализации по заводской территории и территории города, а также о прокладке электрических кабелей и проводов. Пока канализации нет, пока электропроводка временная, а металлургический гигант с сотысячным населением на ста кв. километрах требует сложнейшей подземной сети трубопроводов для свежей воды, труб для стока воды отработанной, резервуаров и приспособлений для отстоя и фильтрации ее, канализационных труб, обеспечивающих санитарное состояние площадки и т. д. и т. п. Еще о многом другом, не менее интересном, должен был бы рассказать я, если бы размеры этого очерка не заставляли меня ограничить количество введенного в изложение материала.

## XI

Основная работа, которую требовала и продолжает требовать стройка, — выравнивание почвы. Площадка, где стро-

ится завод, — неровна; ее восточная часть, примыкающая к горе, выше западной. Надо было следовательно с восточной высокой части землю снять и перебросить на низменную. В каких цифрах выражается общее количество земляных работ? Всего надо сделать выемку и переброску с восточной части на западную 4.500.000 кубометров. А при расширении проуджии завода до 4.000.000 тонн чугуна в год придется еще выбрать земли 3.500.000 кубоме-



Плотина. Вид с левого берега до того, как озеро наполнилось водой.

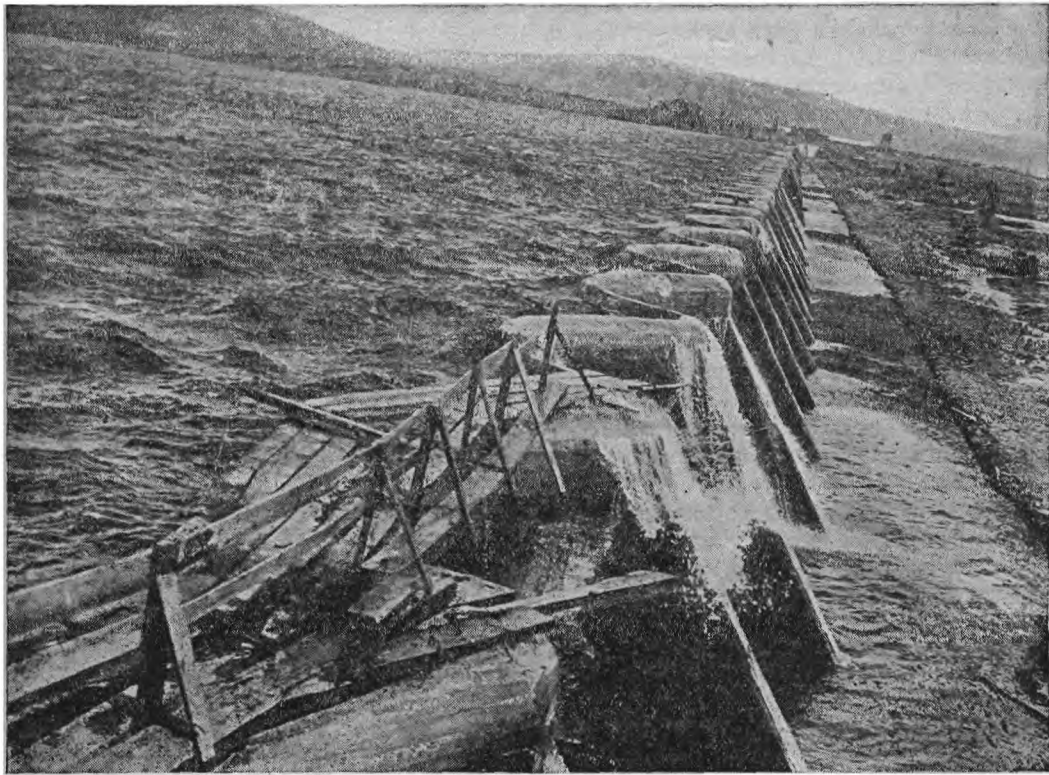
тров. До настоящего времени переброшено 1.500.000 кубометров. Это делают бригады землекопов в компании с американскими экскаваторами. Бригады соревнуются между собой, устанавливают рекорды и между прочим бьют иногда американскую машину. Но об этом ниже.

Необходимо было подготовить хоть какие-нибудь шоссе для перевозки материалов грузовиками, временные жел.-дор. пути, узкоколейку — для вагоне-

ток, широкую колею — для подвоза машин, сырья и пр. К Магнитогорску подведено железнодорожное полотно, установившее прямое сообщение стройки с Москвой и другими центрами Союза. Первый поезд пришел сюда 30 июля 1929 г. Магнитогорский вокзал—единственный в мире: он состоит из нескольких старых вагонов, где помещаются все службы. Внутри Магнитогорска проложены и прокладываются временные пути в зависимости от возникающих и

ной и безлюдной степью, делается ясным, что это превращение требовало громадных материальных средств, огромной предусмотрительности, внимания.

Все это я говорю, чтобы читатель мог охватить глазом весь тот об'ем работы, который, несмотря на прорывы, на отставания, запоздания, нераспорядительность и т. п., все-таки осуществлен. С начала стройки протекло каких-нибудь полтора года с небольшим — срок ничтожный. Но загляните: сделана выем-



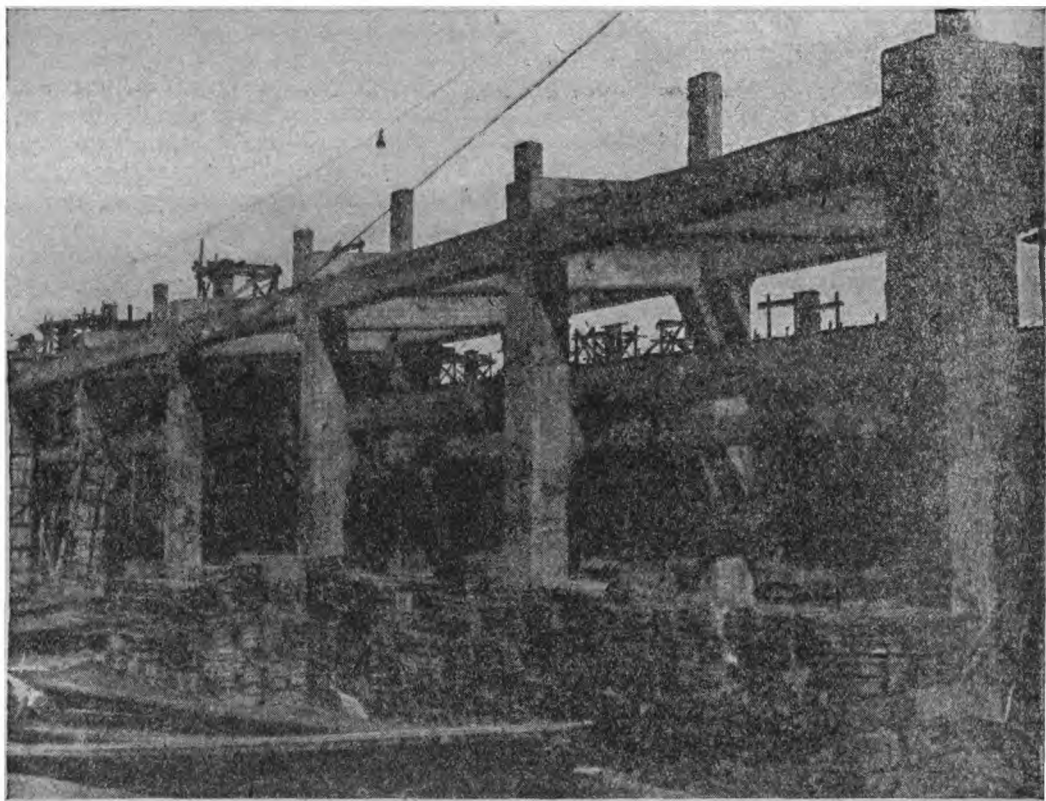
Плотина. Вид с правого берега. Последний снимок

удовлетворяющихся потребностей. Далее надо было создать временные постройки для рабочих: нельзя ведь приступить к строительству без рабочей силы. А иметь рабочую силу это значит обеспечить ей, во-первых, жилье, во-вторых — питание, в-третьих — лечебный уход, в-четвертых — соответствующие бытовые условия, культурно-политическое обслуживание и т. п. Если вспомнить, что еще в начале 1929 года площадь, ныне занимаемая Магнитостроем, была ров-

ка и переброска полутора миллионов кубов земли; вырыты котлованы для основных заводских зданий, заложены фундаменты, исчисляемые сотнями тысяч кубометров железобетона; возведено много стен; начата постройка доменных печей, — четыре из них уже высятся над строительством; возводится коксохимический комбинат; уже пущены в эксплуатацию и обслуживают стройку временные электрические станции; близится к окончанию возведение цен-

тральной электростанции; возведены временные жилища для рабочих и служащих и множество вспомогательных зданий; построены каменные большие здания заводу управления и гостиницы; начато возведение социалистического города; пущены в эксплуатацию рудник, рудоиспытательная станция, дерево-обделочный комбинат, завод бетонитовых камней, устроено искусственное озеро с гигантской плотиной; оборудованы кузнечные и механические мастерские; про-

десятом взрывают руду, в одиннадцатом взрывают скалу для постройки дробильных и обогатительных фабрик, в двенадцатом пускают в ход отстроенный завод, в тринадцатом собирают механизмы, в четырнадцатом разрабатывают план политобслуживания, в пятнадцатом обслуживают больных, в шестнадцатом организуются школы и вузы, в семнадцатом пишется, набирается и печатается газета, и так далее и тому подобное, — невозможно перечислить по по-



Стройка механического цеха

ведено много десятков километров внутренних ширококолейных и узкоколейных путей. Все это делается одновременно, в одном месте роют котлованы, в другом прокладывают временный путь, в третьем льют железо-бетонный фундамент, в четвертом возводят стены, в пятом ставят конструкции, в шестом строят трубы мартеновского цеха, в седьмом воздвигают доменные печи, в восьмом готовят арматуру, в девятом готовят опалубочный материал, в

ряду все те части многообразной кипучей деятельности, которая клокочет на этом куске степи, отнятом у природы и превращаемом в индустриальный центр. Все это делается на расстоянии тысяч километров от снабжающих органов, это значит — в полной зависимости от исполнительности и распорядительности поставщиков, в окружении множества препятствий, иногда с трудом преодолимых, но преодолеваемых всегда. Партия назначила пуск первых двух домен и

связанных с ними агрегатов на 1 октября этого года. Люди будут работать в ударном, в сверхударном порядке: задание выполнено будет. Такова психология социалистического строительства.

Для этой психологии характерен трудовой энтузиазм. Им действительно охвачено подавляющее большинство партийцев, комсомольцев, беспартийных Магнитостроя. Он заражает всякого, кто ступает на территорию строительства. Здесь воздух насыщен энергией. Вот точка мира, где буквально на сто процентов осуществляется лозунг: не трудящийся—не ест. Человек, который пожелал бы бездельничать на Магнитострое, был бы очень скоро изгнан с территории строительства. Для него не нашлось бы ни ночлега, ни куска хлеба. Право на жизнь здесь приобретает трудом. Не хочешь трудиться — можешь итти куда угодно: тут тебе места нет. Первые слова, с какими обратился к нам начальник аэродрома, лишь только мы вышли из кабины, были: «В чье распоряжение вы прибыли, гражданин?» И если бы мы не сумели удостоверить, что прибыли с разумной и полезной для строительства целью, нам пришлось бы сесть обратно в машину и лететь на все четыре стороны. В Магнитогорске нет места праздным.

Замечу мимоходом: на строительстве—«сухой закон». Там нет продажи ни водки, ни пива. Это не значит, что не бывает пьяных. Не могу утаить: пошатываются, есть грех, но, разумеется, редко. В нескольких километрах от стройки — поселок, значит есть и тайная продажа водки на базаре, из-под полы и т. п. Продается «монах» за 20—30 рублей.

И еще черта: ни одного, разумеется, храма. Никаких богов, никаких попов. Со стен и заборов громогласно разговаривают плакаты, энергичные и зовущие. Ободряют устающих, зовут отставших, укоряют лежебоков и разгильдяев, клеймят рвачей и шкурников.

Эта гигантская стройка имеет, разумеется, свои болезни. Они мешают ей хорошо делать свое дело. О них несколько слов.

## ХII

Одним из самых больших зол на Магнитострое является текучесть рабочей

силы. То же самое говорят и на других строительствах. В Магнитострое эта язва мешает своевременному выполнению плана. Нет нужды подробно объяснить, в чем дело: план, скажем, требует пять тысяч человек для земляных работ. Он будет сорван, если землекопы будут приходиться и уходить, вновь приходиться и вновь уходить. А такая картина и наблюдается в Магнитогорске. Я приведу для примера несколько цифр за первый квартал текущего года. Из прибывших за это время рабочих на площадке осталась одна четвертая часть. Текучесть чудовищная. Хуже всего то, что дефицит рабочей силы не уменьшается. Для января нехватка равнялась 17,9 проц., для февраля она поднялась до 36,1 проц., а для марта возросла до 61,4 проц. Такой рост текучести грозит срывом плана.

Какие причины создают эту текучесть? Их, разумеется, несколько.

Одна из основных — и таково мнение всех, с кем мне приходилось беседовать на строительстве, — заключена в плохих жилищно-бытовых условиях. Сюда надо отнести также и питание. При острой нужде в рабочей силе, когда стала обычной вербовка рабочих агентами различных строительных, рабочий уйдет туда, где ему обещают лучшие условия труда. Дело не только в неправильной системе зарплаты: как правило, зарплата на строительстве благодаря разным видам дополнительных, премиальных и сдельных оплат—достаточно высока. Тарификация нередко неправильна и нерациональна. Но одной зарплате недостаточно. Рабочий требует рациональной организации труда, сносного жилья, сносного питания и наконец организации его досуга. И вот по этим линиям на Магнитострое он не получает удовлетворения. О плохой организации работ, о неправильной тарификации, о неумении облегчить труд с помощью механизмов следует говорить особо. Коснусь здесь жилищно-бытовых условий.

Рабочие недовольны жилищем не потому, что жилище его — землянка или барак. Правда они далеки от идеального рабочего жилища, но на стройке, в спешке, где это жилище делается на время, идеальные требования и не могут быть предъявлены.



Земляной барак. Зима

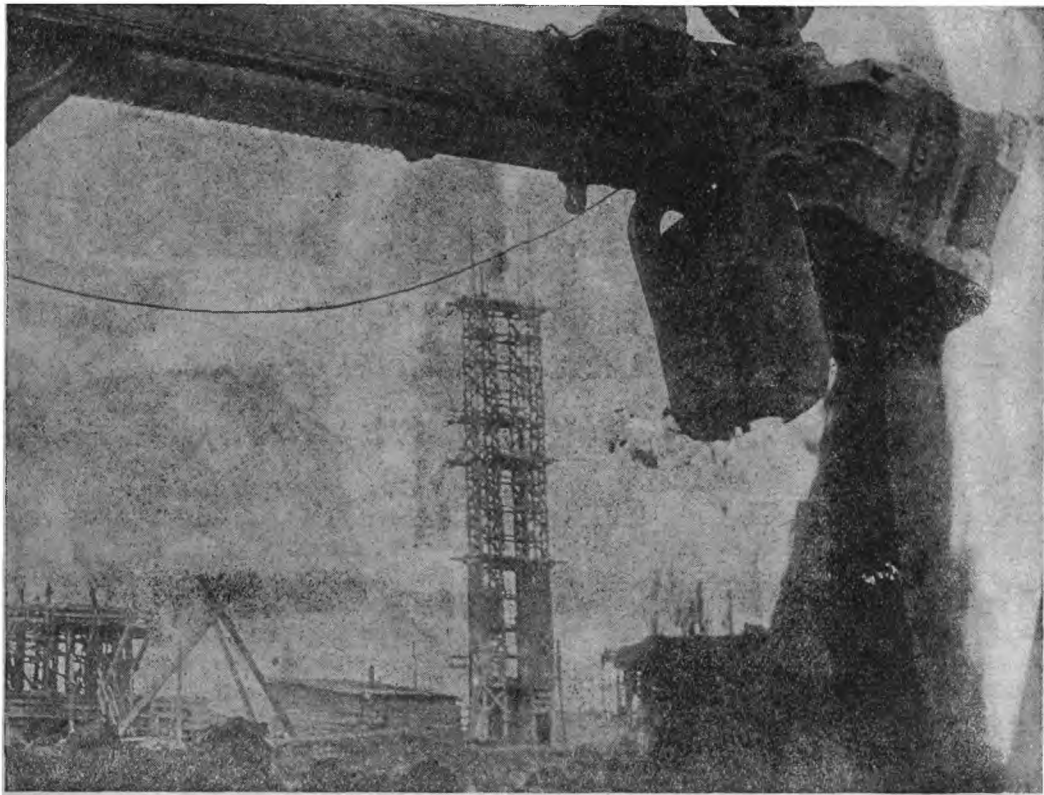
Но жилища переполнены сверх всякой меры, сверх отказа, вот в чем беда. В них духота, грязь, скученность. Если бы на строительстве удалось организовать досуг таким образом, чтобы рабочие значительную часть свободного времени отдыхали вне барака, если бы было достаточное количество кино, клубов, каких-нибудь нехитрых развлечений, жилищные недостатки стали бы менее чувствительны. Но на всю стройку — один театр на 750 человек, и находится он в стороне, а, следовательно, при громадной раскинутости строительства может обслужить только малое количество людей. На всем строительстве, если не ошибаюсь, всего три кинопередвижки, — жалкая цифра! Пока только возводится здание для цирка, но и этот цирк ожидает судьба театра: он очень невелик. Наконец в разных частях строительства всего четыре клуба — также небольшой вместимости. Почти что нет физкультурных площадок. Правда, есть стадион, но он как будто является пока только

украшением. Все это говорит о том, что не принято никаких действительных мер для организации досуга рабочих и служащих, для развертывания массовой политпросветработы, для физкультурно-го воспитания масс. Все это, разумеется, способствует текучести: при переуплотненном жилище, при наличии досуга почти что нацело отсутствует возможность этот досуг рационально использовать. Неудивительно, что иные, наиболее отсталые и слабые, прибегают к водке. Наконец вступает в действие еще одна причина: я говорю о плохой организации питания.

Надо сказать, что на ряду с другими первоочередными строительствами Магнитогорск снабжается регулярно и полно. С этой стороны жалоб я почти что не слышал. Но изготовление пищи и подача ее вызывают всеобщее и решительное негодование. Мало получить продукты, надо их, во-первых, сносно приготовить и, во-вторых, так организовать самый процесс получения пищи, чтобы

он не превращался в сплошное мучение. С этой стороны в Магнитогорске царит самое разностороннее безобразие. В рабочих столовых — грязь, вонь, колоссальные очереди, иногда отсутствие посуды, ложек, вилок, ножей. Не только грязь в столовых — грязь на кухне, приготовление пищи никуда не годится. Посуда нередко не мыта или вымыта плохо, ложки, вилки, ножи иногда хранят следы давно съеденной пищи; доходит до скверного запаха, идущего от

в такие условия, в которых он потеряет охоту, а то и возможность работать. Иностранцы имеют поэтому хорошую столовую, где без очереди, в чистоте могут получить хорошо приготовленную пищу. В этой столовой питается также и часть высшего адм.-технического персонала — и в этом также нет ничего нерационального. Но плохо вот что: сумев организовать хорошее питание для специалистов, руководство строительством не обратило серьезнейшего внимания на



Экскаватор нагружает платформу

посуды. Наконец очереди. От этого бича страдают в равной мере как рабочие, так и служащие, за исключением высшего административно-технического персонала, питание которого поставлено великолепно со всех точек зрения. Правда, высший административно-технический персонал организовывал это питание главным образом для иностранных специалистов — и поступил совершенно правильно: нерационально выписывать из-за границы инженера и поставить его

питание рабочих и служащих. А это не могло не отразиться вредно на рабочей силе.

Передо мною лежит акт обследования столовой при Центральной гостинице. Столовая эта обслуживает около тысячи служащих Магнитостроя. По сравнению со столовыми для рабочих она прекрасна. Я процитирую несколько мест из акта:

«1. Помещение разборочной находится в антисанитарном состоянии, так:



стола для разборки продуктов грязны, в окнах нет сеток для мух, по помещению разбросана старая, грязная тара и спецодежда. Возле сливной раковины поставлены бочки с продуктами незакрытые, отчего брызги грязной воды попадают на продукты.

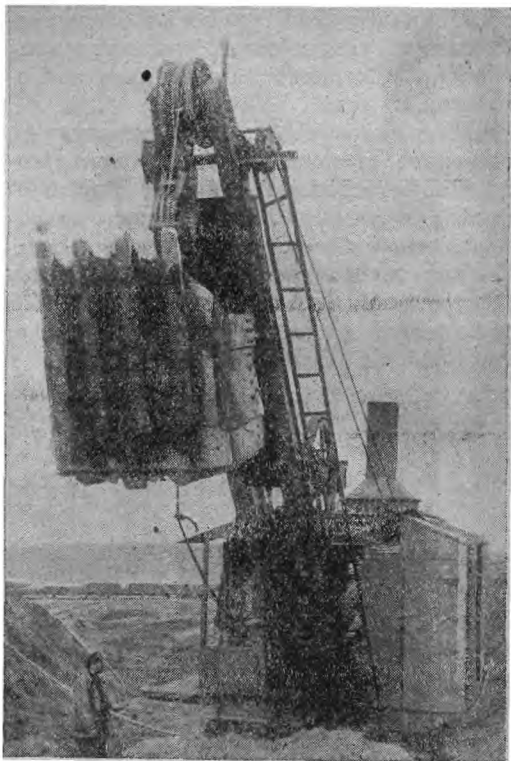
2. Помещение моечной для столовой посуды также находится в антисанитарном состоянии, грязный, сырой пол, на полках вместе с чистой посудой хранится одежда обслуживающего персонала.

3. Помещение кухни абсолютно не имеет вентиляции, теснота, полное антисанитарное состояние помещения.

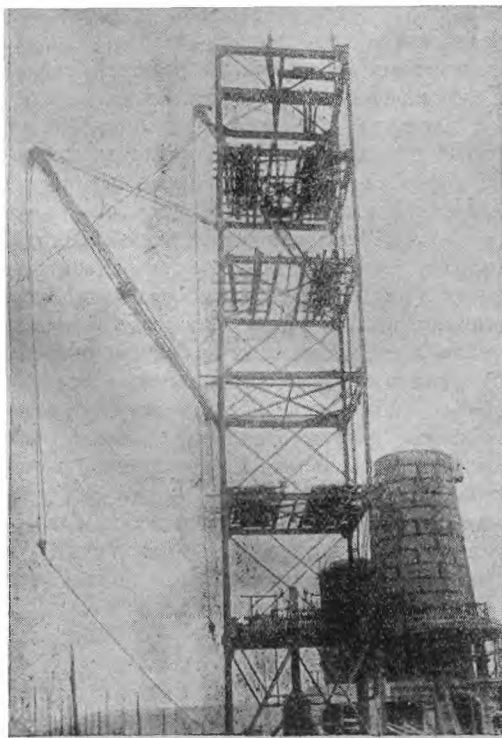
**Примечание.** Существующие два винтовых вентилятора не работают за неисправностью и маломощностью.

4. Помещение моечной для кухонной посуды весьма тесно и загромождено инвентарем, а также находится в крайне антисанитарном состоянии.

5. Помещение подвала находится в состоянии совершенно непригодном для пользования и потому угрожает питанию столующихся; так, пол залит канализа-



Комсомольский хозрасчетный экскаватор



гигантский подъемный кран (высота 60 метров)

ционно-сточными водами, параллельно с этим здесь же хранятся хлеб, овощи, рыба и производится приготовление пищи для буфета. Хлеб хранится в кучах на грязных столах, незакрытых от мух и пыли, а также в некоторых местах небросана на хлеб грязная тара.

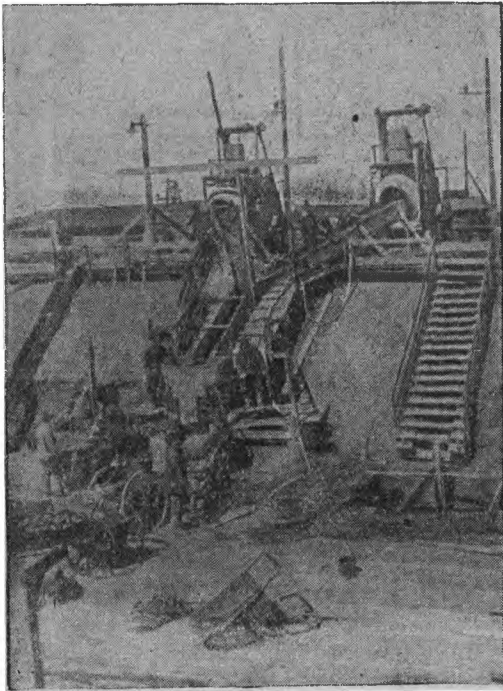
6. При осмотре ледников обнаружено: а) состояние склада продуктов находится в безобразном техническом состоянии, хранение не обеспечивает доброкачественности хранимых продуктов вследствие высокой температуры помещений и необорудованности, как например оборудование для хранения мяса; б) лед в леднике почти растаял, в помещении ледника на льду обнаружены осетровые головы, привезенные из Ам. столовой для утилизации в ст. 23, при чем состояние их не имеет гарантии за доброкачественность. Готовая приготовлением рыба «окунь», находящаяся на льду, на противнях, оказалась в испорченном состоянии.

Крупные кости от мяса, которые столовая администрация намерена исполь-

зывать для супов, валяются непосредственно на льду, отчего гарантирована недоброкачественность питания в пригтовленном виде.

**Общие выводы:** существующее состояние столовой № 23 при Центральной гостинице является угрожающим для развития острых желудочно-кишечных заболеваний столующихся.

Если таково состояние столовой при Центральной гостинице, можно себе представить состояние столовых, обслуживающих тысячи рабочих.



На бетонных работах. Наверху две бетономешалки

Когда ударник, усталый и голодный, придет поесть, вместо того, чтобы получить без промедления вкусную и горячую пищу, он принужден нередко час, а то и больше стоять в очередях среди голодных, как и он, людей, чтобы получить в конце концов тепловатую баланду, скверную на вкус и запах. Кто осмелится утверждать, что он не имеет оснований для негодования?

И вот эта причина в связи с плохими жилищно-бытовыми условиями также способствует текучести рабочей силы. Ни вы-

сокими заработками, никакими обещаниями нельзя удержать на работе даже энтузиаста-ударника; он ведь ударничать будет везде, но он превосходно знает, что успешнее всего он будет ударничать там, где ему обеспечат сон, пищу и отдых. При огромной трате энергии, какая происходит на ударной работе, необходимо ее быстрое пополнение. А это затруднено в тех жилищно-бытовых условиях, какие имеются на Магнитострое и, возможно, на других стройках. Это всеобщее бедствие. Об этом мне приходилось также слышать в Челябинске — на Тракторострое. Там примерно аналогичные условия текучести. На Челябинсктракторострое в одной из столовых (к сожалению, далеко не во всех), обслуживающей около тысячи рабочих, сумели уничтожить очереди. Правда, пришлось увеличить обслуживающий персонал для раздачи пищи, для мытья посуды. Это потребовало дополнительных расходов. Но ведь совершенно безрассудной является экономия на этом деле, потому что экономия тысячи рублей на организации питания, строительства тратят миллионы рублей на вербовку рабочих. А сколько убытков несет страна от срывов плана, происшедших из-за текучести рабочей силы? Если же деньги, бросаемые на вербовку, вложить в организацию питания, на улучшение жилищно-бытовых условий, — не было бы разве полезного эффекта? В Челябинске успех был достигнут просто: в той столовой, о которой мы говорили, вместо двух-трех раздатчиков пищи (на много сотен обедающих!) поставили шестнадцать человек, увеличили число людей, моющих посуду, и очереди оказались уничтоженными, исчезла грязь, пищу стали получать на руки горячую. Разумеется, параллельно были приняты меры к улучшению качества самой пищи: здесь также без увеличения обслуживающего персонала и, разумеется, рационализации труда и применения механической подготовки продуктов ничего не выйдет.

\*\*\*

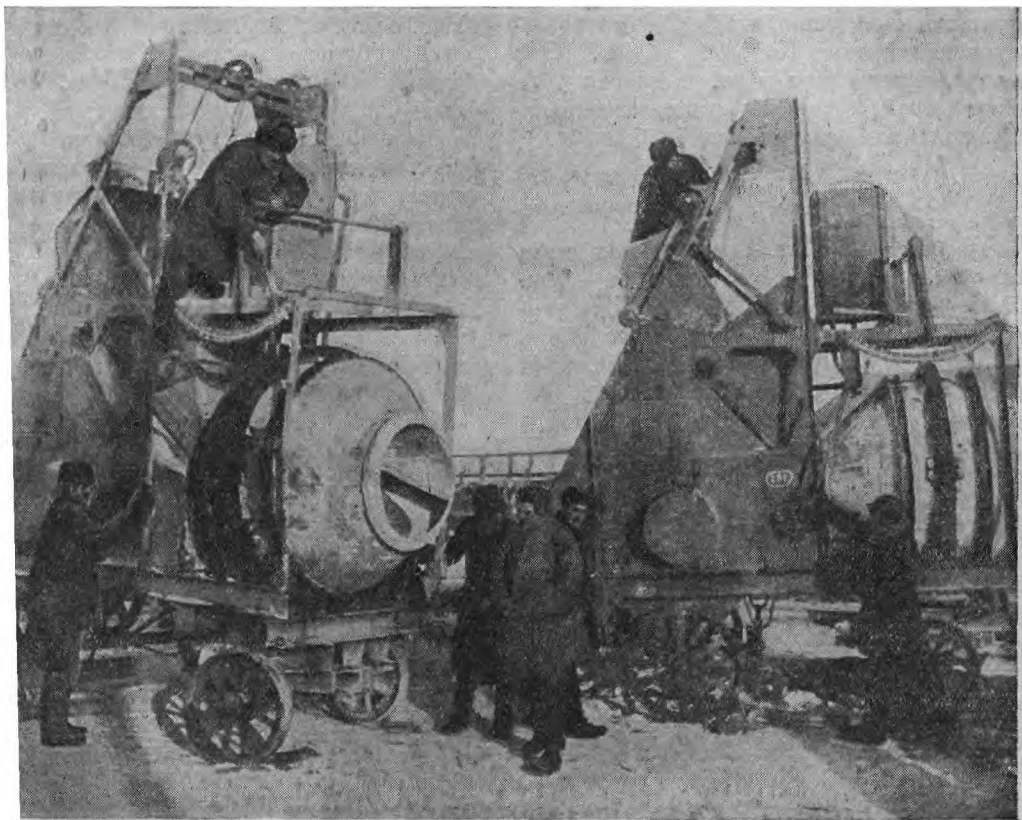
Тут возникает такой вопрос. Существует ли какая-нибудь организация, которая изучала бы опыт наших строителей, учитывала его и систематизи-

вала? Ведь мы строим не первый д. Строить будем еще продолжительное время. Учимся ли на наших ошибках? Приведенные факты и много других из смежных областей дают богатейший материал для разрешения и навсегда многих организационных вопросов, связанных с первыми шагами строительства. Взять хотя бы организацию и возведение временных жилищ: они различны на разных

пребывание в них трудно переносимым. То же самое в области питания, в области организации досуга.

\*\*\*

Из общего количества прибывших на Магнитострой в апреле рабочих 56,7 проц. составляют вербованные. Если таково примерно соотношение вербованных рабочих к не вербованным на остальных строительствах, это озна-



Просмотр бетономешалок

ительствах. А разве нельзя было только разработать стандартные типы таких временных построек, но даже дать крупные предприятия для массовой, механизированной их подготовки.

Сколько денег было бы сэкономлено, и бы была рационализирована и механизирована вся подготовительная и луживающая часть. А ведь это вместе с тем, что было бы избегнуто переуплотнение (из-за недостатка построек) жилищ, которое делает

часть: все строительства наперебой перехватывают друг у друга рабочих, т.-е. наносят огромный вред сами своему собственному делу, расходуя на это самовредительные средства. Не целесообразнее ли принять меры к уничтожению условий, способствующих текучести? Не лучше ли ликвидировать причины, потратив на ликвидацию средства, — они исчисляются миллионами, — бросаемые на вербовку?

Можно было бы в качестве других

причин текучести привести факты, свидетельствующие о плохой организации зарплаты. Бывает так, что рабочие, работающие на одной стройке и в близком соседстве, но в разных бригадах, получают различную зарплату за одну и ту же работу. Такие жалобы слышали мы в Коксохиме. С другой стороны, рабочие, делающие разную работу, при разных качественных и количественных показателях получают плату одинаковую. С одной стороны, неправильная, произвольная тарификация, с другой — «уровнировка». Которая хуже? Обе плохи, потому что и та, и другая убивают охоту к соревнованию, вызывают справедливое недовольство рабочих.

### XIII

Текущее — не единственная язва строительства. Недостаток этот — следствие нерациональной организации зарплаты, условий труда, рабочего быта, жилищных условий. В еще большей степени можно сказать это про другое явление, мимо которого нельзя пройти молча. Я хочу сказать о работе механизмов.

Магнитогорск строится с применением импортных механизмов, сооруженных по последнему слову техники. Каждый механизм выполняет работу в объеме, превышающем силы многих людей, вместе взятых. Это — азбука. Когда наблюдаешь например, как экскаватор, возая в землю гигантские стальные зубы, захватывает ими горсть земли объемом во много кубометров, поворачивается в сторону и, разжав челюсти, бросает землю на грузовую платформу, почти заполняя ее, отчего платформа вздрагивает и оседает, как лошадь, которую неожиданно ударили по хребту оглоблей, когда рядом с этим железным чудовищем, совершающим обдуманное и точные движения, поворачивающимся в разные стороны, пытаящим от натуги и не знающим усталости, видишь человека, ковыряющего землю тоненьким заступом, — человек кажется комаром, состоящим из паровоза.

И тем не менее — это может показаться невероятным — иногда эти самые человечки с заступами в руках —

землекопы — бьют могучую американскую машину. Это происходит не только благодаря соревнованию и энтузиазму, с каким работают некоторые ударные бригады. Это происходит и потому, что мощные американские машины работают в полсилы, в четверть силы, т. е. далеко не используют всей своей мощности. Нет поэтому ничего удивительного в том, что иногда — об этом с горечью говорил в своем интервью представителям печати начальник Магнитостроя т. Гугель — один кубометр земли, изъятый землекопами, обходится в 1 р. 25 к., а кубометр, взятый экскаватором, стоит 5 рублей. Картина ужасающая, которая говорит о неумении использовать имеющиеся механизмы. Оппортунисты попытаются заметить, что это неумение есть результат не отсутствия рационализации, нежелания, неумения работать, а одна из «объективных» причин. Но эти «объективные» причины исчезают мгновенно, если объявить погив них настоящий поход.

Неумение использовать механизмы вот другой бич Магнитостроя. Прав с самого начала была допущена ошибка: механизмы были заказаны, а строителей из-за «экономии» к машинам не выписали. Поэтому изучение механизмов происходило без опыта технического руководства. Отсюда большой процент поломок, частые монтажные, неточная сборка в пользовании и т. п. Но ведь было достаточно времени, чтобы изучить механизмы до тонкости. А этого нет по сию пору. Механизмов на Магнитострое не хватает, эти жалобы слышишь очень часто. Тем не менее числа тех, что имеются на строительстве, работают далеко не все. Другими словами: не только используется не полностью каждый механизм в отдельности, — часть механизмов вообще остается неиспользованной. Возьмем для примера экскаваторы. При огромной площади, на которой развернуты земляные работы, можно было бы, казалось, использовать не только 21 экскаватор, принадлежащие Магнитострою, но и несколько раз больше. Одно в последнее время работали только 10 машин. Где же находились оста-

ые одиннадцать? Две из них отданы в аренду (в Ленинград и Троицк), другие переданы в эксплуатацию горнорудному управлению в Магнитогорке. Если бы экскаваторы работали в орнорудном управлении, с этим еще можно было бы мириться. Но в том-то дело, что из трех машин там была использована всего одна, — две были в ремонте. Два экскаватора отданы кирпичному заводу, но стоят на заводе без дела и т. д. Картина, способная вызывать недоумение. А как работали действовавшие экскаваторы? При трехменной работе они должны были отработать 7.200 часов. Отработали же на деле только 4.805 часов, т.е. 66,6 проц. Но из этих отработанных часов полезной работы было проделано 1.416 час., т.е. 29,5 проц., остальное время, которое экскаватор числился в рабочем состоянии, падает на простой из-за разных причин. Таковы цифры за апрель месяц этого года. Другие месяцы дают не более утешительную картину. Большею частью, если машина не в ремонте, она стоит 1) из-за ожидания состава для отгрузки земли, 2) в ожидании бригад, 3) в ожидании набора воды, 4) из-за отсутствия тока, 5) из-за отсутствия воды, 6) угля и т. д. и т. п. Неорганизованность, отсутствие рационального ухода за машиной бросаются в глаза.

В январе работа экскаваторов составила 14 проц., в феврале—25,74 проц., в марте — 16,5 проц. всего рабочего времени. В среднем на квартал машины работали 18,8 проц. рабочего времени. Другими словами 81,1 проц. падает на простой. При такой картине использования экскаваторов нечего удивляться тому, что в итоге — не до вы пол не ние земляных работ по мартеповскому и прокатному цехам, по воздухоудвке и по коксохимкомбинату. Работа двигалась бы еще медленнее, если бы не работа ударных бригад землекопов, которые рядом с почти бездействующими гигантами делают чудеса.

Сходная картина наблюдается при использовании бетономешалок. Всего бетономешалок на Магнитострое 42. Это количество невелико сравнительно с потребностью. Но и это небольшое количество остается неиспользованным.

Так напр. из 42 машин, имевшихся на строительстве в марте этого года, были намечены для работы 21 машина. Введено же в работу всего 17, при чем эти введенные в работу машины были использованы в среднем на 17,75 проц. В феврале было в работе только 15 машин с использованием на 15,9 проц. Картина, как видим, сходная. Совершенно естественно поэтому, что «Магнитогорский рабочий» бьет тревогу по поводу такого использования, или вернее систематического неиспользования механизмов. Те же тревожные ноты слышны и в отчетных обзорах строительства, помещенных в последнем номере «Бюллетеня Магнитостроя». Один из номеров газеты «Магнитогорский рабочий» был посвящен обзору работы механизмов. Газета пришла к такому выводу:

«Небрежное отношение к механизмам, плохое наблюдение за ними, недостаточно продуманный выбор импортного оборудования, отсутствие строго и точно разработанного плана использования механизмов, особенно строймеханизмов, отсутствие планов, доведенных до отдельных рабочих мест, отсутствие хозрасчета, — все эти причины и ряд других приводят к неполному использованию импортного оборудования, уже находящегося на площадке, и ставят перед угрозой неиспользование того импортного оборудования, которое еще должно получиться на площадке».

Интенсификация работы механизмов — ударная и первоочередная задача. Здесь — непочатый край для мобилизации внутренних ресурсов. С тем количеством механизмов, каким располагает Магнитострой, можно очень сильно увеличить производительность работы. Использование механизмов — вообще слабое место на стройке. Стоят не только краны, лебедки, бетономешалки, экскаваторы, простаивают импортные великолепные станки в центральных механических мастерских, — иногда из-за неумения обращаться с оборудованием, иной раз из-за нерациональной постановки работы, нередко по той причине, что электростанция нетнет да и зашалил, — тогда часами стоят без света и тока станки, машины,

производственные и жилые помещения. Простои из-за неподачи энергии достигают в месяц многих тысяч человеко-часов. Но это — одна из частных и не главных причин простоев. Основная же беда — в неумении наладить использование механизмов. Здесь предстоит еще сделать очень много и в смысле подготовки кадров, и в смысле рационализации самой техники работы. В ежедневных сводках, какие печатает «Магнитогорский рабочий» о земляных, бетонных, рудных и других работах, указания на хроническое неиспользование механизмов бросаются в глаза.

Борьба с неиспользованием механизмов является конечно большой заботой для руководителей строительства. И т. Гугель, начальник строительства, и т. Валериус — его заместитель по стройке, и т. Карклин — руководитель магнитогорской партийной организации в числе основных болезней магнитогорской стройки в один голос указывают на эту черту. Тем не менее до сего дня она еще не истреблена. Это значит, что борьбе с ней уделяется недостаточно энергии. Во всяком случае в той мобилизации внутренних ресурсов, которая сейчас объявлена в Магнитогорске, борьба с неполным использованием их стоит на виднейшем месте.

\*\*\*

Раз мы стали говорить о причинах, мешающих поднять темпы стройки, нельзя не сказать об явлении, задерживающем темпы строительства. Мы имеем в виду систематическое запаздывание с выполнением заказов Магнитостроя — во-первых, несвоевременное выполнение проектировки чертежей — во-вторых; неисправное их проектирование — в-третьих, и наконец работу транспорта.

#### XIV

Несвоевременное выполнение заказов на конструкции, на основные материалы, на необходимое оборудование, — эта беда снижает темпы не одного Магнитогорска. Громадное строительство Челябинского тракторостроя (также один из гигантов, рассчитанный на выпуск сорока пяти тысяч тракторов в год) в те дни, когда была там наша бригада, в

значительной мере бездействовал. Фундаменты возведены, часть стен отлита, подготовлены площадки для установки конструкций, не прибыли лишь самые конструкции. А работа велась таким расчетом, чтобы ко времени окончания первоочередных строительных работ конструкции были на месте без их установки немыслимо дальнейшее продвижение работ. Но конструкций нет, как нет. Тов. Ловин, начальник Челябинского тракторостроя, с бешеным говором об этих «изменах» поставщиков: «Душат они нас, режут под корень». Была в Челябинске беда и с чертежами: либо они поступали с задержкой, либо, если приходили вовремя, имели просчеты и ошибки, в результате которых приходилось иной раз разрушать часть уже возведенного строения, исправлять размеры и т. п. Те же неполадки оказались и на Магнитострое. И здесь несвоевременное и неправильное иной раз выполнение чертежей и заказов останавливало работы. Совершенно очевидно: как бы успешно ни шло возведение фундаментов и стен центральной электрической станции, если вовремя не подоспеют железные конструкции, а следом за ними и самое оборудование, — центральная электрическая станция не будет пущена в назначенное время. То же самое приходится сказать про остальные предприятия: ни доменный цех, ни цех мартеновский, ни прокатный не могут быть созданы усилиями одних только строителей Магнитогорска. Какой бы энтузиазм они ни проявили (а мы видели подлинный энтузиазм), каких бы ударников ни выдвигала рабочая масса (а Магнитогорск выдвинул превосходных ударников — настоящих героев хозяйственных штурмов), Магнитогорск как целое не будет пущен в срок, назначенный партией, если не выполнят своих обязательств перед Магнитогорском те наши заводы и предприятия, которые принимают участие в стройке. А участниками стройки являются «Стальпроект», составляющий проекты и чертежи для Магнитогорска, заводы Коломенский, Краматорский, Днепрпетровский, имени Молотова, «Компрессор», «Серп и Молот», «Севкабель», им. Кирова, «Манометр», им. Рыкова.

им. Фрунзе, Керченский, «Самоточка», «Электросила» и многие другие. Именно на этих заводах размещены заказы Магнитостроя на железные конструкции, на турбины, станки, приборы, арматуру, огнеупор, словом на все оборудование строительное и заводское, без которого, разумеется, не будет Магнитогорского металлургического завода. Магнитогорская стройка, так же, как и всякое другое строительство в нашей стране, есть общее, коллективное дело всего нашего общественного организма. И если сдают «Серп и молот» или «Севкабель», или «Электросила», — это отражается и в Магнитогорске, и на Челябинском заводе, и в Кузнецке, ибо все эти стройки — части одного, единого, общего строительства социализма, происходящего на территории нашего Союза. Оттого-то прорыв, скажем, на Краматорском заводе, неполадки на «Манометре» или других заводах бьют по Магнитогорску, по Кузнецку и всем тем строительствам, на которые работают эти заводы.

Я не знаю точно, как обстоит дело на перечисленных заводах, обязавшихся дать во-время магнитогорскому строительству материалы, станки, машины, инструменты и т. д. Я знаю только, что Магнитогорск страдает от несвоевременного их получения, а если он кое-что получает, то нередко такого качества, которое снижает темпы работы. Из четырех доменных печей, возводимых ныне в Магнитогорске, вторая по счету возводится одними только комсомольцами. Работа ведется днем и ночью, — домна выростала на наших глазах. Когда мы пришли, был поздний вечер, нас обступили ребята, вымазанные, усталые, встрепанные. Посыпались жалобы. Отгадайте, на что жаловались они? На плохое питание? На плохие жилища? На какие-нибудь недостатки быта? Ничего подобного: все, как один, с возмущением говорили о том, что им присылают инструмент из мягкой стали, что он скоро выходит в тираж, что обжимки, без которых они работать не могут, никуда не годятся, а это останавливает работу, что нельзя развернуть ударных темпов по этой именно причине. Эта частности очень характерна.

Несвоевременность выполнения заказов, плохое их выполнение, неисправная доставка на место — все это вместе взятое тормозит строительство. Несмотря на постановление ЦК от 25 января этого года, несмотря на ряд распоряжений правительственных органов, несвоевременность снабжения продолжает иметь место. Чтобы не быть голословным, приведу некоторые цифры. По плану в апреле мес. должно быть получено кирпича строительного 17.262.000 штук, а получено — 1.840.000, т.е.



Фото не требует пояснений

10,7 проц. Шпалы должны были поступить в количестве 97.850 штук, а поступило 29.000, т.е. 29,6 проц. Цемента было получено 55 проц. плана, балок и швеллеров — 46,9 проц. Правда, можно указать и обратные случаи, когда неожиданно какого-нибудь материала доставляется в полтора, в два и более раз больше, чем надо по плану. Так, в том же апреле поступило кровельного железа 233,2 проц. плана. Здесь возникает вопрос: как это могло произойти? Либо в апреле «дослали» недосланное за прежние месяцы, либо

Магнитогорск по ошибке получил до-бавочную порцию за чей-то счет. За первый квартал этого года вместо 363 вагонов среднесуточного поступления на деле поступало всего 126 вагонов, т.-е. 34,7 проц. Об этом надо громко крикнуть, чтобы эхо отдалось на всех заводах, предприятиях и на транспорте, питающих Магнитогорскую стройку. И руководство строительством, и партийная организация Магнитогорска, и «Магнитогорский рабочий» своевременно сигнализируют об этих опасностях. «Магнитогорский рабочий» представляет собой как бы оперативный орган строительного штаба. Каждый почти день газета сигнализирует то об одной, то о другой опасности, грозящей срывом работ, замедляющей темп. Остается лишь, чтобы эти сигналы были восприняты. На днях опубликованные сведения о приказе по ВСНХ за подписью т. Орджоникидзе говорят о том, что в центре меры приняты. Остается ждать в самый короткий срок исправления недочетов. Первые дома Магнитогорска должны быть пущены 1 октября этого года. Так постановила партия, так требует правительство. И это должно быть сделано!

Для этого должны быть мобилизованы все средства, находящиеся в распоряжении строительства. Руководству партийному и техническому много надо сделать, чтобы поднять труддисциплину, производительность труда, повысить использование механизмов, рационализировать порядок работ, мобилизовать внутренние ресурсы, которые велики, но далеко не использованы до конца. Нечего греха таить: при «сухом» законе есть и пьянка, есть и прогулы, и разгильдяйство, есть тайное вредительство, есть и явные вылазки классового врага. За день до нашего отъезда было совершено хулиганское избиение в бараке лучшего ударника Магнитогорска бригадира Сагадеева. Все это требует внимания со стороны профессиональной и партийной организации. Все это требует усиления бдительности и распорядительности со стороны руководства строительством. Можно ли сказать, что сделано все, что требуется интересами дела? Сказать так значило бы замазать то обстоятельство, что

профорганизация Магнитогорска сделала не все, что было в ее силах, чтобы устранить тот ряд нездоровых явлений, о которых мы говорили выше. Думается, что и партийная организация могла, в смысле мобилизации партийных масс, вовлечения в партию, в смысле организации пролетарского общественного мнения, сделать больше того, что сделано. Словом, работы — непочатый край. И нельзя сомневаться в том, что и новое руководство строительством, парт- и профорганизации Магнитогорска, превосходно сознающие сложность положения на стройке и свою ответственность перед партией и рабочим классом, примут все меры к тому, чтобы намеченный 1 октября пуск первых двух домен был действительно осуществлен.

## XV

Как оценивает положение руководство Магнитостроем? Все они, не замыкая прорывов и недочетов, отчетливо говорят о недостатках, о промахах, срывах на строительстве и о мерах для борьбы с ними. Все то, что написано здесь, — а я привел лишь небольшую долю материалов, — написано частью по записям, сделанным мною при личном изучении участков строительства, частью со слов указанных товарищей и по материалам, предоставленным ими в мое распоряжение<sup>1)</sup>. Некоторые цифры взяты из официальных печатных источников, публикуемых регулярно управлением Магнитостроя. В большевистски-самокритическом подходе к своему собственному делу лежит залог того, что болезни, какими болеет Магнитострой, при участии партийной и советской рабочей общественности будут изжиты.

А дефекты, недостатки и неполадки — мы привели их далеко не все — в конечном итоге тормозят работу, срывают планы, создают временами угрозу своевременному пуску завода. В этом направлении предстоит сделать очень много, сделано же далеко не все, что было в силах. Темпы, какие разверты-

<sup>1)</sup> Пользуюсь случаем принести благодарность т. Валериусу — зам. нач. строительства, и т. Ларину — нач-ку информ. отдела Магнитостроя.



вает строительство, — и это надо сказать со всей большевистской прямо- той, — ни в малой степени не могут быть признаны достаточными. Они слишком резко отстают от задания. Так напр. апрельский план был выполнен всего на 28,5 проц., а в марте, феврале, январе дело обстояло еще хуже. В моем распоряжении нет цифр, которые показали бы общий итог работы в мае. Наблюдения же, вынесенные мною при личном ознакомлении со строительством, дают мне основание полагать, что эти низкие темпы преодолены, что тенденция к росту сделалась твердой и постоянной.



Несмотря на недочеты, трудностям вопреки, Магнитострой развертывается, сооружения возводятся, экскаваторы, хотя и плохо, но все-таки роют землю, вагонетки перебрасывают ее на другие участки, возвращаются бетономешалки, снуют ковши по бетонолитным башням, грызут камень дробилки, растут печи Коксохима, выше и выше поднимают свое горло домны, возникают и растут, как живые, чудовищные трубы цехов, долбит гору армстронг, разламывают ее взрывы, растет добыча руды, перетаскивают тяжести катерпиллеры, бегают грузовые автомобили, приходят и уходят груженые до отказа поездные маршруты, режутся в земле котлованы, отливаются фундаменты, вырастают стены, из груды кирпича, щебня, леса показывается соулгород, озеро плещет о землю, работают только что сооруженные завод бетоновых камней, лесопильный завод, механические мастерские, меняется лицо горы Магнитной, — в пыли, днем под обжигающим солнцем (жара свыше 40°), ночью в свете электричества, под косящими голубыми снопами прожекторов, без перерыва, смена за сменой, кипит стройка, вырастает из земли Магнитогорский гигант.

Говорю без преувеличения: работа ударников меня потрясла. Я знал энтузиазм героической военной эпохи. Я видел людей, ходивших в штыковые шапки, уходивших в разведку, не думавших о жизни. Среди моих друзей были участники взятия Перекопа. Это

были люди! Гражданская война родила множество героев, и страна наша чтит память погибших, окружает любовью и вниманием живых. Героическая эпоха военной борьбы ушла в прошлое. Но ошибется тот, кто подумает, будто наша эпоха — эпоха будней. Напротив, она полна такого же точно, даже более высокого героизма, ибо полна борьбы. Правда, борьба ведется не на военных, а на фронтах пятилетки, не грудь с грудью с классовым врагом, но с хозяйственными трудностями. Преодолеваются не окопы, не проволочные заграждения, а разгильдяйство, бесхозяйственность, техническая неграмотность, нераспорядительность. Берутся штурмом не вражеские крепости, а отдельные хозяйственные задачи, ведутся не штыковые атаки, а земляные работы. Эта борьба менее эффектна, не так увлекательна, как военная борьба. Но, быть может, именно потому она не менее величественна: в ней больше скромности, она требует более самоотвержения, больше глубокого желания послужить родному классу своими силами, всей своей жизнью. И образцы не одиночного, не индивидуального, а коллективного, массового героизма — перед нами. О таких героях говорит сейчас наша многомиллионная пресса. Героев труда награждает советская власть. Для их прославления издаются многочисленные издания, и нет более справедливого воздаяния, чем это чествование: ударники его вполне заслужили.

## XVI

Магнитогорск является одним из плацдармов, где ведутся сейчас решающие бои за пятилетку. Конкретно они ведутся в Магнитогорске за своевременный пуск первых домен 1 октября 1931 г. Вопреки всем недостаткам и недочетам, наперекор трудностям, в пик вредителям, разгильдиям и голомотяпам, вольно или невольно срывающим программу стройки, магнитогорцы, предводительствуемые партийными и комсомольскими организациями, штурмом преодолевают множество затруднений.

Я говорил уже о плотине. Это грандиозное сооружение — одна из величайших плотин в мире. Иному читате-

лю может показаться, что построить такую плотину — левая вещь. В чем дело? Взял и построил. Но если читатель подумает о том, что плотина не должна «шалить», что от устойчивости ее зависит будущая судьба Магнитогорского завода, если он поймет, что плотина делается из железо-бетона, что прежде чем ее отливать, надо произвести глубокую выемку земли, забить в почву много железа и дерева, чтобы укрепить грунт, что плотина состоит не только из могучего заграждения, способного противостоять страшному напору воды много десятков лет, но еще из флютбета, т.-е. водосливной части (вода, сливаясь, может прогрызть прилегающую почву), если читатель узнает, что до постройки плотины надо было сделать примерно около 160.000 кубических метров земляной и каменной выемки, забить свыше двух с половиной тысяч погонных метров железного и деревянного шпунта, уложить около 50.000 кубических метров железо-бетона, а бетон приготовить тут же около плотины, что на плотину, кроме того, пошло свыше пятисот тонн арматуры, — а в тонне 60 пудов, — несколько километров различных труб, что для всех этих работ надо было подвести к месту стройки несколько километров железнодорожных широких и узкоколейных путей, что всего на стройке плотины было занято около двух с половиной тысяч человек, быть может, эти краткие цифры помогут читателю представить себе, сколько труда требовала постройка такой плотины, имеющей сто две арки, высотой свыше трех саженей каждая.

Плотина была сделана в два приема: первая часть — самая плотина — в 75 дней. Вторая часть — флютбет — в 73 дня. Работа шла ударным порядком. Бригады землекопов и бетонщиков, инженеры и техники, партийцы и профессионалисты буквально днем и ночью, без передыха (некоторые более круглых суток не покидали работ), вызывая друг друга на соревнование, опережая друг друга в установке рекордов, воздвигали плотину с поразительной быстротой и точностью. Плотина строилась сразу с двух берегов. Правый соревновался с левым. Если побеждал

один берег, победители зажигали красный огонь. Отставший берег брался догонять. Если ему это удавалось, когда он опережал противника, — огонь на берегу отставших потухал, на берегу победителей загорался. Так, соревнуясь, противники сошлись около середины плотины. В этом соревновании происходили иногда удивительные вещи. Среди соревновавшихся была группа рабочих бетонщиков, бригада Захарова. Она была одной из отсталых бригад. Сам бригадир попал даже на черную доску. Но когда соревнование затронуло лучшие пролетарские чувства его — гордость, сознание трудового достоинства, когда Захаров увидел, как отстает его бригада в общей работе, он взял себя в руки и вместе со всей бригадой продвинулся в первые ряды лучших ударников. Бригады наперебой выполняли и перевыполняли задания, назначенные по плану.

Бригада плотников Пичужкина дала 160 проц. плана, Южакова — 132 проц., Костылева — 118 проц., Ананьева — 116 проц. Впереди шли бригады бетонщиков Калмыкова, Никольского, Сабунаева, Захарова, Пивоварова, Хасанова, Климкина и Байдакова.

Плотина была сделана раньше назначенного по плану срока.

Сделана она была, как мы уже говорили, в два приема. Первая часть заняла 75 дней. 26 ноября 1930 г. она была закончена. Осталась водосливная часть. И вот здесь, в перерыве, произошла заминка. Кое-кто из работников решил почтить на лаврах. То ли головы закружились от успеха, то ли нехватило порошу на продолжение работы, но... демобилизационные настроения овладели работниками. Темпы падали стремительно. После великолепных побед в октябре и ноябре — в декабре план был выполнен всего на 12 проц. Это был прорыв! На сцену выступила партийная организация. Райком сменил секретаря ячейки, допустившего такое снижение темпов. Были брошены на укрепление профсоюзной работы новые товарищи, усилено техническое руководство работами, и стройка вступила во второй героический период, не уступавший первому. Новый подъем изменил картину работы. Снова энергично



Тов. Улогов — бригадир землекопов  
мартеновского цеха



Тов. Шайхутдинов — бригадир бригады  
нацмен



Тов. Сагадеев — бригадир бетонщиков на  
коксхиме



Тов. Буховцев — бригадир землекопов

заработали экскаваторы, бетономешалки, задвигались вагонетки, вновь об'явились ударные бригады, опять стали изгоняться прогульщики и лодыри, вновь закипело соревнование, стали собираться летучки, устанавливавшие лозунги работы, вновь обнаружались энтузиасты, круглые сутки не уходившие со своих постов, появились встречные планы, звавшие к перевыполнению заданий, и флутбет был закончен в 73 дня. Работе мешали морозы: если самая плотина возводилась в осенние месяцы, работы по флутбету приходились на месяцы зимы. А зима в Магнитогорске — не московская. Морозы превышали 40°. Тепляка не было: работали на открытом воздухе. Было много случаев отмороживания рук и ног. Много людей жестоко пострадало от саботажа природы. Но и такой саботаж ничего не мог поделать. Это был штурм, не уступавший жесточайшим штурмам гражданской войны. И штурм окончился победой. Сейчас плотина, массивная и спокойная, гигантской своей железобетонной ладонью установила воду Урала. Она перерезала речку, и некоторое время Урал ниже плотины подсох. За пятьдесят, за семьдесят километров ниже Урала возникло страшнейшее беспокойство: большевики украли Урал! Издалека приезжали степенные казаки, с тревогой искавшие: куда делась вода? Разводили руками, качали недоуменно головами. Убывав озеро, по которому при ветре бежали седенькие волны, синим стеклом блестящие в Магнитогорской серой степи, они таращили глаза от изумления. «Ах, черти! — говорили старики, традиционно скребя в затылке, — чего наделали!» Страхи за речку оказались напрасными. Сейчас озеро, накопив воду за время весеннего половодья, сливает ее избыток через флутбет.

Разыскав свое старое, привычное русло, попрежнему плещет старый горный Урал в стареньких своих берегах, недовольно ворча на беспокойство, причиненное ему на время неугомонными большевиками.

\*\*\*

На озере со временем организуется гребной спорт. Оно будет использовано

вероятно и для купанья. По берегу будут посажены деревья: сейчас степь гола, как сковорода, пыльная, прожженная, сухая. Травяной покров сбит многочисленными дорогами, густыми петлями раскинутыми по разным направлениям; пыль поэтому в Магнитогорске невообразимая. При малейшем ветре она злоедей и тяжелой завесой скрывает от глаз даже близкие строения: тогда кажется, будто земля горит, и клубы желтовато-черного дыма поднимаются к небу. Когда бежит грузовик, при боковом ветре кажется, будто его несет облако. В ветреный день нельзя выходить без очков-сеток. Большинство строителей постоянно ими вооружено: это придает им вид сказочных людей с громадными, выпуклыми, бугристыми глазами-фонарями.

## XVII

Постройка плотины показательна именно как образец ударной работы, социалистических приемов труда и соревнования. В дореволюционное время труд был проклятием для трудящегося. Иную картину являет стройка наших дней. Исхудалые, недоедающие, недосыпающие, немые, с лихорадочными глазами, пропыленные и взлохмаченные, в замасленной прозодежде, а то и в дырявом каком-то отрепье (жарко, душно), люди добровольно работают сверх требуемых норм, ободряют соседей, подстегивают отстающих, об'являют встречные планы, устанавливают рекорды во имя стройки, как общего дела, увлекаемые благородным чувством соревнования. Для них в самом деле труд — «дело чести, дело славы, дело доблести и геройства»! Они ударничают не за страх, не подстегиваемые приказом, но за совесть, по доброй воле, желая показать пример. Они находят удвоение в сознании достигнутого успеха. Установка рекордов доставляет удовольствие, и многие из тех, что поставлены в Магнитогорске, могут стать в ряд с значительнейшими рекордами, установленными лучшими видами спорта: воздухоплаванием, автомобилем, футболом. Я готов отдать предпочтение рекордам, устанавливаемым именно здесь. Борьба за рекорды в воздухе или на ста-

дионе, в присутствии тысяч зрителей, рукоплещущих победителю, бороться за такие рекорды вообще легче, чем, скажем, добывать магнитный железняк в глубокой шахте. Но устанавливать рекорды именно в такой шахте, в далекой и сухой степи, на стройке электростанции, при рытье котлованов, без рукоплесканий, не ожидая получить за это в награду славу и деньги, устанавливать рекорды на трудовом фронте гораздо труднее.

щественность, и, независимо от наград, не требуя их, простые, неученые люди — плотники, и забойщики, землекопы, клепальщики и литейщики, кузнецы, котельщики, бетонщики, женщины и мужчины, старые и молодые — в подавляющем большинстве молодежь — бросаются на штурм, буквально не щадя сил, с единственной целью выполнить и перевыполнить задание.

Это — картина, какой не видел, да и не мог увидеть капиталистический мир. Ее



Октябрьская годовщина на Магнитострое

Здесь надо больше подлинного героизма и мужества. Здесь двигает человеком не жадное, себялюбивое чувство «выиграть» для себя, но сознание важности общего дела, классового дела, и не ради выигрыша, не ради награды, рукоплесканий, славы, почестей и монеты, но ради самого успеха, ради самого дела. Это нужно классу, это нужно рабочему государству, этого требует партия, этого требует правительство, этого хочет пролетарская об-

могла создать только наша страна строящегося социализма, страна новых методов работы, пролетарского творческого энтузиазма.

Соусоревнование перешагнуло пределы одного строительства. Соревнуются бригады на разных стройках всего Союза. Так, если бетонщики Кузнецкстроя установили рекорд по количеству замесов в смену на одной бетономешалке, им откликаются бригады Магнитостроя, Челябинтракторостроя, Харькова. Возникает

борьба за рекорд. Какой трудовой эффект дает соревнование, можно видеть на примере ударных бригад бетонщиков.

Производство бетона происходит с помощью импортных бетономешалок. Машина как будто не сложная, но в опыте стройки интенсивность ее использования растет стремительно вверх. Машина обладает максимальной пропускной способностью. Поднять ее до такой способности можно, только рационально организовав ее обслуживание: надо свести к минимуму непроизводительную трату времени и движений. От того, как организовать подвозку сырья, нагрузку и опорожнение бетономешалки, зависит ее продуктивность. Тут нужны ловкость, сноровка, наблюдательность, организационный талант. Поэтому борьба за рекорды на бетономешалках имеет большое значение не только потому, что дает повышение производительности: это борьба за кадры, за повышение квалификации, за изоляцию опыта, за выделение наиболее распорядительных, расторопных, умелых работников. Борьба за рекорды — школа интенсивного и сознательного труда. Еще в прошлом году на плотине по плану требовалось давать 150 замесов в смену. Эта цифра казалась внушительной. Насколько за год шагнула вперед работа на бетономешалках, можно судить по тому, что на Харьковском тракторострое, как сообщила телеграмма, напечатанная в газетах, в ночь на 10 июня бригада Зозули, состоящая из 37 человек, за 7 час. 35 мин. работы дала 501 замес бетона. В те дни это был величайший рекорд в мире. Он оставил за собой последний, также мировой, рекорд, установленный бригадой Коробкина: последняя сделала 452 замеса в смену.

Между бетонщиками Магнитогорска, Кузнецка и Харьковского тракторостроя и происходит борьба за наивысшую производительность труда с помощью бетономешалки. Борьба велась такими темпами, которые далеко за собой оставили 150 замесов в смену, какие требовались планом во время постройки плотины. И те 225 замесов, какие обязалась дать тогда — и дала — бригада энтузиастов бетонщиков Байдакова, кажется жалкой цифрой. С 29 мая началось соревнова-

ние кузнецких, магнитогорских и харьковских бетонщиков. Кузнецкие установили рекорд в 324 замеса за 10 часов работы. Эту цифру превысила ударная бригада бетонщиков Сагадеева в Магнитогорске: за 7 ч. 50 мин. бригада дала 429 замесов. Но и этот мировой рекорд был преодолен, как мы знаем, харьковцами. Чья теперь очередь?

Среди землекопов такое же соревнование. И здесь мы имеем ударников, устанавливающих мировые рекорды. Так, бригада землекопов Буховцева на коксохимкомбинате Магнитогорска установила рекорд по выемке земли лопатой. Другая бригада ударников, под руководством Улогова, напечатала в «Магнитогорском рабочем» письмо, в котором бралась превысить этот рекорд. Она сдержала свое слово: три человека за одну смену (9 ч. 50 мин.) дали свыше 56 кубометров земли, т.-е. по 18,79 кубометра на человека. Эта бригада выполнила свой майский план на 140 проц. Установив рекорд, бригада Улогова вызвала на соцсоревнование остальные бригады землекопов. Ответ на вызов не заставил себя ждать. Бригада Буховцева не признала себя побежденной, она приняла вызов. Установив новый рекорд (выемка почти до 20 куб. метров на человека), она вызвала землекопов всех новостроек довести выемку до 25 кубометров. А 1 июля телеграмма из Кузнецка сообщает, что три ударника бригады Белова — Ермаков, Кучков и Илюков — в ответ на вызов Буховцева довели выемку до 30 кубометров на человека. Соревнование продолжается.

Такую же картину социалистического соревнования видим мы и на горных работах, где норма выработки, установленная заводоуправлением в 3 кубометра породы на человека, была отброшена по инициативе ударной комсомольской коммуны рудника им. Калинина: бригада эта довела выработку до 9 кубометров на человека. На другой день рекорд этот был преодолен ударной бригадой горняков под руководством Елева: два ударника этой бригады дали по 17 куб. метров породы, а три других — по 12,5 куб. метра.

Так же соревнуются бригады по кладке печей коксохимкомбината, плотни-

чи бригады, бригады арматурщиков и другие. Рабочая масса Магнитостроя благодаря инициативе, проявляемой партийной организацией, сильно вовлечена в ударничество. Здесь ведущая роль по праву должна быть признана за комсомольской организацией. Во главе энтузиастов идут комсомольцы. Молодежь на всех передовых постах. И первое впечатление, какое вообще получается при обозрении Магнитостроя, — гигант металлургии создается молодыми руками. Среди рабочих-строителей — молодежи до 60 проц. в возрасте от 18 до 21 года. Молодежь везде — и в редакции газеты, и на кладке печей, на бетонных работах, и на работах земляных, она работает под землей на руднике, это ее главным образом силами была возведена плотина; она борется за мировые рекорды под руководством Сагадеева, Улогова, Шайхутдинова, Буховцева и других. При этом рядом с молодыми крепкими ребятами-мужчинами плечо о плечо, не уступая в энтузиазме, работают девушки. Каюсь: меня, московского журналиста, поразило, что девушки на тех же тяжелых работах, что и здоровые парни. Я спросил: а не сдают? Вымазанный, черный комсомолец засмеялся, блеснув зубами, и качнул головой: «Ни в чем. Девчата у нас — что надо!» Я наблюдал девчат: они ловко ловят на лету кирпич, укладывают его на место, берут тачки с землей, льют бетон, встречаются и на других работах. Молод также и командный технический состав: 30 лет в среднем примерно от роду.

Численность комсомольской организации доходит до 6.000. Членов партии и кандидатов — 5.500. Повторяется та же история, какую мы имели на войне: рота плохо шла в атаку, если впереди не шел коммунист. Здесь передовиками во всех штурмах оказываются коммунисты и комсомольцы. Комсомолу принадлежит почин в организации ударных бригад, в создании атмосферы социалистического соревнования. Большая часть работы ведется ударными темпами. Всего организовано свыше 3.000 бригад. Правда, комсомол подтянулся лишь в самое последнее время. По крайней мере в мае, когда он отчитывался перед бюро уралобкома и бюро ЦК ВЛКСМ о проделанной работе, работа магнито-

горской комсомольской организации была признана неудовлетворительной. Апрельский план был выполнен всего на 28 проц. Получив такую аттестацию, комсомольская организация подтянулась и сейчас идет впереди штурмов. Комсомол Магнитогорска своими силами сооружает домну № 2 — она начала строиться позднее первой, но успешно ее догоняет. Комсомол берется за возведение 7-й батареи на Коксохиме, он берет в свои руки эксплуатацию одного горизонта рудника имени т. Кабакова, он начинает борьбу против варварского использования механизмов, борьбу за хозрасчет, за овладение техникой, ставит свои посты на каждом экскаваторе, принимает участие в борьбе с текучестью (каждому комсомольцу ставится задача: закрепить на стройке не менее 2 рабочих), образует в бараках бригады по борьбе с текучестью, создает бригады по политической, производственной и культурной работе в бараках. Если все эти задачи магнитогорским комсомолом будут выполнены, — а он должен их выполнить, — ему будет принадлежать одно из первых мест в борьбе за металл.

Имея такую армию энтузиастов, можно и должно драться с трудностями, какие стоят перед строительством.

## XVIII

Успехи Магнитостроя не ограничиваются непосредственным результатом, какого ждет страна, т.-е. пуском в назначенные сроки металлургического завода и всех подсобных предприятий.

На Магнитострое работает сейчас около 40.000 человек. Только малая часть рабочих получила квалификацию и боевой строительный опыт до Магнитостроя. Подавляющая же часть приходит из деревни, без квалификации, без умения работать, лишь приступающая к производительному труду. Магнитострой и является огромной технической школой. Он является также школой социалистического труда. Если за те немногие годы, какие ассигнованы Магнитострою, руководство сумеет обучить и квалифицировать эту многотысячную массу, оно подготовит мощные кадры, которые после Магнитостроя, богатые

опытом, дисциплинированные, перейдут на другие очередные строительства нашего Союза.

В Магнитогорске перестраиваются не только гора и степь, — перестраивается сам человек.

\*\*\*

Магнитогорский металлургический завод — создание не только тех строителей, инженеров и техников, партийцев и комсомольцев, рабочих-ударников и служащих, какие работают в Магнитогорской степи и в первую очередь отвечают за успех стройки. Это общее наше дело, всей нашей партии, всего рабочего класса, всей нашей страны. А это значит, что и мы, вслед за ними, несем свою ответственность.

Если проектировщики и чертежники Стальпроекта, изготавливающие чертежи для Магнитостроя, не сдадут их в срок или сдадут с просчетами, темпы Магнитостроя будут сорваны.

Если заводы, изготавливающие оборудование для электрической станции Магнитостроя, не выполнят своих обяза-

тельств во-время или выполняют плохо, — сроки пуска Магнитогорского завода не будут выполнены.

Если, далее, заводы Краматорский, «Серп и молот», Днепропетровский, им. Молотова, Коломенский, «Компрессор», «Манометр», «Самоточка», Керченский, Шуйский зав: № 5, им. Фрунзе, завод им. Рыкова и другие, изготавливающие конструкции, машины и оборудование для Магнитогорского гиганта, замедлят выполнение этих заказов или выполняют их нерадиво, с дефектами, — будет сорван пуск Магнитогорского гиганта.

Если наконец наш транспорт во-время не будет перебрасывать в Магнитогорск грузы, или грузы, ему заадресованные, будет перебрасывать в другие места, сорван будет пуск в срок Магнитогорского гиганта.

А это значит:

**Магнитогорский металлургический завод — наше общее дело — должен быть пущен в срок. Директива нашей партии должна быть выполнена.**

Магнитогорск — Москва.

Июнь 1931.

## 2. САНЧИХЕЗА

Очерк

Всеволод Лебедев

Калининского района, Хабаровского округа, вершина Иман.

Наша туземцы-охотника совсем не может охотать. Спортит на берегу русский охотник — старовеера. Пешком ходит на охота, а зверь нюхает у него дорога. Зверь все убежал.

Палит огонь и варит кушай. Тогда зверь ходит на солонца: «Хочу кушай». Нюхал и убежал.

Его (старовеер) спит близко солонца, караули изюбра. А изюбр нюхал: люди сидит и палит огонь — убежал все.

А наша туземец охотай не так. Совсем другой дело охотай. Летом ходит на амирочке (лодочка), двой маленьки весло и двой маленьки соста (запретный для других охотников знак) так приблизительно одно метра длинше.

Когда сибка (шибко) ветер — то же не ходит на солонца.

Когда тихо хорошо погода — тогда на охотай.

А когда ходит на охоту из палатка — можно поставить три версты далека из солонца. Тогда можно потихоньку ходить на солонцу.

Кушай варит — тоже какой зверь не ходит места. Нимножку огонь и палит. Скоро варь готовы. И кушай — котора варили — брсай на воду. Тогда зверь не могу нюхай, убежала не буди.

Наша орочона живи всегда на сопку — только не испугает зверь. Наша все знает — куда хорошо, куда плохо.

Это — письмо орочона из Уссурийского края, деревни Санчихезы, Аянка Василия. Печатаю я его дословно. Я считаю, что «искажения» русского языка в нем настолько отражают природу родного языка Аянки, что моя роль —



только расставить в этом письме знаки. И письмо читается, как поэма, которую можно разбить на несколько частей, как большой роман или повесть.

Так называемые первобытные народы отличаются способностью в кратчайшей лаконической форме дать то самое ощущение, которое мы получаем от чтения громадных романов Толстого, Ильяды, — ощущение большого объема, несмотря на малый размер.

Письмо Аянка написал, сидя возле меня, в лавке туземного кооператива, в деревне Санчихеза, куда я попал лодкой по реке Иман.

От Санчихезы у меня слиты вместе несколько ощущений. Во-первых, жары, которой я, привыкший к северу, перенести не мог, и душиной теплоты трав, выросших выше человеческого роста. Травы и кукурузные поля скрывают мелкие, похожие на сараи, фанзы ороchon. В Санчихезе я не мог найти того, что заставляет забыть пейзаж, жару и непроходимые травы. Как вошел я сюда — в жару, в траву, в пространство между сопками, — так и остался здесь: фанзы ороchon раскрыты. Беленые стены ничем не украшены. Смуглый худой человек сидит в фанзе без дела.

Орочонский день переворачивает мой день.

Днем многие из ороchon на охоте, на реке, где они выслеживают изюбров и выдр, вернее, они у себя дома — в лесу. Ночью в деревне начинает стучать шаманский бубен. Ночь бывает прохладная и тяжелая. Огромная невысокая луна над сопками. Санчихезу по ночам я всегда видел с высоты, потому что спал на чердаке самого большого дома — кооператива, — на чердаке, где сушились панты (рога изюбров), из которых добывается лекарство.

...Сначала не поймешь, что это — бубен. Потом услышишь отчетливые, глухие звуки. Потом почувствуешь, как кто-то летает вокруг бубна и кружится. Это продолжается почти до рассвета.

Днем я видел этих шаманящих ороchon слабыми и апатичными. Их память распространяется исключительно на предмет охоты.

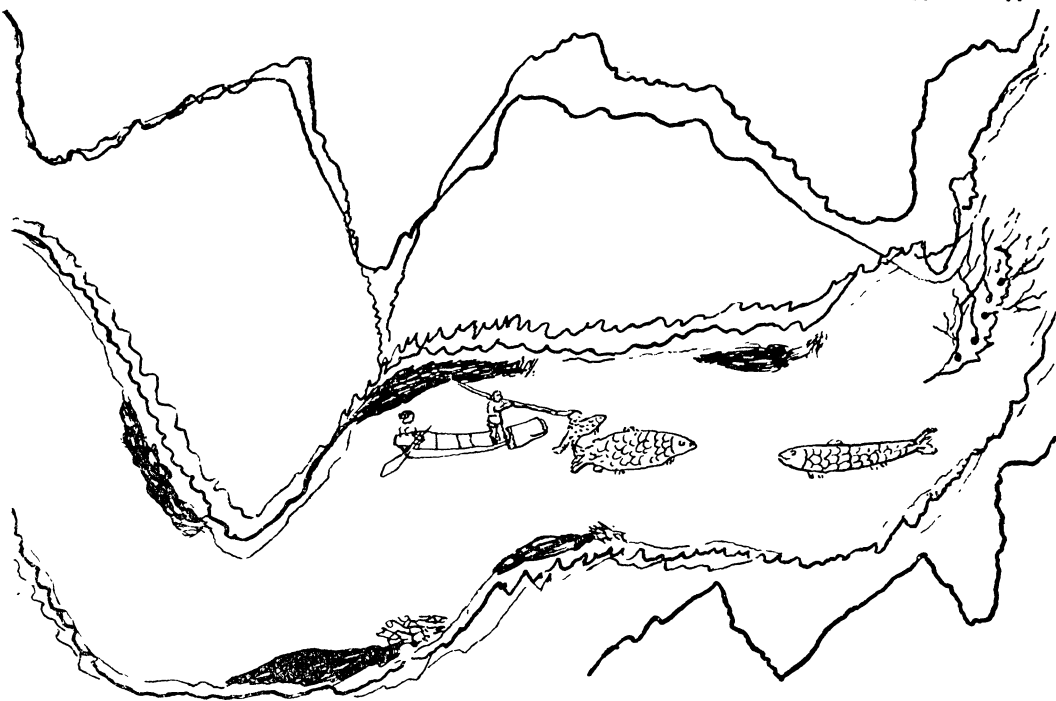
Что же такое — эта игра на бубне? Ответом явится моя статья.

Аянка Василий писал письмо и рисовал целый день, как будто у него нет и не было других занятий. Он вошел вместе с другими, — посидел, послушал мой голос. Я ему дал карандаш, он осмотрел его, как осматривают винтовку. Но вот он уже второй день рисует, привалившись к столу, как лодка к берегу. И мне не хочется даже спрашивать его, кто он где его фанза? Его фанза в данный момент на бумаге. Он с точностью геометра нарисовал чертеж лодки, свой дом и наконец, как заключительный момент, ороचना, стоящего на фоне гор, над которыми горят две звезды. У ног охотника — собака с рябчиком. Кажется, нет ничего у этих людей, — весь их быт (сиденье в фанзе) настолько убог и призрачен... И тут Аянка сидит за случайным для него занятием с незнакомым человеком, и сидит так уверенно и спокойно, точно весь век сидел и рисовал со мной, точно ему совершенно некуда уходить из кооператива.

Только когда стало совсем темно и я перестал видеть лицо Аянка, он встал, поправил свою остроконечную шляпу и вышел, как будто ему все равно куда идти, — вышел и пропал в узкой тропинке, скрывавшейся среди кукурузного поля.

Мое прибытие в Санчихезу было просто. Двое русских довели меня до полурусского, полукитайского села Вахумбе, и, показав с лодки в тайгу, сказали, что до Санчихезы совсем близко: два километра по хорошей дороге. Но я, выйдя из Вахумбе, оказался в соседстве с густыми и высокими травами, перегородившими путь, и, увидев, что обманут, повернул вспять, но тут же услышал звонкие девичьи голоса. Это — русские, переселенки с Украины, шли в Санчихезу, в кооператив.

Меня провели. Старуха - ороchonка, коверкая язык, махала мне рукой в направлении дома с флагом, и я, среди кукурузных полей и редких, отданных во власть травы фанз, отыскал кооператив, — и через несколько часов уже стоял в торговом помещении, где теснились ороchonы. Я, разложив на прилавках бумагу, попросил их что-нибудь нарисовать.



— Мы никогда не рисовали, — сказали мне — не в виде протеста, а в виде информации, — мы — только охотники.

— Ничего, они нарисуют, — сказал приказчик. — Вот Аянка соболя нарисует.

— А, соболя можно, — сказали сразу несколько голосов.

Настроение в лавке ничем не прерывалось: несколько человек, так же навалившись на прилавок, спорили с приказчиком, другие рисовали и, нарисовавшись, отходили спорить, а к их бумаге подходили другие, обсуждая их рисунки с деловыми, нахмуренными лицами. И мне показалось, что все, что творится в лавке, — ленивый, со многими точками и запятыми разговор и рисование, — все это одно и то же дело. Некоторые орочны уходили ненадолго домой и опять возвращались. Я заметил, что в их представлении дома почти не было и они предпочитали быть в лавке.

Человек пять сели в задней комнате пить у приказчика чай, при чем приказчик горестно обнаружил, что они с'едали его последний мед.

Я занялся рассматриванием рисунков.

— Вот это наша речка, — говорил ороchon, показывая мне свой рисунок, —

на этом месте мы охотимся, здесь выдры... видишь выдр.

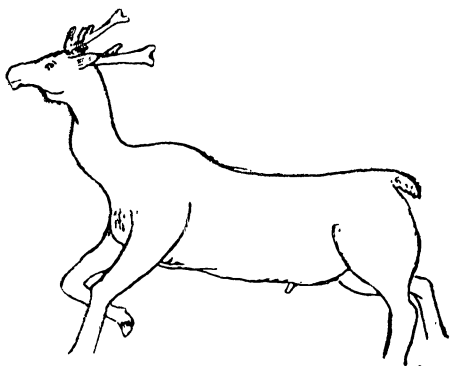
И он, сопя, показывал мне выдр: он, неожиданно для себя, оказался рисовальщиком, хотя и не думал об этом. Он изображал на бумаге картины охоты, делая к рисунку короткие надписи. Его рисунок был не только географической картой. Он был наполнен событиями: по реке Иман, к местам, где был нарисован изюбр, плыл в лодке ороchon, очевидно сам Аянка Василий. — Пиши, — потребовал Аянка в добавлении к рисунку, — выдра и изюбр — это для кооператив. — Документ нуждался, как письмо, — в марке, и я сделал на рисунке с другой стороны требуемую надпись, чтобы сделать его окончательно документом.

Художник в человеке живет и тогда, когда он не взял еще карандаша. Карандаш — вещь, приемлемая не для всех ороchon. Одна ороchonка все отстранялась от карандаша, хотя ей и хотелось изобразить что-то. Она потребовала ножницы. Искусствоведы иногда орудуя гермином «мускульное видение», разумея, что образ вещи — линия — отразилась глубже, чем в глазу, — в руке и т. д.

Это знают скульпторы, мастера танца и еще более знает это ороchon, играющий ночью на бубне и воображающий, что в него вселился тигр. Вотяцкий мальчик, рисовавший мне в 1925 году замечательные рисунки, так «срисовывал» с книги: обводил рисунок в книге не карандашом, а просто пальцем, чтобы запомнить его, затем, отодвинув палец в пространство, повторял пальцем линию в воздухе и уже потом рисовал рисунок, — лучший, чем в книге, более музыкальный и ритмичный.

Все сказанное имеет отношение к тому факту, который я хочу сейчас вспомнить. Ороchonка брала ножницы, лист бумаги, и из бумаги появлялся вырезанный зверь.

Вырезывая зверей, ороchonка точно собирала живое стадо. Потом, наклеив в Москве зверей на картон, я отошел, почти испугавшись: до того эти звери казались живее живых. Они висят у меня над столом, и к ним я отношусь совсем иначе, чем к другому книжному искусству. Эти звери вызваны к жизни волей не живописца, а охотника. И вместе с охотником я живу, наблюдая этих зверей. Иногда смотришь на художника и становишься сохудожником, то-есть хочешь новых и новых красок и добавлений. Глядя на вырезанного зверя, я становлюсь не сохудожником, а соохотником.



Охотник — Хайсу Калензуга. Читатели помнят, наверное, другого гольда, Дерсу Узала, спутника В. К. Арсеньева, описанного им в книге его <sup>1)</sup>, равной по силе лучшим книгам по истории человечества, именно по истории,

так как Арсеньев в сущности дал историю там, где другие видели только деревья и диких людей. Он проник в тайгу настолько, что понял историю человечества в тайге, узнал историю деревьев, лесных дорожек, понял судьбу отдельных людей, одиноко живущих в лесу, и среди этих людей — гольда Узала.

Вместе с Узала вспоминается мне и Калензуга. Встреча с ним была непродолжительна. Он вошел в лавку, нагруженный пантами, в сопровождении двух жен. Он выделялся особенно солидным видом. Лицо его непрерывно было внимательным, но ничего не отражало, кроме важности или лени. Этот человек оказался лучшим охотником поселка, много раз ходившим на тигра. Я не решился предложить такому серьезному и занятому человеку, пришедшему со спешкой, листы бумаги для рисования. Он их взял сам, но не стал при мне рисовать, говоря, что над этим нужно много думать. Прошла ночь и день, я думал, что Калензуга на охоте, неутомимо выслеживает зверя, но он появился у лавки, снова неся панты, на этот раз еще с более деловым выражением. Остановившись около меня, он вытащил три листа бумаги и стоял, смотря, как я поражаюсь человечески живому, ставшему на задние лапы тигру. Калензуга изобразил тигра так, как мы изображаем человека. Поставил его на ноги (поза защиты), окружил тремя деревьями, как фоном. Такая стилизованная лаконичная форма, в которой дана природа вокруг тигра, делает его изображение именно портретом. Оно похоже на священные изображения богов и гениев, какие можем встретить в музеях. Рядом с тиграми — безликие, изображенные в виде стреляющих в тигра машин люди. В людях Калензуга перedal только их способность стрелять, у тигра же показал лицо.

Мы ничего не сумели сказать друг другу. Он постоял, улыбнулся, сказал что-то в роде того, что здесь «вся ороchonская жизнь» и затем исчез в узкой тропинке между кукурузных полей. И я сделал усилие, чтобы запомнить Калензуга в мельчайших его подробностях. Запомнить его мне показалось страшно важно — на всю жизнь. Он — высокий,

<sup>1)</sup> «В дебрях Уссурийского края».



у него полное, ровное лицо с широко поднятыми бровями, как бы удивленными глазами и складками у глаз. У него черные красивые усы и блестящие, небольшие глаза.

Что осталось во мне от этого человека? Замечательный художник и охотник, он оставил за собой только узенькую тропиночку между кукурузными полями. Его я больше не увидел. Зато много и часто видал я Аянка Василия. Возвращаюсь снова к нему.

Аянка очевидно — ороchonский активист. На всех почти рисунках после краткой надписи, например о том, что эта собака съедена тигром, а имя другой собаки такое-то, о том, что охота была в 1927 году, — везде подписано: «Члена правления Аянка Василия».

Приказчик, которого я спросил об этом, объяснил коротко: «Они у меня все члены правления».

Туземный кооператив, объединяющий ороchon в их охоте, снабжении и даже обучении грамоте, — первая ступень той жизни, о которой мечтает Аянка Василий, подписываясь «член правления».

Все это правление — человек двадцать мужчин и женщину, сидевшую у порога и курившую трубку в полном молчании (выражавшую этим молчанием про-

тест против того, что у ней выкосили поле с опиумом) — я видел два раза на заседании. На нем главным образом разрешались вопросы об охране охоты туземцев.

Школа. Когда я выезжал с Имана, местное уоно просило меня выяснить возможности открытия в Санчихезе школы: были средства, была и учительница, но от иманского уоно никто в Санчихезе не бывал, и уоно не знало, каковы вообще там условия.

Часть взрослых ороchon грамотна: несколько лет назад в Санчихезе сгорела школа, в которой учил учитель-кореец. Председатель санчихезского сельсовета, молодой, очень милый человек, сказал об этом учителе: «Кореец крепко за уши держал».

Теперь кореец за уши не держит, но и школы нет. Вместо школы есть пока приказчик Юцис, который вместе с женой учит и лечит ороchon. Ученые приходилось производить здесь урывками, в задней части дома, рядом с лавочным помещением, где есть комната, специально отведенная для заседаний.

Здесь, в этой комнате, зимой ороchon садились за стол, и приказчик Юцис бегал то в лавку показывать товары, то в красный уголок показывать буквы.

Результаты деятельности Юциса налицо: большой вспаханный кооперативный огород, прибыль в лавке и желание у ороchon учиться.

Из рассказа Юциса легко представить себе такую сцену. Кончив наконец день, освободившись от ороchon и в лавке, и в собственной комнате, где они пили чай, приказчик ложится спать, а в полночь в окно раздается стук. Это: «Юцис, учи меня». Пришел ороchon — заниматься грамотой. «Они ни ночи, ни дня не понимают».

Приказчик и его жена живут в тайге с тем напряжением, которое быстро приобретается у людей, работающих среди туземцев.

Идет Юцис к амбару — по дороге видит, как ороchonы пьют из одного ведра, надо их остановить, и они останавливаются. Заносит ногу в амбар, — другой ороchon занимает его длинным рассказом. Взял из амбара вещь, а у него в квартире уже сидят ороchonы и, не оглядываясь на хозяина, пьют чай с тем самым медом, который так дорог здесь, особенно если принять во внимание, что у Юциса ребенок.

Я по себе знаю, что, живя с таким народом, потеряешь представление о собственной обстановке: только что ты, войдя в комнату, поставил вещь, на нее уже сели вошедшие ороchonы Ты развернул книгу, а ее вместе с тобой рассматривает другой. Так и приходится жить вместе, не оглядываясь, до самой ночи, да и ночью приходится жить с ороchonами, так как кому-нибудь из них вдруг среди ночи придет важная и серьезная мысль — учиться.

Так, помню, когда я жил в вотяцкой деревне с «Энеидой», по которой в свободные часы я пытался изучить латинский язык, у меня не оказалось для этого времени. Не поделиться «Энеидой» с хозяйкой было так же неудобно, как придержать в рукаве от гостя кусок хлеба. И приходилось читать Энеиду вслух серьезно слушавшим вотякам. И еще вспоминаю, как хозяйка осудила двоих вотячек, пришедших слушать с чужой улицы — из мало знакомых семей. Это все равно, что без спросу сесть за чужой стол. Песней делились, как хлебом.

Вот пришел молодой, полуслепый, с опаленными трахомой глазами ороchon, который уже не охотится, а живет из фанзы в фанзе у чужих очагов. Он не совсем нормален. Ороchon сунул жене Юциса материи на рубаху и попросил, чтобы сейчас, сию минуту она шила рубаху: завтра ему куда-то нужно итти.

С такой срочностью нельзя было сделать, рубашка была поставлена в очередь среди других заказов. И ороchon так же быстро поразился, заплакал и так же быстро появился перед окнами комнаты, в которой мы обедали. Он сидел на пригорке и думал, но думал он с жестами, с движением. Потом стал хватать себя за рубаху. Рвал рубаху. И забился в истерике.

К нам вошел председатель сельсовета и призвал приказчика к порядку. То есть он полагал, что шить рубаху нужно в порядке скорой помощи.

Председатель санчихезского сельсовета был на охоте, когда я пришел в Санчихезу. Он появился на следующий день.

Охота заставляет председателя сельсовета сельсовет. Сельсовет — это в сущности приказчик. Приказчик приучает ороchon к собраниям.

Самый факт числиться председателем есть уже некоторая действительность. Правда, на собрании председатель сидит с таким же лицом, как и все: необходимость постоянно напрягаться для того, чтобы слушать, ослабляла его, Приказчик раз напомнил ему о том, что он должен высказывать свое мнение, но председатель ответил, обидевшись: «Пусть твоя думает. Моя устал много думать».

Не только это думанье обременяло председателя. Была гораздо более важная вещь. На собрании у порога сидела сердитая женщина, которая не поднимала на приказчика глаз: У ней выкосили поле «мака» — опия. Среди присутствующих было много таких недобольных. Председатель по своему официальному положению был обязан участвовать в этой истории.

Раньше поля эти засеивались свободно, но теперь, когда с изготовлением яда ведется борьба, мак стали сажать в скрытых местах — между кукурузными полями и даже совсем в недоступных

местах в тайге, на сопках. Главную роль при посадке мака играют китайцы. Китайцы живут у ороchon на положении работников и именно потому, что, как говорят ороchonы:

«Моя лес ходи — изюбра ищи. Моя не могу поле работай. Его китаец — дело».

Один мудрый районный администратор даже трактовал ороchon как кулаков, а китайцев считал батраками. Но здесь более сложная ступень взаимоотношений. Русские считают хозяевами в Санчихезе не ороchon, а китайцев. Китаец в его фанзе живет, с его женой живет, и опий — китаец.

Председатель сказал: «Как могу живи. Моя мака коси — китаец сердился: твоя поля, моя мака». То-есть: кукурное поле — земля ороचना. А поле китаец — мак.

Китайцы для меня — народ замечательной, недоступной культуры.

Меня все удивляет в них: и то, как едят они палочками, превращая еду в нечто невесомое и незримое, и то, как они идут с вокзала, набрав на спину десятки вещей, но совсем будто бы не ощущая их тяжести, и то, как пропадают они в тайге, копаясь в поисках своего волшебного жень-шеня. И тут — «маковые» поля, которые не дают сытой и тяжелой пищи, — пища их идет не в рот, а прямо в мозг...

Борьба с опиумом — на самой ближайшей очереди в массе тех вопросов, которые здесь нужно одолеть.

Приказчик уговаривает охотников.

«Андрей все лето лежал в траве у Лао-Лю и курил опий» (взял предварительно ссуду на охоту в кооперативе).

Потом приходит к приказчику, держится за живот: «Моя не могли охотай. Моя целое лето живот боли».

Приказчик, как и все русские в том краю, говорит при обращении к ороchonам на жаргоне:

«Ревизионная комиссия приходи — Юцис в тюрьму сажай. Юцис всем деньга давай. Всю лавку раздавай. А Андрей, Иван, Петр, они деньги бери. Зверя бей. Кооперативу ничего не давай — все носи Госторг».

В районе есть несколько заготовительных организаций, конкурирующих друг

с другом. С этим борются пока безрезультатно местные партийные организации («Соберешь их у себя согласовать, — они все друг с другом переругаются» — сказал работник иманского райкома партии).

— И, — говорит Юцис, — тогда лавка не буди. Юцис в тюрьме сиди, зачем ороchonам зря давай.

— Да, действительно, зачем ороchonам зря давай, — с совершенно тою же интонацией повторяет Аянка Василий, и эта фраза имеет успех.

— Действительно, зачем ороchonам зря давай, — повторяют один за другим несколько человек, передавая друг другу интонацию приказчика и усмехаясь, точно при виде абсолютно новой вещи.

— Так нехорошо. Туземная кооперация все вам давай. Туземная кооперация об орочоне заботится. А у ороचना заботы о ней мало.

— Действительно, у ороचना заботы о ней мало, — ловит Аянка интонацию приказчика.

— Заботы о ней мало, — повторяет с удовольствием другой, рисуя мне прекрасного огромного изюбра с удивительными пантами. Навстречу изюбру идет человек. Особенность этого рисунка в том, что он как бы сведен с другого. В линиях, обводящих контуры как человека, так и зверя, ничто не заполнено. Получается так, как будто рисунок был сделан слепым, но одаренным поразительным чувством осязания человеком. Он чувствует границы вещей — их отношения, объем, не интересуясь тем, что солнце делает с вещами.

Так можно нарисовать, если сводишь рисунок на бумагу, сквозь которую видна только очень четкая контурная линия.

Но ведь здесь ороchon не срисовывал, он рисовал с таким видом, точно рисунок уже положен ему на бумагу, и ему осталось только обвести его. Такая у него была поразительная память. Казалось, поднимешь его рисунок на свет и сквозь рисунок увидишь, — вся природа и люди, и звери совпадают с нарисованным контуром так же, как рисунок совпадает с его копией.

Сила памяти, сила восприятия — огромны, но они во многом направлены на чуждую современности, даже вра-



ждебную ей старинку, сохраняющуюся в глубине ороchonского быта.

Так, наблюдая, как рисуют, и вслушиваясь в речи на собрании, жил я этим коротким часом ороchonской жизни — собранием.

И затем мы разделились.

Главный предмет ороchonской охоты — изюбр<sup>1)</sup>. Ороchon крадется на лодке к изюбру. Озеро — солонец — место их встречи.

Мягкие рога изюбров — панты — сдаются в кооперацию. Из этих пантов китайцы выделывают свое лекарство. Следовало бы внимательно изучить действие этого лекарства: в молодых оленьих рогах правильно ищут целебных сил.

Корень жень-шень (его собирают и срочоны, но больше китайцы) также служит материалом для специально китайской медицины.

Дальше охотятся на соболя и выдру, на кабана, на медведя...

Река Иман захоронена между громадными сопками. Едешь, а камень смотрит

<sup>1)</sup> Великолепное описание изюбра и охоты на него имеется кстати в книге А. Черкасова «Записки охотника Восточносибири».

на тебя и, кажется, оборачивается вслед тебе. Мне кажется, что пространства в этой земле нет, а земля эта — одна живая личность. Выйдешь с берега — видишь стволы деревьев-великанов, но трава закрывает тебя от них, как только ты пойдешь. Если итти туда, нужно итти всерьез, пробивая перед собой тропинку. Едешь по реке и видишь, как на берегу кто-то упорно волнуется, продвигает траву. Это идет наверно кабан.

Над камнем стоит одинокая ороchonская постройка. Дворец вышиной с человека и шириной с большой стол аккуратно построен из легкой синей материи, сквозь которую нежно светит свеча. Эта свеча на берегу реки, вдалеке от людных мест, очень на меня подействовала. Везущие меня русские причалили к берегу.

Ороchonская палатка покрыта сверху навесом из парусины. Рядом, на сонном темном берегу, лежит умная собака. У таких собак всегда напряженный ум, сна не встанет, не разглядев. И поймет тебя издали.

А навстречу нам идет темный человек, парнишка с портретом Ленина на груди и, приблизившись, мягко спраши-

вает: «Сколько солнц плывете Картуна»...

Плывем мы в одном направлении. Но наше солнце — одно. Русские, без перерыва работая шестью, как на руках, несут меня по реке. Орочон плывет то же расстояние, — пять солнц, — останавливаясь на берегу, выслеживая выдру.

К берегу подходил медведь. Его убили.

У меня есть рисунок, изображающий охоту на медведя. Вы встречаетесь в вашем доме с гостем и подаете ему руку. Если бы вы сумели совершенно так же подойти в лесу к медведю и убить его, — вы поняли бы орочона. Даже самый страх здесь не устраняет этого чувства дома, руки и, пожалуй, приветствий. Прежде ведь, убивая медведя, молились ему.



Вот этот-то момент в рисунках особенно замечателен: рисует ли орочон рыбную ловлю или охоту, он и человека, увидевшего рыбу, или зверя, и собаку, лающую на рыбу в воде, — все сумеет изобразить не просто как лиц, поставленных рядом, но как лиц встречающихся.

Здесь мне хочется вспомнить выставленные в Ленинградском музее изделия из кости самых отдаленных северных народов. Изображения эти часто такого размера, что украшают трубку или ручку кожа. Но можно легко отвлечься от их размеров, — они сделаны так «монументально», что если их снять на фотографию увеличить и показать без всяких объяснений человеку, тот подумает, что это — громадные изваяния, нечто в роде каменных баб, стоящих в наших южных степях. Эта особенность делать вещи глубоко об'емными, т.-е. такими, которые в любом размере будут

действовать на нас как большие вещи, связана с тем особым чувством крови, которое есть у первобытных народов, по запахам узнающих каждого зверя и одним прикосновением к поверхности камня навсегда запоминающих его.

У этих вырезывающих из кости народов сохранился еще старый способ здороваться. Они не подают друг другу руку (или, как в некоторых местах русского и карельского Севера, кладут другу другу руки на плечи), а друг друга нюхают. Это обнюхивание не есть тот чисто внешний процесс нашего городского восприятия запахов. Я уверен, что это обнюхивание связано с чувством формы, объема предмета, который человек слышит носом.

Среди этих резных фигурок есть обнюхивающиеся люди. Есть и медведь, встретившийся с человеком, почти в той же, что и встречающиеся люди, позе.

Остаток такого чутья представления о человеке — сразу во всем его объеме — сохранился и у орочон.

Теперь в итоге мне хотелось бы сказать следующее:

Кажется, Энгельс сказал, что с материальной жизнью и с хозяйством первобытных народов мы можем ознакомиться лучше всего через искусство, нежели через посредство какого-либо иного материала.

Я видел, как в деревне Санчихезе искусство возникло у неучившихся рисованию людей, возникло как документ, как письмо. Оно и осталось документом: лежит в моем письменном столе. А люди — те продолжают жить, попрежнему не рисуя.

Если бы мы навсегда отрешились от той мысли, что искусство есть удел лишь специально обученных ему людей, а отнеслись бы к своему рисованию так же, как относится орочон, — мы открыли бы удивительные факты.

Вопросы памяти, восприятия, движения в совсем особом, невиданном свете встают тогда, когда мы начинаем заниматься искусством не как подражанием признанным образцам. Но эти вопросы — уже не в теме этой статьи.



# Наука и жизнь

## О СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ГОРОДАХ СССР

Н. Мещеряков

### I

**В** связи с процессом индустриализации в СССР происходит в настоящее время чрезвычайно быстрый рост городского населения, что приводит, с одной стороны, к росту многих уже существующих городов, а с другой — к постройке совершенно новых, которые создаются часто на пустых до сих пор местах. В этом процессе строительства важно и интересно то, что здесь города — и притом большие города — строятся впервые в истории не анархически беспланово, в зависимости только от воли отдельных граждан, строящих дома, а в плановом порядке, часто по единому для всего города плану, с учетом дальнейшего роста города.

При этом естественно возникает вопрос, как, по какому плану должны строиться эти новые города? Должны ли это быть тип старых городов, или новые города должны строиться совершенно по-новому? Каков должен быть основной тип домов в новых городах, чтобы они удовлетворяли тем условиям, которые ставят современная жизнь и процесс социалистического строительства? Должны ли это быть тип старых домов буржуазного города, или в связи со стоящими перед нами задачами и имеющимися возможностями мы должны теперь строить дома совершенно по-новому?

Все эти вопросы возбуждают в кругах специалистов очень большие споры. Но споры эти происходят или в заседаниях различных обществ и учреждений, или ведутся в специальных журналах, кото-

рые не доходят до широких слоев читателей. Целью настоящей статьи является поэтому ознакомить неспециалистов с этими новыми, чрезвычайно интересными и важными вопросами.

### II. Тип расселения в социалистическом обществе

Необходимо начать с чрезвычайно интересной цитаты из сочинений Ленина, в которой он указывает, что формой поселений будущего общества явится «размещение населения более или менее равномерно по всей стране».

«Решительное признание прогрессивности больших городов в капиталистическом обществе нисколько не мешает нам включить в свой идеал (и в свою программу действия...) уничтожение противоположности между городом и деревней. Неправда, что это равносильно отказу от сокровищ науки и искусства. Как раз наоборот, это необходимо для того, чтобы сделать эти сокровища доступными всему народу, чтобы уничтожить ту отчужденность от культуры миллионов деревенского населения, которую Маркс так метко назвал «идиотизмом деревенской жизни». И в настоящее время, когда возможна передача электрической энергии на расстояние, когда техника транспорта повысилась настолько, что можно при меньших (против теперешних) издержках перевозить пассажиров с быстротой свыше двухсот верст в час, — нет ровно никаких технических препятствий к тому, чтобы сокровищами науки и искусства, веками скопленными в немно-

гих центрах, пользовалось все население, размещенное более или менее равномерно по всей стране».

Из этой цитаты можно заключить, что «города» сохранятся, но не как места постоянного жительства громадных масс населения, а только как центры культуры, пользование которой станет чрезвычайно доступно благодаря развитию и совершенству транспорта для всего населения, «размещенного более или менее равномерно по всей стране».

К такой же мысли, но только не формулируя ее так отчетливо, как Ленин, склонялся и Энгельс. Только таким путем возможно будет в корне уничтожить противоречия города и деревни.

Но осуществление идеи уничтожения городов и размещения населения более или менее равномерно по всей стране, т.-е. создание совершенно нового типа расселения человечества, требует наличия ряда условий.

1) Оно невозможно при капиталистическом обществе, как бы высоко ни стоял там уровень развития техники и транспорта. Оно возможно только в социалистическом обществе.

2) Как необходимое условие требуется широкое развитие электрификации страны. Только тогда возможно будет определять положение промышленных предприятий только одной наличием необходимого сырья, а так как сырье находится почти повсюду, то разместить промышленность по всей стране. Но для этого необходимо, чтобы страну (а еще лучше ряд стран) охватила единая сеть проводов, в которую вливалась бы вся электрическая энергия, где бы она ни производилась, и из которой питались бы все фабрики и заводы страны. У нас в СССР степень развития электрификации далеко не дошла еще до этого уровня, и пройдет вероятно еще порядочное время, прежде чем мы осуществим это условие.

3) Необходимо широкое развитие и прекрасная организация транспорта, могущего быстро и удобно доставлять пассажиров (Ленин в выше приведенной цитате говорит не о перевозке товаров, а только о быстрой перевозке пассажиров) от места их жительства к месту работы или в «город» как центр культу-

ры. Другими словами необходима постройка ряда новых железных дорог, электрификация их, создание широкой сети шоссейных дорог и достаточного количества автомобилей и автобусов, а может быть, и широкое развитие авиации. И эти все необходимые условия пока отсутствуют в СССР.

4) Необходимо сильное сокращение рабочего дня, чтобы лишние  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  часа на переезд из жилища к месту работы и обратно играли ничтожную роль в бюджете времени работника. Мы же пока имеем еще достаточно длинный — 8—7—6-часовой рабочий день. При таком дне каждый стремится поселиться поближе к месту работы, чтобы сэкономить время на переезды.

5) Нужно широкое развитие по всей стране радио, кино и т. п., чтобы размещенное более или менее равномерно по всей стране население могло повсюду пользоваться всеми благами культуры.

6) Необходима наконец полная победа пролетариата над своими противниками, т.-е. необходимо бесклассовое общество. До тех пор, пока эта победа полностью не достигнута, политически необходимы большие промышленные города как скопления революционного пролетариата, этого гегемона революции. С другой стороны, до тех пор необходимы крупные города как центры управления, как административные центры. Наоборот, в бесклассовом обществе, где исчезнет государственная власть, где на место управления людьми станет «управление вещами», исчезнет потребность в городах и с этой стороны.

Как мы видим, ни одно из этих условий (за исключением конечно первого) в СССР (этой единственной пока стране, которая уже может ставить задачу уничтожения противоположностей между городом и деревней) пока еще не осуществлено. Поэтому и у нас нельзя еще немедленно поставить во всей широте и во всей принципиальной выдержанности практическую задачу уничтожения городов и создания нового типа расселения человечества.

И здесь города еще не отжили свой век. И здесь мы должны пережить переходный период. И здесь движение к конечной цели (уничтожение городов) пойдет диалектически: чтобы достигнуть

этой цели, мы должны обеспечить полную победу пролетариата, должны индустриализировать страну. А это можно в данное время достигнуть только путем расширения многих старых индустриальных городов и созданием новых. К уничтожению городов мы пойдем путем расширения старых и созданием новых.

### III. Как строились старые города

Но если мы пока должны еще строить города, то это отнюдь не значит, что мы должны строить их по-старому. Наоборот, принципы строительства новых, «социалистических» городов должны быть во многом совершенно иные; они должны быть резко отличны от старых.

Старые города возникали главным образом в связи с развитием торговли, а затем и мелкого ремесла и были приспособлены главным образом к интересам торговли — торгового капитала. Центр старого города — это обыкновенно торговая площадь, вокруг которой идет кольцо или зона торговых предприятий. Дальше идут дома, занятые ремесленниками и торговыми предприятиями меньшего размера. Фабрики и заводы отнесены на периферию. Это создает совершенно нерациональную обстановку и для производства, и для жителей города. Расположенные кольцом вокруг города и размещенные притом исключительно по личной воле своих владельцев, фабрики и заводы совершенно не связаны друг с другом. Часто готовый продукт одного завода или фабрики служит полуфабрикатом или подсобным материалом для другого завода, расположенного на другом конце города. Отсюда излишняя и вредная перевозка этого продукта иногда на далекое расстояние. Отсюда также часто невозможность использовать рационально отбросы одного завода на другом, где они необходимы для производства. С другой стороны, окружение города со всех сторон фабриками и заводами создает со всех сторон города источники дыма, а часто и вредных газов, которые при всяком ветре несутся на город и отравляют воздух.

Старый город строился анархически. Каждый домовладелец строил дом, как

он хотел, не считаясь с другими. Более того, каждый заботился только о своем доме, а не об улице, на которой стоит его дом. Отсюда — узкие улицы (в особенности для современного движения) и их ничем не оправдываемая кривизна. Отсюда крайне негигиенические условия жизни в таком городе.

Старые города по их планировке можно разделить на две группы:

1) Города кольцевой формы, где улицы расходятся от центра в виде радиуса и пересекаются другой системой улиц в виде концентрических кругов. Особенно типичной в этом отношении является Москва.

2) Другие представляют систему параллельных улиц, пересекаемых перпендикулярно идущей другой системой также параллельных улиц.

Обе эти системы страшно удлинняют маршруты и загромождают уличное движение. Особенно ярко это сказывается в центре города, расположенного по круговой системе, куда — к расположенным здесь центральным учреждениям — стекаются все потоки движения периферии. Удлинение маршрута особенно заметно в городе второго типа, когда нужно достигнуть какого-нибудь пункта, расположенного по диагонали: вместо гипотенузы в таком случае приходится проехать два катета, вследствие чего путь удлинняется почти в полтора раза.

И тот и другой тип застройки города ведет к тому, что получается громадная компактная площадь, удаленная от природы, что особенно чувствуется в центральных частях города. Это ведет к необходимости создания внутри города достаточного количества обширных парков, что в свою очередь ведет к значительному увеличению территории города, т. е. к удлинению сообщений внутри его.

Все эти обстоятельства ведут к тому, что старые города, приспособленные к нуждам и потребностям торгового капитала и мелкой промышленности, оказываются совершенно непригодными для настоящего времени. Не обмен, не торговля а производство должны стать в настоящее время тем фактором, который определяет планировку нового города. Эта ведущая роль производства

в планировке нового города сказывается уже в капиталистических странах, но особенно ярко чувствуется она у нас в СССР, где торговля умирает, а вопрос об индустриализации страны составляет одну из самых основных и остро стоящих задач. В СССР вопрос о планировке новых городов и о типе новых домов осложняется еще другими чрезвычайно важными моментами (коллективизация быта, недостаток многих строительных материалов и т. п.).

#### IV. Непригодность старых городов в настоящее время

Ни круговая, ни прямоугольная планировка города не пригодны для нужд современной крупной промышленности, ибо расположенные на периферии фабрики и заводы слишком удалены друг от друга, тогда как процесс производства очень часто требует их теснейшей связи. С другой стороны, процесс производства нуждается в воде, а воду нельзя достать в достаточном количестве в любом месте на периферии города. Поэтому уже в капиталистическом обществе фабрики и заводы часто располагаются вдоль по течению реки, образуя длинную, непрерывную цепь. Параллельно к ним и в самой непосредственной близости к ним вырастает город или ряд небольших городов, сливающихся фактически в единый город. Вся система заводов и жилищ связывается между собой рекой, железной дорогой, трамваем и т. п. Такова например цепь небольших городов, слившихся друг с другом, в окрестностях Льежа (Бельгия) вверх по течению Мааса на протяжении полутора десятков километров, а также и вверх по течению Вездры до самой германской границы. Таково расположение городов в саксонском промышленном районе.

Город, растянутый в длину, «город-лента» — вот тип планировки, наиболее подходящий для настоящего времени.

Но отсутствие плановости хозяйства и право частной собственности на землю ведут к тому, что в капиталистических странах этот тип города не получает должного распространения. Он может получить широкое развитие лишь в

стране, где все хозяйство строится по единому и притом новому плану, где безжалостно ломается все старое, если оно мешает развитию нового, где вся хозяйственная жизнь строится не в результате воли и капризов индивидуальных личностей, а в интересах общества, в сторону возможно большей рационализации всей хозяйственной жизни.

Но планировка города в виде ленты может иметь и другие преимущества.

Если город, построенный в виде круга или в виде прямоугольника, более или менее велик, то жители центральных его частей находятся вдали от природы. Им надо проехать или пройти часто очень длинное расстояние, чтобы выбраться из пределов города. А вдобавок ближайшие окрестности большого и плотно населенного города представляют мало привлекательного. Чтобы парализовать в известной степени этот недостаток, в городах создаются парки, но расположенный внутри города парк все-таки всегда очень мало пахнет живой природой, а, во-вторых, наличие в городе нескольких больших парков еще больше увеличит его площадь и удлинит сообщение между различными его частями.

Иное видим мы в городе-ленте. Он тянется длиной, но узкой полосой. В нем могут быть всего одна-две-три параллельные улицы, соединенные системой переулков. Стоит пройти два-три таких переулка, и выходишь из пределов города, т.-е. получаешь возможность общения с природой. Это преимущество должно особенно сильно чувствоваться в социалистическом обществе (или в обществе, переходящем к социализму), где не только промышленные предприятия, но и вся система жилых домов должны строиться не анархически, а по предусмотренному заранее и тщательно продуманному плану и притом в интересах всего населения, живущего в городе. При таких условиях должны быть рационально выбраны места не только для фабрик и заводов, но и для жилых домов. Эти последние должны располагаться таким образом, чтобы до них не доносился шум и грохот заводов, не доходили дым и пыль от них. Для этого

жилая часть города должна быть отделена от промышленной его части достаточно широкой зоной древесных насаждений. Для этого надо выбрать для жилой части города такое место, чтобы господствующие ветры уносили дым и пыль заводов не в жилую часть города, а прочь от него. Надо построить город таким образом, чтобы рекой могли пользоваться не одни заводы (они могут получить необходимую им для производства воду по водопроводам), а все население (купальни, речной спорт и т. п.) и чтобы грязные воды, спускаемые заводами, отнюдь не загрязняли реки. Наконец надо сохранить живую природу в окрестностях города, чтобы возможность наслаждаться пределью этой природы была не только теоретической (близость расстояния до конца города), но и фактической.

Система конвейера все больше и больше проникает не только в современную мастерскую. Самые заводы, а также и комбинаты заводов должны располагаться по системе конвейера так, чтобы готовый продукт одной мастерской (или одного завода) поступал как полуфабрикат в другую мастерскую (или на другой завод). Необходимо расположить все мастерские или даже целые заводы так, чтобы пробег этих продуктов-полуфабрикатов был возможно короче, т. е. расположить их по системе конвейера. Этого трудно достигнуть там, где уже имеется сильно развитая промышленность: трудно ломать и перестраивать уже существующие и еще достаточно хорошие фабрики и заводы; трудно перестраивать весь город. Это абсолютно невозможно в капиталистических странах, где при этом столкнутся интересы частных предпринимателей — владельцев фабрик, заводов и жилых домов. Но это вполне возможно в условиях СССР, в стране, которая в значительной части заново индустриализируется, создает новую промышленность в новых местах, создает целые новые города вокруг новых комбинатов-заводов. При этих условиях можно и нужно стремиться располагать рационально (по поточной системе конвейера) не только различные части завода, но и рационально в интересах населения выбрать место для жилой части города.

## V. Проекты урбанистов

В вопросе о планировке городов и о типе домов в этих городах в настоящее время ведут жестокие споры два течения — так называемые урбанисты и дезурбанисты.

Первые — сторонники создания больших городов, состоящих из громадных домов. Наиболее видным и талантливым представителем современных урбанистов является французский архитектор Ле-Корбюзье. Он рекомендует свои планы не только для постройки совершенно новых городов, но и для перестройки старых, которые построены совершенно нерационально с точки зрения современных условий.

Старый город, сохранившийся до настоящего времени, сильно страдает от узости улиц, совершенно не приспособленных для современного интенсивного и быстрого движения (трамваи, автобусы, автомобили). Чтобы создать более широкое поле для движения экипажей, Ле-Корбюзье предлагает строить дома не на фундаментах, а опирать их на колонны так, чтобы самый дом не соприкасался с землей и чтобы пространство под ним могло быть использовано для движения автомобилей. Под дома Корбюзье хочет перенести все движение экипажей, сохраняя улицы только для пешеходного движения.

Устройство домов на колоннах, которые будут нести всю тяжесть здания, позволит, по словам Ле-Корбюзье, использовать при постройке более легкие и хрупкие строительные материалы, тем более, что дом, не соприкасаясь с землей, будет изолирован от сырости.

Сохраняя в известной мере внутри города зеленые насаждения, Ле-Корбюзье предлагает вместе с тем использовать для них крыши домов.

Фасады домов, предлагаемых Ле-Корбюзье, очень оригинальны и не похожи на фасады современных домов.

Проекты Ле-Корбюзье, несмотря на их живость и талантливость, останутся в основном конечно на бумаге. Никто в капиталистическом мире не станет ломать весь Париж или какой-нибудь дру-

гой город с тем, чтобы на его место построить целиком новый город. А новые города в капиталистическом обществе строятся не по единому плану, а растут постепенно, анархически, и дома строятся по воле и капризу частных домовладельцев. Ле-Корбюзье возлагает надежды, что его идеи найдут широкое применение в строительстве СССР. Но его система небоскребов неприменима для СССР, ибо мы вовсе не собираемся строить большие города на неопределенно долгое время. Город для нас — это неизбежный пока этап по пути к будущему уничтожению городов. И что ни говори Ле-Корбюзье о возможности использовать для постройки его небоскребов более легкие и хрупкие материалы, его дома-небоскребы все-таки представляют очень сложные сооружения и потребуют для постройки очень много железа, кирпича и цемента.

Да и вообще идея городов, состоящих из небоскребов, выражающая, так сказать, «вертикальное» устремление Ле-Корбюзье, вполне понятна в капиталистическом мире с его частной собственностью на землю и при высокой цене земли, совершенно излишня у нас, где вся земля национализирована.

## VI. Проекты дезурбанистов

Совершенно иначе подходит к вопросу другая группа современных архитекторов, к числу которых принадлежит германский архитектор Бруно Таут. Эта группа (я говорю пока только о ее заграничных представителях) называет себя «дезурбанистами», т.е. сторонниками идеи уничтожения города и передвижения городского населения в деревню. Но в капиталистическом мире мы видим не движение в сторону дезурбанизации, а наоборот, непрерывный рост городов. Поэтому идеи Бруно Таута и его единомышленников интересны не с точки зрения планировки городов, а только как планы тех домов, которые, по их мнению, должны строиться в настоящее время.

Бруно Таут и другие дезурбанисты — противники небоскребов. Они сторонники невысоких и притом небольших домов. Вот например как описывает Бру-

но Таут предлагаемый им одноквартирный дом. «Это — коробка с единственным жилым помещением. Однородные части стен, а также пол и потолок сделаны из плит — плохих термических проводников, из которых, смотря по желанию, можно создавать любую форму жилища».

«Промежуточные стенки передвижные, так что внутреннему помещению также можно придать любую форму. Другими словами, бесконечная вариация форм из одинаковых составных частей дома. Как и человек, дом может быть подвергнут всяким превращениям. Пространственно — в смысле жилищном — отделенные друг от друга люди ведут более интенсивную индивидуальную жизнь, возрастающая ценность которой усиливает ценность всего общества».

Итак, основная установка Бруно Таута направлена на «одноквартирный дом», т.е. на чисто индивидуальное жилище. Эта установка совершенно не считается с той коллективизацией быта, которая является одной из наших современных задач.

Наши советские дезурбанисты, принявшие установку Бруно Таута на одноквартирный дом, видят этот недостаток его системы и стараются парализовать его, создавая среди сети своих главным образом одноквартирных домов сеть пунктов коллективного обслуживания в них живущих.

«Не дом-коммуна, а коммуна домов, — говорят они, — будет социалистическим видом жилища, где каждый дом есть проявление социалистической личности, индивидуальной или сгруппированной на базе общности производственных и культурных интересов, на личном товариществе и близости, а вся система социалистического расселения при помощи высокой техники транспорта и связи обеспечит общение каждого с каждым. Социалистическое жилище может быть индивидуальным жилищем, но не может остаться индивидуальным хозяйством».

Наши советские дезурбанисты хорошо понимают, что их система одноэтажных домиков, среди которых будет много (а может быть, и большинство) одноквартирных, непригодна для города. Поэтому они мечтают, говорят и пи-

шут о совершенно новом, «социалистическом» расселении человечества и при этом опираются на приведенную мною выше мысль Ленина: «В настоящее время, когда техника транспорта повысилась настолько, что можно при меньших издержках перевозить пассажиров с быстротой свыше 10 верст в час, нет ровно никаких технических препятствий к тому, чтобы сокровищами науки и искусства, веками скопленными в немногих центрах, пользовалось все население, размещенное более или менее равномерно по всей стране».

Дезурбанисты считают возможным приступить к планировке населенных мест (город в их планах совершенно исчезает) уже в настоящее время. Привожу проект такого расселения, который был предложен и защищался молодым талантливым архитектором М. Гинзбургом.

Вся страна (или определенный район ее) покрывается сетью дорог (железные дороги, гудронированное автомобильное шоссе), по которым происходит движение сырья, топлива, полуфабрикатов, готовых продуктов и рабочей силы. В местах скрещения транспортных путей создаются различные промышленные предприятия, которые берут себе сырье по возможности по соседству, ибо сырье, как говорят дезурбанисты, существует повсюду.

По соседству с транспортными путями, параллельно им идет электрическая сеть, которая также связывает все предприятия и дает им энергию, необходимую для производства.

С обеих сторон транспортной магистрали идет парковая зона шириною в 150 метров. За ней по обеим сторонам магистрали идут две дороги, приспособленные для местного движения. Вдоль этих дорог на некоторых расстояниях от них расположены поставленные различным образом жилища тех, кто занят на соседних предприятиях. Жилища эти разнообразны по типу. Основным, господствующим для настоящего времени, по планам советских дезурбанистов, явится небольшой домик-квартира для одного-двух человек. «Стандартной единицей нашего строительства,—говорят дезурбанисты,—является минимальная жилая ячейка: жилплощадь 12,5 кв.

метров, общая площадь 16 кв. метров с внешней кубатурой 65 куб. метров; в ее состав входят: собственно жилая часть, тамбур с вешалкой, теплая уборная, душевая кабина с умывальником. Эта жилплощадь может быть рассчитана на одного человека<sup>1)</sup>, но при желании она может быть использована и двумя».

«Это — площадь одиночки или пары. Наша ячейка состоит из отдельных стандартных элементов, изготовленных фабричным способом. Основой конструкций являются стандартные щиты, изготавливаемые фабрично из местных материалов» (деревянные планки, стружки, опилки, фибролит, месонит, соломит, камышит и т. п.). Общей водопроводной сети нет; вода разводится на автомобилях и накачивается в двухсуточные баки. Канализации также нет; особая система уборных приспособлена для компостирования фекалий. Отопление электричеством или печами.

Эти небольшие ячейки-домики, легко разбираемые и также легко собираемые, по желанию владельца могут переноситься с места на место. Они легко могут быть сблокированы. На ряду с такими маленькими домиками на одного-двух человек наши дезурбанисты допускают несколько большие дома для многосемейных, допускают также и «дома-коммуны», состоящие из ряда таких же индивидуальных ячеек и не имеющие внутри никаких учреждений общественного пользования.

Разрывы между строениями приблизительно — пятьдесят метров.

Плоскость расселения в жилой зоне зависит от степени развития производства в том узле, из которого исходят те транспортные магистрали, вдоль которых происходит заселение. Чем больше в этом узле промышленных предприятий (или комбинатов), тем плотнее заселены жилищные зоны вдоль исходящих из этого узла транспортных магистралей. У крупных магистралей — три тысячи человек на один километр, у

<sup>1)</sup> «Не каждому человеку своя квартира, а каждому человеку свое жилище», т. е. самостоятельно, отдельно от других стоящее жилище. Так коротко формулируют свою жилищную программу наиболее смелые из наших дезурбанистов. — Н. М.

средних — пятьсот, а у меньших — сто пятьдесят—двести человек.

В парковой зоне, окаймляющей с обеих сторон магистраль и отделяющей от нее живую зону, расположена сеть учреждений общественного пользования (почтовые отделения, библиотеки, детские учреждения, столовые и т. п.). Все эти учреждения размещены по заранее выработанному плану.

В защиту своего проекта наши советские дезурбанисты ссылаются на приведенные мною выше мысли Энгельса и Ленина о размещении промышленности, а вместе с тем и всего населения более или менее равномерно по всей стране. Но, как я уже указывал в начале статьи, этот тип расселения может осуществиться только в будущем бесклассовом обществе, в обществе вполне победившего социализма, в настоящее же время у нас нет еще налицо всех тех условий, которые делали бы возможным осуществление этого типа расселений. Это забегание вперед и представляет основную и главнейшую ошибку наших дезурбанистов. Благодаря этому идеи советских дезурбанистов являются в настоящее время неосуществимыми, а в некоторых отношениях (уничтожение города при настоящих условиях острой классовой борьбы поведет к ослаблению позиций пролетариата) даже реакционными. Немудрено поэтому, что идеи советских дезурбанистов, несмотря на их талантливую защиту, остаются не реализованными.

«Нечего и доказывать, что болтовня об отмирании, разукрупнении и самоликвидации городов — нелепость, — говорил т. Каганович в своем докладе на пленуме ЦК ВКП(б) в июне 1931 г. — Больше того — она политически вредна. Это всё равно, что практически ставить теперь вопрос об отмирании и о ликвидации государства. Здесь безусловно есть известная аналогия. Хорош был бы тот большевик и революционер, который поставил бы уже теперь вопрос об отмирании и ликвидации пролетарского государства! Мы знаем, что придет время, когда государство отомрет, но сегодня мы его укрепляем, сегодня мы концентрируем в единый кулак все силы пролетарского государства для борьбы с окружающими нас классовыми

врагами. Тем более, что в отношении городов вовсе не стоит вопрос об их отмирании, как он стоит в отношении к государству. Мы идем к ликвидации противоположности между городом и деревней не на основе ликвидации городов, а на основе их видоизменения и социалистической переделки деревни, подема ее до уровня передовой городской культуры».

Кроме того, у советского дезурбанизма имеется второй крупный недостаток. Небольшие жилища, рекомендуемые ими (домики, на одного человека или на одну семью), неизбежно будут влиять в направлении не разрушения, а сохранения индивидуального хозяйства. Это же можно сказать и о своеобразных «домах-коммунах» наших дезурбанистов. Эти дома, по их идее, должны состоять из индивидуальных, одна от другой обособленных ячеек, при таком доме нет ничего для коллективного обслуживания нужд в нем живущих. Все это обслуживание выносится за пределы «дома-коммуны», и осуществляется сетью правильно размещенных учреждений общественного пользования. Но вынос за пределы дома-коммуны таких учреждений неизбежно будет создавать соблазн избежать хождения, например в столовую в ненастную погоду путем приготовления пищи на дому, т. е. будет вести к поддержанию индивидуального домашнего хозяйства, а это противоречит поставленной в порядок дня важной задачи — коллективизации быта.

## VII. Какие города строятся фактически в СССР

Выше (в главе IV) я говорил, что построение города по схеме ленты, по поточно-функциональной системе, теоретически является вполне рациональным. Но практически это далеко не всегда можно осуществить. Иногда такой планировке мешает рельеф местности, расположение реки, какие-либо другие природные условия. Кроме того, расселение в виде ленты, имеющей только одну-две улицы, в больших городах поведет к сильному удлинению города, а это создаст крупные неудобства для транспорта. Поэтому фактически от плана города-ленты приходится часто



отступать и придавать городам другую форму, напоминающую планировку старых городов. Но во всяком случае расположение фабрик и заводов и в таких новых городах совершенно непохоже на старое, анархическое их размещение. Все промышленные предприятия нового города рационально объединены в комбинаты и не разбросаны как попало по всему городу, а сконцентрированы в одно место, по возможности изолированное от жилой части города и отдаленное от него зоной древесных насаждений.

Кроме того, в новом городе уже при самой планировке его намечается сеть учреждений общественного пользования: школы, библиотеки, столовые, детские учреждения и т. п. Сразу намечается рациональная система транспортного движения. Улицам дается необходимая ширина. Правильно намечаются достаточные зеленые насаждения (парки) и немедленно приступается к их созданию. В окрестностях города проектируется сеть домов отдыха и совхозов, которые будут в будущем доставлять населению города необходимые продукты сельского хозяйства и в которые, с другой стороны, в разгар полевых работ может быть передвинуто из города достаточное количество вспомогательных рабочих сил.

Плановость построения нового советского города является его характерной чертой. Немудрено, что такие города получили у нас теперь названия «социалистических городов», хотя при полном социализме, как это указывали Энгельс и Ленин, города совершенно исчезнут.

Приведу для иллюстрации схему планировки перестраиваемого теперь Сталинграда.

Сталинград еще до перестройки состоял из нескольких частей. Все эти части были очень неблагоустроены. «Из всех застроенных районов, — говорит «Пояснительная записка к эскизу планировки Сталинграда», — только городская часть при всем своем неблагоустройстве может претендовать на название города: имеются 4-х и 5-этажные здания, а за последнее время выросло несколько крупных построек советского характера. Все же остальные

жилые районы представляют сплошное море одноэтажных деревянных домишек маленького размера...» «На территории Сталинграда существует 13 разнообразных водопроводов, сгоивших большие деньги, но не давших полного удовлетворения потребности городского населения. Канализация существует случайно, только в центре города. Мощных улиц (и мощеных достаточно плохо) существует лишь небольшое количество. Сеть трамвая при громадных расстояниях недостаточно обслуживает город».

Совершенно иной характер будет иметь будущий Сталинград.

Это будет довольно типичный городок. Он будет тянуться по берегу Волги на 42 километра и будет состоять из 5 составных частей.

1. Комбинат различных металлических заводов (автомобильный, вагонный и т. д.), а равно и необходимые для них вспомогательные предприятия.

2. Центральный город. Это будет центр административно-общественной жизни. К нему примыкает район пищевой и легкой промышленности. Здесь же имеется большой консервный завод, а в близком будущем предполагается создать фабрику-кухню, хлебный завод и т. п.

3. Далее к югу, вдоль по Волге, идет площадь, отведенная под лесные склады и лесную промышленность (здесь же будет и кожевенный завод).

4. Еще далее идет химический комбинат (заводы жировой и резиновой промышленности).

5. Наконец еще далее в югу, недалеко от начала будущего Волго-Донского канала, будет расположен жел.-дор. поселок.

Новых отраслей промышленности в районе допускать не предполагается.

Вокруг каждого из этих комбинатов будет выстроен свой город. Общее количество жителей будущего Сталинграда предполагается в 600—800 тыс. человек. Ни один из частичных городов, которые войдут в состав будущего Сталинграда, не будет иметь менее 50 тыс. жителей.

В районе предполагается постройка 5 центральных электрических станций, которые будут вливать вырабатываемую

ими энергию в единую сеть, питающую все предприятия и весь город.

Транспортная связь между частями города будет осуществляться при помощи электрической жел. дороги, а наряду с ней будут 2 шоссейных дороги, — первая для междузаводского транспорта, и вторая для легкого и быстрого автомобильного движения.



В буржуазном обществе семья является хозяйственной ячейкой, которая удовлетворяет очень много потребностей своих членов. В подавляющем числе случаев семья организует питание для своих членов; в недрах семьи происходит воспитание ребенка; в кругу семьи проводят ее члены часы своего досуга. Правда, позже, когда развитие промышленности приводит в город большие количества пришлого люда, не могущего по тем или иным причинам обзавестись в городе прочной и крепкой семьей и соответствующим, достаточным жилым помещением, некоторые из перечисленных функций семьи начинают мало-по-малу отмирать: развивается например питание в столовых и ресторанах, отдача детей в детские дома и т. п. Возникает и растет вместе с тем и сеть учреждений для удовлетворения постепенно развивающихся потребностей. Но и эти учреждения находятся обыкновенно не в руках города, а организируются отдельными лицами, т. е. строятся не по единому плану, а по воле своих основателей и не в интересах всего населения, а по соображениям доходности предприятия. Поэтому и в организации таких учреждений мы видим ту же бесплановость, ту же анархию, которая характеризует весь капиталистический город, все буржуазное общество.

Совершенно иную картину видим мы в проектах новых городов, создаваемых в настоящее время в СССР. Мы переживаем период строительства социализма; семья как хозяйственная единица понемногу отмирает; все большее количество потребностей все большего количества граждан уходит из ведения семьи и переходит в руки общества (напр. питание, воспитание детей и т. п.).

При построении новых городов в СССР одним из заданий является построить город и дома в нем таким образом, чтобы эта планировка и это устройство домов не поддерживали старой патриархальной хозяйственной замкнутости семьи, а, наоборот, способствовали бы отмиранию этой стороны семейной жизни, содействовали бы коллективизации быта. Поэтому уже при разработке плана города необходимо наметать (и действительно намечается) расположение сети учреждений общественного пользования: сеть столовых, школ, детских домов, клубов, спортивных учреждений и т. п.

Организация питания всех городов, входящих в состав Сталинграда, объединена в единую систему. В центральной части города имеется пищевой комбинат, который в деле получения продуктов опирается на окружающие город совхозы, молочные фермы и т. п. В каждом городе имеется своя фабрика-кухня. Эта фабрика-кухня снабжает уже вполне готовыми кушаньями или, так сказать, полуфабрикатами (т. е. кушаньями, которые еще не вполне готовы) столовые, распределители на предприятиях, в учреждениях и в жилищных комбинатах. Столовые рассчитаны на обслуживание 225 чел. одновременно обедающих, так что каждая может пропустить 600—700 чел. в день.

Так же рассчитана и запроектирована заранее по всему будущему городу сеть магазинов-распределителей. В каждом квартале города будет свой универсальный магазин.

Спортивные учреждения в том же городе химиков состоят из сети мелких площадок при жилищных комбинатах и по кварталам, а также при школах и вузах. В каждом районе города, а также на предприятиях будут более крупные стадионы. Каждый город будет иметь свой центральный стадион с дворцом физкультуры. И наконец в центральном городе будет главный физкультурный центр для объединения и направления всей работы.

Для водного спорта будет использована Волга с пляжами на противоположном (левом) берегу, а также ряд прудов, которые будут созданы в оврагах,

В каждом городе будет свой парк культуры и отдыха, а около центральной части города такой же обширный парк, за которым будет построен ряд домов отдыха. Эти парки могут быть использованы под пионерские лагеря.

Гипрогором разработана (работа проф. А. Н. Сысина) схема планировки сети пунктов медицинской помощи. Город будет иметь единый водопровод. Каждый городок будет иметь свою канализацию, выводящую нечистоты к полям орошения, входящим в систему совхозов.

Заранее запроектирована для каждого города сеть городского транспорта (трамвай), рассчитанного таким образом, чтобы он мог доставить к определенным местам работы в определенное время то количество рабочих, которое будет занято на предприятиях в одну смену.

Разработана наконец сеть школ для того же городка химиков: ряд школ с радиусом действия в 650 метров; школы эти тесно связаны с предприятиями. Школы будут расположены в зеленой зоне. В каждом городе будет также достаточная сеть яслей для ребят и сеть детских садов.



Как сказано выше, далеко не всегда и не везде можно строго провести принцип расположения города в виде ленты вдоль магистрали. Этот принцип не проведен строго и в плане Сталинграда. Этому мешают часто топографические условия, расположение реки, наличие старых фабрик и заводов, наличие старого города. Поэтому при планировке многих городов мы видим часто еще большие отступления от принципа города-ленты. Тем не менее, если не в большинстве случаев, то очень часто мы видим приближение к этому принципу. Вот например основные линии, которые положены в проект перестройки Самары, которая также в близком будущем превратится в крупный промышленный город.

«Из расположения промышленных районов видно, — говорит объяснительная записка к проекту планировки Самары, — что все места работы сгруппированы вдоль берега Волги; поэтому

в основном Самара имела рост города вверх по берегу».

Проект дальнейшей постройки предусматривает дальнейшее развитие этого направления; для этого по берегу создается мощная транспортная магистраль. Таким образом все население, работающее на предприятиях вдоль магистрали, будет жить в районах, прилегающих к линии транспорта.

«Новая промышленность создаст новый жилой район. В ближайшую очередь будет застроена территория вблизи промышленности на расстоянии возможного пешеходного сообщения с местом работы. Этот район от промышленных предприятий будет изолирован зоной шириной в 400 метр. Развитие его пойдет вдоль линии железной дороги, а район жилья будет связан с существующим городом (административно-культурным центром) магистралью. С ростом группы жилья у промышленности место жилья будет удаляться от места работы, и будет неизбежен механический транспорт (трамвай, автобус). Развитие района жилстроительства пойдет по линии магистрали между городом и промышленным районом. По этому направлению будет развиваться и существующий город».

«На дальнейшее предположено создание второй линии транспорта между промышленностью и городом. По этой линии пойдет следующая очередь расположения жилого района».

«Таким образом схема строится по принципу линейного развития, и весь город состоит из трех основных линий застройки».

Линия транспорта захватывает район жилья полосой около одного километра, так что наиболее удаленная часть жилья будет от линии транспорта не более чем на 0,5 километра, т.е. на расстоянии пешеходного сообщения.

При планировке Самары мы видим ту же заботу о том, чтобы внести в город возможно более природы путем достаточно обширных зеленых насаждений. Вот, что говорит об этом объяснительная записка к проекту:

«Группировка застройки такова, что между группами образованы зеленые зоны, состоящие из существующих садов.

Эти массивы зелени равномерно охватывают все районы и глубоко врезаются в город. В этих зонах будут сосредоточены детские учреждения; они также будут служить местом отдыха для населения».

Из этих зон выделена часть территории, наиболее близкая к общественным центрам; она намечена для создания общественных парков. Центральный парк предложено создать с площадью около 100 гектаров, с выходом в город и с удобным подходом к Волге.

Второй массив общественной зелени намечен по берегу Волги. Третий, объединяясь со спортивными площадками, образует группу зелени в южной части города. Намечены еще 4 массива зелени. В районах этих массивов намечены подходы к реке и создаются части берега, доступные для населения. Кроме того, проектируется при строительстве и перестройке кварталов оставлять в каждом из них территорию для зелени.

«Застройку города предложено вести группами, которые будут представлять единицы общественной жизни. Такая группа на 5.000—7.000 чел. будет иметь свои ясли, детские сады, спортивные площадки и т. п.». Группы будут объединяться в районы по 50—80 тыс. жителей, которые будут иметь свои клубы, библиотеки и т. п. Таких центров намечено 10. Намечен центральный спортивный парк с территорией в 25 гектаров.

Заранее намечена сеть школ, которая будет расположена в зеленых зонах. Все вузы будут приближены к производству.

Дома предложено строить в первой и второй зоне несгораемые, высотой не ниже трех и не выше пяти этажей. В третьей — деревянные, не ниже двух этажей. Высота зданий не должна быть более 2/3 ширины прилегающих к ним улиц.

\*\*\*

Уничтожение противоположности между городом и деревней будет достигнуто при вполне развитом социалистическом обществе следующими обстоятельствами:

1. Все хозяйство страны будет связано в единую организацию, что уничто-

жит противоречие интересов земледельческого и промышленного населения.

2. Сельское хозяйство до сих пор обслуживалось главным образом ручным трудом, тогда как в индустрии широко применялись машины. Исконный крестьянин не знал заводских машин, не умел с ними обращаться. Он должен был пройти длинную выучку, переродиться при этом психически, чтобы стать фабричным, а особенно заводским рабочим. Психология и идеология рабочего и крестьянина были совершенно различны.

Социализм будет осуществлен только тогда, когда сельское хозяйство будет механизировано, но тогда и тот, кто работает в области сельского хозяйства (крестьян тогда не будет), превратится в рабочего, работающего также на машине. Психология и идеология и заводского и сельскохозяйственного рабочего станут одинаковы.

«Вопрос об отношениях между городом и деревней, — говорил Сталин в своей речи на конференции марксистов-аграрников, — становится (в связи с нынешним темпом роста колхозного движения) на новую почву, и противоположность между городом и деревней будет размываться ускоренным темпом».

«Это обстоятельство имеет величайшее значение для всего нашего строительства. Оно преобразует психологию крестьянина и поворачивает его лицом к городу. Оно создает почву для уничтожения противоположности между городом и деревней. Оно создает почву для того, чтобы лозунг партии «лицом к деревне» дополнялся лозунгом крестьян-колхозников «лицом к городу». И в этом нет ничего удивительного, ибо крестьянин получает теперь от города машину, трактор, агронома, организатора, наконец прямую помощь для борьбы и преодоления кулачества. Крестьянин старого типа с его зверским недоверием к городу, как грабителю, отходит на задний план. Его сменяет новый крестьянин, крестьянин-колхозник, смотрящий на город с надеждой на получение отсюда реальной производственной помощи».

3. Механизация сельского хозяйства поведет к тому, что чрезвычайно легкой станет смена труда, обмен работниками

между сельским хозяйством и индустрией, переброска работников из одной отрасли в другую, в зависимости от потребностей производства. Это поведет к полному уничтожению всех различий между этими двумя категориями работников<sup>1)</sup>.

В современном строительстве наших советских городов уже необходимо предвидеть это слияние города и деревни. Необходимо уже в настоящее время устанавливать повсюду, где это возможно, прямую связь между сельскохозяйственными и городскими организациями.

План будущего Сталинграда эту связь предусматривает. Город будет окружен совхозами. Это позволит в будущем осуществлять обмен рабочей силой между фабриками и заводами города и окрестными совхозами путем переброски рабочих из города в совхозы летом во время интенсивных полевых работ и, наоборот, путем передвижения работников из совхозов на фабрики и заводы в города зимой, когда сельскохозяйственные работы замирают.

Замечу еще, что связывание сельскохозяйственного труда с трудом городских рабочих будет осуществляться также и тем, что дома отдыха Сталинграда будут работать на трудовой основе: пребывающие в них будут заниматься огородными и другими сельскохозяйственными работами при домах отдыха.

Оба упомянутые выше течения в строительстве городов — урбанисты и дезурбанисты — являются результатами характерного для буржуазного строя резкого противоречия города и деревни. И то, и другое течение является попыткой решить вопрос или в пользу города, уничтожающего деревню, или в пользу деревни, уничтожающей город. Вне этой дилеммы капитализм не может найти никакого решения вопроса. Но в будущем, во вполне развитом социалистическом обществе, непригодно будет ни то, ни другое решение, ибо должны исчезнуть и города, оторван-

ные от сельского хозяйства, и деревня, оторванная от индустрии. В будущем человечество увидит совершенно новый, свойственный только коммунизму тип расселения человечества — «более, или менее равномерное расселение человечества по всей стране».

Ошибочно было бы пытаться уже сейчас осуществить этот тип расселения; для этого у нас нет еще необходимой производственной и транспортной базы. Но также ошибочным является и стремление строить в настоящее время новые города, состоящие из монументальных зданий, рассчитанных на многие десятилетия, а то и на столетия. Ошибочно это по двум причинам:

1) У нас нет в настоящее время такого громадного количества кирпича, цемента, железа и т. п., которое мы могли бы обратить на строительство монументальных домов. Все эти материалы имеются у нас пока еще в недостаточном количестве, и гораздо рациональнее обратить их на постройку фабрик, заводов, электростанций и т. п., а на жилищное строительство употреблять более легкие и менее прочные недефицитные строительные материалы. Этого и требуют теперь наши директивные партийные и советские органы.

«Новые стройматериалы не являются чем-то только опытным, лабораторным, — говорил т. Каганович в своем докладе на пленуме ЦК ВКП(б) в июне 1931 г., — доказано, что их можно уже применять в мировом масштабе и в некоторых местах их уже применяют в больших размерах. Какие это стройматериалы? Во-первых, силикат-серамик, изготавливается в виде больших блоков из извести, трепела, опилок с различными химическими добавками и употребляется как материал для стен. Возможность изготовления любых размеров допускает стандартное производство и механизированную сборку».

«Затем трепельный кирпич изготавливается тех же размеров и теми же способами, что и обыкновенный, но дает большую экономию материала; так, из 1 млн. штук красного кирпича выкладывается 3.700 кв. метров стены, а из 1 млн. трепельного — 9.260 кв. метров стены, т. е. расход кирпича уменьшается втрое».

<sup>1)</sup> Я не привожу здесь всех условий, необходимых для полного построения социализма. Я беру только те из них, которые связаны со строительством города.

«Шлако-бетон — сочетание бетона и шлака. Употребляется главным образом как материал для стен».

«Фибролит изготавливается в форме плит путем прессования волокнистых органических материалов (древесной стружки, костры, кенафа, соломы) на вяжущей основе. Он почти не звукопроводен, не горит. Фибролит применяется как материал для устройства перегородок, потолков, утепления кирпичных стен и т. д.».

2) Города как места постоянного жительства громадных масс населения все-таки обречены в более или менее близком будущем на исчезновение. Ошибочным было бы поэтому строить теперь городские дома необыкновенно

прочными: чего доброго, их в будущем придется разрушать, как мы теперь разрушаем мешающие новой жизни многие здания прошлых времен.

Если приглядеться к строительству современных наших советских городов, то мы увидим, что города эти далеко не всегда строятся по выработываемым иногда грандиозным планам. Вместо дорого стоящих монументальных зданий строятся гораздо более простые и дешевые дома. Грандиозность города от этого конечно страдает, но такое упрощенное строительство обходится дешевле и осуществляется быстрее, а это и нужно для того, чтобы возможно быстрее двигаться по пути индустриализации страны, по пути строительства социализма.

# Литература и искусство

1. Инн. ОКСЕНОВ.—Монстры и натуралии Юрия Тынянова. 2. К ЛОКС.—В лабораторији Достоевского. 3. АВГ. РАШКОВСКАЯ.— Литература молодой Германии.

## 1. МОНСТРЫ И НАТУРАЛИИ ЮРИЯ ТЫНЯНОВА

Инн. Оксенов

Литературный путь Юрия Тынянова-беллетриста складывается своеобразно и закономерно. Формальная школа литературоведения, нашедшая недолговечный и непрочный компромисс с социологией искусства в поверхностной теории «литературного быта», переживает глубокий кризис. Внутренние теоретические возможности формализма исчерпаны. Борьба с марксистским или даже с самым «невинным» социологическим литературоведением становится для формалистов явно непосильной, — разве что формальная школа сумеет мобилизовать еще одну столь же компромиссную и столь же порочную в своей основе теорию. Но и это лишь задержит на некоторое время процесс разложения устоев «формального» мировоззрения. Идеология формализма проявляется теперь не столько в теоретических выступлениях, сколько в творческой практике, — в художественных произведениях писателей, так или иначе связанных в прошлом или настоящем с формальной школой.

Именно в этом отношении творчество Юрия Тынянова — одного из столпов ленинградского формализма — заслуживает особого внимания. В «Смерти Вазир-Мухтара» для Тынянова намечался выход на широкие литературно-исторические пути. Образ Грибоедова в этом романе героичен и трагичен, но сквозь идеалистическую трактовку темы проступают более или менее живые и реальные черты исторической действительности. Рассказ «Подпоручик Киж», появившийся в печати после «Вазир-Мухтара», представляется нам в сравне-

нии с последним шагом назад. Самый выбор сюжета, построенного на анекдотическом происшествии времен павловской империи, является характерным для формалиста. «Герой» этого рассказа — канцелярская описка, приобретающая под именем «подпоручика Киж» объективное, хотя и призрачное существование. Нам кажется, что философия «Подпоручика Киж» — не в раскрытии власти «буквы» над человеком, а в своеобразном любовании «материализацией» пустого «заумного» слова, получающего какой-то социальный смысл и наполнение.

Еще большим отходом назад, на позиции ортодоксального формализма, представляется нам «Восковая персона»<sup>1)</sup>. Исторический момент, являющийся содержанием этой повести, мог бы дать, вообще говоря, крайне благодарный материал для писателя. В № 1 журнала «Ленинград» отрывкам из «Восковой персоны» предпослана краткая аннотация следующего содержания: «В повести Юрия Тынянова изображается борьба партий и различных социальных групп после смерти Петра. Генерал-прокурор Ягужинский (Егушинский, Егузинский) — продолжатель политики Петра — опирается на «людей торговых, служилых», на «коммерцию». «Герцог Ижорский», принц Alexander — Данилыч — Меншиков «вдается в боярскую толщину». Мы не знаем, кому принадлежит эта аннотация, — автору повести или редакции журнала, — но мы хотим

<sup>1)</sup> Непечатана в №№ 1 и 2 «Звезды» с. г., выходит отдельным изданием в ГИХЛ.

предупредить читателя, что искать в «Восковой персоне» изображения «борьбы партий и различных социальных групп после смерти Петра» будет занятием вполне бесплодным и праздным. Правда, в повести есть зато многое другое.

Самое заглавие повести, отдающее привкусом исторических стилизаций десятих годов нашего века, характеризует повесть как статическую композицию, как своего рода музей исторических фигур, вылепленных с известным, но крайне односторонним мастерством. «Восковая персона» как таковая — восковой манекен Петра, сделанный вскоре после смерти последнего скульптором Растрелли-старшим. Эпизод с созданием этой статуи не занимает значительного места в повести, но манекен Петра играет «активную» роль в некоторых моментах повествования как символическое подобие власти ушедшего императора, сдерживавшей в равновесии внутреннюю борьбу дворцовых кругов. Дальше этой примитивной социальной символики в повести дело не идет. Мотив «Восковой персоны» является для повести крайне характерным, — это один из «монстров» повести. Учрежденная Петром «куншт-камора» — собрание всяческих редких зверей, уродств и таких анатомических экспонатов, как например головы казненных Монса и Марии Гамильтон, — поставлена Тыняновым едва ли не в центр повествования. В этом несомненно сказалась старая формалистская привязанность к «необычайному» материалу, «остраненному» уже, так сказать, своей собственной природой. Но в этом любовании «монстрами» и «натуралиями», в том пристальном внимании, с которым в них всматривается автор, есть еще и нездоровый, патологический оттенок:

«А вторая голова была Марья Даниловна Хаментова-Гамильтон. Та голова, на которой было столь ясно строение жилка, где какая жилка проходит, — что сам хозяин, на помосте, сперва эту голову поцеловал, потом объяснил тут же стоящим: что вот как много жил проходит от головы к шее и обратно. И велел тую голову в хлебное вино и в куншт-камору...»

Посмотрим теперь, как показывает

Тынянов основных героев своей повести, какие методы применены автором в изображении таких крупнейших исторических фигур, как Петр, Екатерина, Меншиков, Ягужинский. Здесь мы должны заранее указать на то, что было бы напрасно ждать от Тынянова разработки героев повести в духе исторического материализма: вся система мировоззрения, исповедуемого Тыняновым, исключает эту возможность (хотя и бывают случаи, когда теоретик не совпадает или расходится с художником). Но и вне методов исторического материализма существуют различные категории художественного преломления исторической действительности. Возможно наконец смешение методов материалистического с идеалистическим, что наблюдается например в недавно вышедшем «Петре» А. Н. Толстого, представляющем тем не менее крупное явление советской литературы.

Что касается тыняновского Петра, последний не занимает значительного места в объеме повести. Мы видим процесс умирания Петра, осложненный мыслями о России, о близких и приближенных и т. д. «На кого оставлять ту великую науку, все то устройство, государство и наконец немалое искусство художества? О, Катя, Катя, матка! Грубейшая!» Петр «Восковой персоны» умирает, прощаясь с «парусным делом», «адмиральским часом», с «немалым кораблем» (Россией), умирает, созерцая «синие голландские кафли» и плача в лоскутное одеяло. Все это не вносит изменений или дополнений к традиционным литературно-историческим представлениям о личности Петра; автором сделан также традиционный для исторических романистов — от Мережковского до Алексея Толстого — акцент на пресловутой «жестокости» своего героя: «А через час придет Катерина, и он знал, что умирает из-за того, что ее не казнил и теперь допускает в комнату. А нужно было ее казнить, и тогда бы кровь получила облегчение, и тогда бы выздоровел... А запечного друга, Данилыча, тоже не казнил и тоже не получил облегчения». Кроме того, Тыняновым использовано имеющееся в исторических источниках свидетельство о предсмертном разговоре Петра с «генерал-фискалом» Мякини-



ным: на вопросы последнего: «ли сечь одни только сучья», или «наложить топор на весь корень» Петр якобы ответил: «Тли до тла», т. е. посылай на плаху 92 головы. Было ли так на самом деле или нет,—дело конечно не в этом, важно лишь то, что в основе этих и подобных им сокрушительных петровских тенденций лежала определенная политическая линия, в повести совершенно не вскрытая. Это отсутствие социально-политического освещения описываемых событий приводит к тому, что Петр «Восковой персоны» представляется чем-то в роде восточного сатрапа или разнужданного садиста. Это—одни из крупнейших «монстров» повести.

Если в тыняновском образе Петра доминирующим началом является его стихийная, звериная жестокость, то в характеристике Екатерины, Петровой жены, основное место принадлежит эротическому моменту. Екатерина—Марта—вспоминает во сне свою латгальскую молодость: коровий хлев, песни девушек, ночные ласки своих приемных родителей. Далее идут воспоминания о пасторском сыне, о шведском капрале, о русских солдатах, о «любезном кавалере» Вилиме Ивановиче Монсе, о том самом Монсе, чья голова томится в куншткаморе. В повести имеется подробное описание туалета Екатерины, ее «умываний» и «притираний». (Здесь приводятся не лишние интереса рецепты «дацкой» и «венецианской» воды). В черных «агажантах», в черном и белом «фонтанже», облаченная в черную «мантею», Марта—она же Екатерина—выходит в «паратную залу» ко гробу «хозяина». «И она увидела Левенвольдика, молодого, со стрелками, с усиками—и поняла, что приблизит. Потом посмотрела вбок и увидела Сапегу, жениха племянницына, еще совсем ребенка, и поняла, что приблизит...». К этому надо добавить, что в одной из следующих глав повести мы находим эпизод сближения Екатерины с Сапегой.

Почти все исторические лица—герои «Восковой персоны»—поставлены автором под знак какого-либо определенного «порока». Это не «живые» литературные герои, а, применяя одно из ходовых современных определений, «конкретные носители зла». Но это «зло»,

показываемое Тыняновым, если и характеризует изображаемую эпоху, то лишь с одной стороны, притом для современного читателя как раз наименее существенной. Так, из истории известно, что «герцог Ижорский»—он же «князь Римский»—Меншиков отличался изрядным лихоимством, сильно возросшим к концу правления Петра. Это самое пристрастие к «великим дачам» положено Тыняновым в основу характеристики «Данилыча». Светлейший князь занимается подсчетом своих «убытков» и «интересов», ждет суда и казни, а после смерти Петра вспоминает свое прошлое: «и вот он стал на единый момент словно опять Алексашка, который спал на одной постели с хозяином...» Совершенно очевидно, что историческая роль Меншикова отнюдь не исчерпывалась его взяточничеством или обнаружившимся после смерти «хозяина» властолюбием, ясно также, что эти «пороки» могли возникнуть и цвести на определенной политической и социально-экономической почве. Между тем «принц Ижорский» предстает перед нами в повести как конкретный носитель отвлеченного «зла», как воплощение «общечеловеческой» жадности и корыстолюбия. Это опять-таки один из живых экспонатов «куншткаморы», которой постине является повесть. Основной порок последней—в отсутствии подлинного политического содержания, в отсутствии связи ее крупнейших героев с социально-экономическим фоном и бытом эпохи. Этот быт и фон правда в повести намечены кое-какими чертами, о которых мы скажем ниже.

Мы вполне отдаем себе отчет в том, что историческая повесть—не ученый трактат и не политический памфлет. Но мы не менее твердо убеждены в том, что всякое современное художественное произведение, построенное на историческом материале какой угодно эпохи, должно более или менее глубоко отражать социально-экономическую структуру изображаемого общества и его классовую борьбу. Мы не говорим уже о социальной философии произведения, к которой мы также предъявляем вполне определенные требования. Эпоха, являющаяся темой «Восковой персоны», характерна сложностью своей социально-политиче-

ской обстановки и партийной борьбы, за которой скрывалась борьба классов — бояр-феодалов и торговой буржуазии. После смерти Петра основными борющимися фигурами становятся Меншиков и Ягужинский; первый берет курс на «боярскую толщину», т. е. на деле является проводником реакционных влияний, второй стремится к продолжению торгово-капиталистической политики Петра. Конфликт между этими двумя вождями различных партий мог бы послужить ценным материалом для раскрытия основных социально-экономических сил и противоречий эпохи. Что же сделано в этом направлении автором?

Очень немного. Изменение политики в отношении «купецких людей», проводимое Меншиковым, нашло в повести отражение в эпизоде с тремя «слепыми» старцами, которые оказываются переряженными купцами, а «ходят так, чтоб избыть налогу, которого на них много наложено. Так дугом и ходят, сказаны у себя в нетях, сами записаны на богадельню, а всюду у них понасажены малые люди... Так стало в самое последнее время... когда сам стал вдаваться в бабью власть и подаваться в боярскую толщину, а ранее был купецкий магистрат, и те купцы не ходили в нетях». О том же говорит Ягужинский: «И теперь в изумлении купецкие люди: ли коммерцию в архангельский Город переведут, ли в Кронштадт, или вовсе изведут! И быть ли Санктпetersбургку или Городу?» Этими немногими чертами однако ограничиваются имеющиеся в повести указания на социально-экономическую подкладку борьбы, развертывающейся между Меншиковым и Ягужинским. Для неискушенного читателя сущность этой борьбы остается совершенно нераскрытой.

Мы говорили выше об основном лейтмотиве характеристики «герцога Ижорского» (Меншикова). Вообще же Меншиков — как и большая часть героев — показан статически, в том же плане гротескного, слегка стилизованного под XVIII век психологизма, который свойственен методу «Восковой персоны» в целом. Сказанное в особенности относится к крупным — историческим — фигурам повести, показанным большей частью в их размышлениях и переживаниях

и крайне редко — в действии, а еще реже — в таких поступках, которые характеризовали бы общественно-политическую линию их поведения. Правда, мы видим Меншикова, отдающего распоряжение об издании «ноздрового» и «табачного» указов, что должно отметить изменение его политики в более либеральную сторону. Но эти штрихи, повторяем, слишком редки и легко ускользают от читателя, внимание которого отвлекается внешне-описательными эффектами. Читатель, — а мы имеем в виду среднеквалифицированного современного рабочего читателя, представляющего свои основательные требования к литературе, — читатель, запутавшийся в одной из глав в пышных «агажантах» Екатерины, в конце повести приглашается вновь присутствовать при не менее пышном туалете «принца Данилыча» и любоваться его «принц-металльными запонками». Мы не собираемся отрицать значение подобных исторических деталей и аксессуаров, мы полагаем только, что последние должны иметь определенное конструктивное значение в связи с общей социальной установкой повести. Поскольку социальная перспектива в построении «Восковой персоны» не отличается четкостью, постольку и отмеченные выше описательные детали имеют объективно лишь эстетическое значение, и необходимость их не оправдана.

Возвратимся однако к Ягужинскому. Последний представлен в повести изрыгающим потоки брани и хулы по адресу Меншикова, — то в разговоре со своею женой, то перед восковым изваянием «хозяина» Ягужинский обвиняет «герцога Ижорского» во многих тяжких грехах и пороках, — момент личной вражды автором подчеркнут, но политическое содержание этой неприязни остается опять-таки завуалированным и до читателя не доходит. Конечно социально-политические мотивы человеческих мнений и поступков в жизни очень часто остаются скрытыми и неосознанными, но в задачу писателя, имеющего дело с историческим материалом входит как раз обнажение этих тайных пружин теми или иными методами.

Надо отдать справедливость, что автором потрачено по-своему немало изобретательности и остроумия на изобра-

жение и Меншикова, и Ягужинского — этих по сути темы важнейших героев повести. Следует отметить эпизоды с поочередным парадированием обоих героев перед самой «восковой персоной», которая приводит их в оцепенение своей механической жестикуляцией. Любопытно также сцена «примирения» Меншикова и Ягужинского (примирения конечно чисто внешнего, смысл которого опять-таки в повести остается неясным). Все это однако не идет дальше некоторых более или менее занимательных и причудливых сюжетных положений, и читатель, насмотревшийся уже на «монстров» петровско-тыняновской куншткаморы, встречает эти картины как очередные «натуралии» повести.

Кроме рассмотренных нами исторических фигур, принадлежащих к «верхам» эпохи, в повести действует еще несколько героев — представителей средних и низших классов и социальных прослоек. На долю этих лиц в повести выпадает задача образования социально-бытового «фона».

О переодетых купцах мы уже говорили выше, и этот эпизод является в указанном смысле наиболее любопытным, так как дает известную иллюстрацию к социально-политической борьбе эпохи. Кроме купцов, мы находим в повести историю одной крестьянской семьи. В этой семье два брата: один — солдат, другой — шестипалый «монстр», проданный первым братом в куншткамору. Как видим, даже и здесь без монстров дело не обошлось. История остальных членов этой семьи правда поучительна, но несколько трафаретна для повести о жестоком петровском времени: солдат, горящий желанием выслужиться, доносит на свою мать, проронившую неосторожное слово о «царевой немке». Их обоих подвергают пыткам. Позже тот же солдат попадает сторожем на восковой двор. В разговоре с сыщиком Иванко (фигура, не лишняя интереса) солдат в свою очередь обнаруживает некоторую невоздержанность языка и вновь подвергается жестокой экзекуции. Во время последней его видит шестипалый брат, сбежавший из куншткаморы.

Но в том-то и дело, что, показывая режим террора, введенный Петром и продолжавшийся в том или ином напри-

влении преемниками последнего, автор не идет дальше внешней, поверхностной стороны явлений и не проникает глубже в их исторический смысл. Политика Петра и политика Меншикова после смерти Петра имели различные социально-экономические основы. Первая была (в общем) исторически прогрессивна, вторая — реакционна. Орудием той и другой был полицейский режим, направленный против тех или иных классов (бояре-феодалы, купечество, крестьянство) в зависимости от классовой основы данной политики. Все это в повести не дифференцировано и не вскрыто, показана лишь система террора как «вещь в себе», вне ее исторического и социально-политического значения в каждом конкретном случае. Подобную трактовку темы нельзя не признать типично механистической, т.е. в конечном итоге идеалистической трактовкой.

В этом вновь и вновь сказывается основной порок повести — ее «формализм», применение формального метода, являющегося одной из новейших разновидностей идеалистического мировоззрения. Все методологические особенности «Восковой персоны», упор на «общечеловеческие» свойства личностей ее крупнейших исторических героев, отсутствие подлинной связи последних с реальной исторической почвой эпохи и неизбежно отсюда вытекающая статичность этих восковых (хотя и искусно вылепленных) фигур, — всё это вытекает из основной формалистической установки автора.

В соответствии с этой установкой находится и язык повести (мы говорим о «языке автора») — умеренно стилизованный, смешивающий архаику XVIII века со сложной простотой современного художественного языка и в общем явно «нарочитый» — выполняющий функцию «остранения» материала, как дань старым формалистским традициям.

«Восковую персону» в целом нельзя даже назвать реалистическим произведением (несмотря на наличие в повести ряда отдельных реалистических черт и сцен) — она в значительной степени является отвлеченно-эстетической композицией на историческом материале. Ясно, что запросы и интересы современного передового читателя подобным произведением начисто обходятся. Повесть

обращена к читателям-эпигонам дореволюционной литературной культуры, к интеллигентам-эстетам, пронесшим сквозь революцию свое непонимание общественных задач искусства.

Вся высокая литературно-историческая эрудиция и стилистическое своеобразие автора привели лишь к созданию галереи «монстров» и «натура-

лий» — к созданию произведения, имеющего буквально лишь музейную ценность. Этому виной порочный в своей основе творческий метод — метод формального — идеалистического — мировоззрения, еще пытающегося завоевать кое-какие позиции на современном литературном фронте.

## 2. В ЛАБОРАТОРИИ ДОСТОЕВСКОГО <sup>1)</sup>

К. Локс

Маленькие листки записных книжек, мелко исписанные изящным бисерным почерком, виньетки, рисунки. Все прихотливо — неожиданно, часто непонятно с первого взгляда. Вот здесь одна мысль шла, перебивая другую, там отдельный образ или намек открывает новый план. Иногда в конце страницы простая «проба пера»: каллиграфическим почерком, о котором с таким знанием дела рассказано в «Идиоте», написано название города или имя какого-либо писателя. Весь процесс работы идет какими-то толчками: от одной догадки к другой, от мучительного недоумения к новой мысли.

Тема формируется не сразу, иногда неясна даже в тех случаях, когда вся внешняя ситуация и действующие лица готовы. Таковы общие впечатления от записных книжек Достоевского. Материал, заключенный в них, чрезвычайно ценен и для работы над Достоевским, и над вопросами общей теории литературы.

Как и следовало ожидать, «Преступление и наказание» довольно быстро отделилось в законченную сюжетную схему, и окончательный текст представляет собой главным образом проработку деталей, стилистическое завершение записных книжек. Некоторые отрывки (например «Исповедь Раскольников») подверглись сравнительно незначительной переработке. В материалах к «Идиоту»

таких законченных стилистических страниц не встречается — там лишь отдельные краткие записи и руководящие мотивы. Повидимому «Преступление и наказание» давалось сравнительно легко. Но самый замысел или идея романа изменялись несколько раз — сначала Достоевскому было ясно только, что он напишет историю преступления и наказания (т.-е. нравственного испытания преступника), поэтому сюжетная схема в своей основе проста, а действующие лица расположились сравнительно легко и удобопонятно. Но тема романа значительно изменилась в ходе самой работы. Первоначально в письме Каткову она формулирована следующим образом: «Это психологический отчет одного преступления (действие современное в нынешнем году). Молодой человек, исключенный из студентов университета, меццанин по происхождению и живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по шатости в понятиях, поддавшийся некоторым странным «недоконченным» идеям, которые носятся в воздухе, решил разом выйти из скверного своего положения. Он решился убить одну старуху, титулярную советницу, дающую деньги на проценты... Он решает убить ее, обобрать с тем, чтобы сделать счастливой свою мать, живущую в уезде, избавить сестру, живущую в компаньонках у одних помещиков, от (сластолюбивых) притязаний главы (этого помещичьего) семейства — притязаний, грозящих ей гибелью, докончить курс, ехать за границу и (потом) всю жизнь (быть) честным, твердым, неуклонным, исполненным «гуманного долга к человечеству»; чем уже конечно «загладится преступление», если только можно назвать преступлением этот поступок над старухой глухой, глу-

<sup>1)</sup> Из архива Ф. М. Достоевского. Преступление и наказание. Неизданные материалы. Подготовил к печати И. И. Гливенко. ГИХЛ. 1931 г. 217 стр. Ц. 2 р.

Из архива Ф. М. Достоевского. Идиот. Неизданные материалы. Редакция П. Н. Сакулина и Н. А. Бельчикова. ГИХЛ. 1931 г. 319 стр. Ц. 2 г. 75 к.

пой, злой и больной, которая (сама не знает для чего живет и которая) через месяц может сама собой померла бы», но «чувство разомкнутости и разединенности с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершению преступления, замучило его». В этом наброске мотив преступления Раскольникова двойся. В романе заботы о матери и сестре отпадают, и на первый план выдвинута идея власти. Так сам Достоевский в конце формулирует тему романа: «в его образе (т.е. Раскольникова) выражается в романе мысль непомерной гордости, высокомерия и презрения к этому обществу. Его идея: взять во власть это общество. Деспотизм — его черта. Она ведет ему напротив. (?). Поскорее взять во власть и разбогатеть. Идея убийства и пришла ему готовая». На ряду с этим неизменная у Достоевского идея страдания подчеркивается несколько раз. Совершенно вместе с тем понятно, почему Достоевский отбросил первоначальные мотивы преступления Раскольникова: для него они были слишком просты, слишком «позитивны». Раскольников в таком случае должен был непременно «упроститься», превратиться в заурядного убийцу, совершающего преступление ради собственной выгоды. Преступление же идейное, совершенное ради отвлеченной, хотя и неверной идеи, сразу открыл возможность глубоких и сложных переживаний, и соответственно этому все второстепенные персонажи выросли, стали значительней. Рядом с позитивно настроенным убийцей не был бы возможен ни Мармеладов, ни его дочь Соня, ни Свидригайлов.

Соответственно этому обработка характеров в зависимости от руководящей идеи отличается существенными оттенками. В «записных книжках» характеры раскрыты яснее, определеннее, в окончательной редакции эта определенность несколько затуманена. Разумихин в самом романе значительно проще, а Свидригайлов, наоборот, загадочнее. В «записных книжках» он раскрыт до конца, и вся его таинственность сводится к той патологии преступления, следы которой остались в «Преступлении и наказании». «Главное, — Свидригайлов знает за собой таинственные ужасы, которых никому не рассказывает, но в которых про-

говаривается фактами: это судорожные, звериные потребности терзать и убивать, холодно-страстен. Зверь. Тигр». В самом романе эти «потребности» густо завуалированы мистикой и странностью поступков. Опять-таки понятно, что создать своеобразного партнера Раскольникову значило отвлечь от него внимание, и Достоевский отодвинул Свидригайлова, предпочитая говорить о нем намеками, недосказывая главной тайны его жизни. Так из отдельных сопоставлений мало-по-малу выясняется основной метод работы Достоевского, еще более явственный в «Идиоте»: с необыкновенной чуткостью он срезает все острые углы и поразительно верно угадывает, в каких случаях можно позволить себе чрезмерность, эффект полного раскрытия персонажа или какой-либо детали. Вот два примера такого срезания углов: Раскольников убивает Лизавету, сестру старухи-процентщицы, в романе об этом Раскольникову напоминает кухарка Настасья: «Лизавету-то тоже убили, — брякнула вдруг Настасья, обращаясь к Раскольникову. Она все время оставалась в комнате, прижавшись подле двери и слушала. — Лизавету? — пробормотал Раскольников едва слышным голосом. — А Лизавету торговку-то аль не знаешь? Она сюда вниз ходила. Еще тебе рубаху чинила». В «записных книжках» одна подробность придает этому напоминанию характер совершенно особый: «Девка была сговорчивая. И не то, чтоб так своей волей, а так уж от смирения своего терпела. Всяк-то озорник над ней потешался. А ребеночек-то, что нашли, был его (лекарев). — Какой ребенок? А ведь ее же потрошили. На шестом месяце была. Мальчик мертвельский». Последняя подробность в романе отброшена. Здесь Достоевский явно перешел грань возможного и почувствовал это. Точно также в рассказе Мармеладова о Соне выпущена одна отвратительная деталь: «Соня все наше семейство содержит и Катерину Ивановну облегчает, заходит к нам, сама же живет (нанимая квартиру) у портного Ухватава, косноязычного, у которого и жена тоже косноязычная и все дети тоже косноязычные. Люди беднейшие и комнату ей дают... Там ширмы поставлены, и за ширмами... Гм, да. Что же я. Ну, да. За ширмами...» В ро-

мане эти «ширмы» заменены отдельной комнатой «за перегородкой». Смысл поправок и стилистических изменений — ясен: при всей своей любви к чрезмерному Достоевский вщущал ту грань, где нарушается закон эстетически допустимого. Конечно эта норма у него совершенно иная, чем, скажем, у Тургенева или Толстого, но она является и для него руководящей. Сама форма романа несколько раз меняется. Первоначальное предположение — написать «Преступление и наказание» в форме личной исповеди Раскольникова — отброшено: «исповедью в иных пунктах будет не целомудренно и трудно себе представить для чего написано». Был еще план написать в смешанной форме: исповеди и дневника, объективного повествования и записок Раскольникова, но все эти планы по мере работы над романом отпадали. Интересно все же отметить, что исповедь Раскольникова, сохранившаяся в «записных книжках», стилистически почти не отличается от окончательного текста «Преступления и наказания».

«Записные книжки» к «Преступлению и наказанию» свидетельствуют, что этот роман давался Достоевскому сравнительно легко. Главный персонаж для него был ясен, и основная мысль, несмотря на некоторые колебания, сразу охватила весь материал и свела его к определенному единству. Совсем иначе обстояло дело в работе над «Идиотом». Этот роман был задуман без всякой руководящей идеи, идея, и при этом все же не ясная до конца, пробивается только в конце работы, а первоначальный замысел определяется желанием развить чисто жизненную ситуацию и построить все на психологии и характерах действующих лиц. И эта работа была тем более трудна, что отвлеченные положения христианской морали, носителем которых является «Идиот» князь Мышкин, только постепенно становятся идеей, с трудом связывая взрывчатый материал романа. Анализ материалов к «Идиоту» тем более интересен, что именно здесь начинаются «Бесы» и отчасти «Братья Карамазовы». Самый поверхностный обзор «записных книжек» доказывает, что оба последних романа, наиболее выпукло воплощающих творческий гений Достоевского, в сжатой форме заключены в чер-

новиках к «Идиоту». Повидимому особенно это относится к «Бесам», представляющим развитие первоначальных мотивов «Идиота»<sup>1)</sup>.

Во всех трех романах Достоевский до конца раскрыл свое отношение к христианской морали, подвергнув ее такому страшному испытанию, от которого не могли спасти ни старец Зосима, ни тем более образ «Идиота», проникнутый тонкой, глубоко запятанной иронией. Бунт человеческих страстей, противопоставленный христианской морали, вот в сущности основная, глубинная тема Достоевского, пожалуй, выступающая в черновиках к «Идиоту» сильнее, чем где бы то ни было. В этом смысле первые страницы набросков и замыслов производят впечатление потрясающее. Такого столкновения страстей, такой путаницы эмоции прост нельзя себе представить осуществленными в обычном человеческом быту. Это клубок сплетшихся змей, беспрерывно жалающих друг друга. Вот почему понадобилось восемь глав и мучительные поиски «идей» главного действующего лица, чтобы свести всю эту путаницу к некоторым, относительно понятным, комбинациям.

Первоначально «Идиот» был задуман как лицо совершенно противоположное князю Мышкину.

«Прослыл идиотом от матери, ненавидящей его. Кормит семейство, но считается, что ничего не делает. У него падучая и нервные припадки. Курса не закончил, живет в семействе. Влюблен в двоюродную сестру жениха<sup>2)</sup> тайно. Та ненавидит и презирает его хуже, чем лакея (целует ее на улице провожая). (Она, видя, что он влюблен в нее, — шалит с ним от нечего делать, доводит его до бешенства. 24 года ей. В один из этих разов он насилует Миньону<sup>3)</sup>, зажигает дом, сжег палец по ее приказу. Страсти у идиота сильные, потребность любви жгучая, гордость непомерная, из гордости хочет совладать с собой и победить

<sup>1)</sup> Мнение Нерадова («Бедный рыцарь»), что роман «Идиот» по своей политической заостренности уже ближе стоит к «Бесам», он на публицистической грани «Дневника Писателя», кажется нам неверным. Связь с «Бесами» напрашивается по другой линии.

<sup>2)</sup> Жених сестры идиота.

<sup>3)</sup> Приемная дочь в семействе идиота.

себя. В унижениях находит наслаждение. Кто не знает его — смеется над ним, кто знает — начинает бояться». Путаница семейных отношений, переход от любви к ненависти и от ненависти к любви, ряд диких и своенравных поступков — таков общий эмоциональный тон предполагавшегося романа. В этом хаосе Достоевский заблудился. Построить роман только на нем оказалось невозможным — нехватило «идеи», и поиски ее, так и не увенчавшиеся окончательным успехом, заполняют все черновики. Но мало-помалу начинает кристаллизоваться если не идея, то контуры характеров, которые в окончательной форме вошли в роман. Еще раз Достоевский хочет построить роман на фактическом материале, на судебном процессе Умецких, но это только сбивает его, и из этого процесса вырастает лишь образ Настасьи Филипповны после чрезвычайно сложной переработки характеров Миньоны и сестры жениха, называемой в «записных книжках» Геро (сокращение от героиня).

Дело Умецких должно было сильно заинтересовать Достоевского. С судебным процессом он познакомился уже после того, как роман был задуман, но характер Миньоны удивительно совпадал с теми фактами, о которых Достоевский прочитал в газете «Голос» от 15—17 сентября 1867 г. В этом судебном процессе действительно встречаются те мотивы, которые тревожили все творчество Достоевского: страдающий, униженный ребенок, его затаенность и месть. Умецкие<sup>1)</sup>, мало культурное дворянское семейство, истязали свою дочь Ольгу: «Ольга, которой шел только пятнадцатый год, была доведена семейной тиранией до крайнего ожесточения. Не раз собиралась она бежать от родителей или покончить с собой. В порыве отчаяния и мести она четыре раза производила поджеги (в апреле и июне 1866 г.) то надворных построек, то самого дома»<sup>2)</sup>. Здесь Достоевский сразу учуял нечто родное и близкое себе: поджог из мести проходит сквозь все черновики «Идиота», конечно осложненный побочными психологическими мотивами: «дядя дав-

но еще сходится с Умецкой. С идиотом сожгла дом. Идиот ее опозорил... Дядя хочет жениться на Умецкой. Разливается желчь, умирает». И еще: «От тоски зажигает дом и бесчестит Умецкую». Тем не менее довольно быстро Достоевский оставляет этот процесс, но в переработанном виде из его основной темы вырос характер Настасьи Филипповны. Трагедия поруганной чистоты — а такова именно трагедия Настасьи Филипповны — заменяет слишком бытовое дело, и соответственно этому Миньона — забитый, униженный и оскорбленный ребенок — превращается в «ослепительную красавицу» с печатью «рокового страдания» на лице. Параллельно изменялся и характер идиота. Из скрытно-демонического, одержимого страстями, в свою очередь униженного существа он превращался в христиански настроенного, захваченного идеей милосердия «блдного рыцаря»: «случай, где идиот весь характер показывает. Дело было вот как: идиот в Саратовской; когда содержатель ее (т.-е. Настасью Филипповну) бросил, принял Настю, она родила у него на руках и проч. В муках и бешенстве (что ее бросили) его же бранила и насмеялась над ним, а потом в ногах у него ползала, наконец влюбилась в него, тот и руку предложил, и убежала (я бешеная, я прощения не прошу, я поганая)». Этот эпизод разработан Достоевским в «Бесах», где Шатов принимает ребенка возвратившейся к нему жены, но самое соотношение двух главных действующих лиц таким образом уже закреплено. Характер идиота был совершенно изменен, некоторые его черты перенесены на Рогожина, другие отброшены и позднее нашли выражение в «Бесах», в частности в лице Ставрогина.

Устанавливая связь между этими двумя романами, мы говорим конечно о замыслах Достоевского, очень стойко, почти маниакально владевших им. Впрочем детальное исследование, быть может, установит и самую связь между князем Мышкиным и Шатовым, хотя в плане идейном сделать это довольно трудно, потому что славянофильство князя дано Достоевским в очень туманной и неопределенной форме. Пока речь может идти о черновиках «Идиота» как подготовительной работе к «Бесам» с точки зре-

<sup>1)</sup> Достоевский прямо вводит фамилию Умецких в план романа.

<sup>2)</sup> Сакулин. Работа Достоевского над «Идиотом».

ния сюжетных мотивов и некоторых психологических черт, до времени оставленных Достоевским. При этом нужно заметить, что самые сюжетные мотивы имеют для него значение решающее. Это не просто мотивы действия или поступки, а некоторая социально-бытийственная категория, которую можно облечь соответственно теме в любое психологическое содержание. Вот почему одни и те же мотивы все время встречаются во всех романах Достоевского, варьируясь в своем значении в зависимости от характеров действующих лиц. Там в черновых набросках к «Идиоту» читаем следующий отрывок: «Не кончить ли роман исповедью? Напечатать гласно. Отношения же с детьми так сделать: сначала, когда дело больше идет об Аглае, об Гане, об Н. Ф., об интригах и проч., не упомянуть ли вскользь и почти загадочно об отношениях князя с детьми, с Колей и проч. Об клубе же не упоминать; но клуб, отрекомендованный дальними слухами, не представить ли вдруг, и князя среди него царем, этак в 5-ой или 6-ой части романа? Не вести ли лицо князя по всему роману загадочно, изредка определяя подробностями (фантастичнее и вопросительнее, возбуждая любопытство) и вдруг разъяснить лицо его в конце». Исповедь, царь (Иван-царевич), отношения с детьми (загадочные) и весь таинственный облик Ставрогина намечен здесь конечно с совершенно другим — противоположным значением. Но в этом именно — особенность Достоевского, выясняющаяся изучением его черновики: он легко изменяет характер действующих лиц, но чрезвычайно упорно держится той или другой ситуации, того или другого мотива, конкретизируя его в зависимости от «идеи» художественного произведения. Приведем еще несколько намеков, позднее развитых в «Бесах»: «Загадки — кто он: страшный злодей или таинственный идеал (тема Ставрогина), затем по одному варианту идиот тайно женат и скрывает это (Ставрогин и хромоножка) и наконец самый колорит черновики, постоянное упоминание об ужасных событиях, пожарах, растлениях, убийствах, все это в значительной части вошло впоследствии в «Бесы», а идейная недоговоренность «Идиота» и соблазнительное

желание надругаться над христианским идеалом смирения указывают, что «Идиота» нужно рассматривать в свете подготовительной работы к другому большому произведению, где бунт человеческих страстей и взаимная распря любви и ненависти нашли полное воплощение.

Подготовительная работа над «Идиотом» была так трудна для Достоевского именно потому, что он хотел построить роман на темах эмоциональной жизни. на анализе запутанных «подпольных» чувств. «Главной мысли не выходит об идиоте» — отмечает он в записной книжке. Эта главная мысль иногда напрашивается в крайних противоположениях, например «главная и основная мысль романа, для которой все, та, что он до такой степени болезненно горд, что не может не считать себя богом, и до того вместе с тем себя не уважает (до того ясно себя анализирует), что не может бесконечно и до неправды — усиленно не презирать себя». Эта мысль сменяется краткой заметкой (уже к концу работы) — «князь — христос». Таковы были видоизменения главного действующего лица, свидетельствующие о том, что Достоевский все время шел ощупью. Другие герои претерпели одинаково сильные изменения. По первоначальному плану например Настасья Филипповна накануне свадьбы бежит в публичный дом, где и умирает. Аглая выходит замуж за князя, Рогожин влюбляется в Аглаю и т. п. Все эти предположения меняются почти на каждой странице до самого конца подготовительной работы. В конце концов его основная, внутренняя тема все же определилась в стиле изображения взаимной любви и ненависти, как это и отметил нам Достоевский, идейная же основа романа осталась запутанной и неясной. Сам князь Мышкин для Достоевского лицо не до конца проясненное. Любопытно при этом отметить, что в связи с Мышкиным он два раза упоминает о Дон-Кихоте, при этом ставит вопрос, как сделать добродетельное лицо «симпатичным читателю»: «Если Дон-Кихот и Пиквик, — отмечает он, — как добродетельные лица симпатичны читателю и удались, так это тем, что они смешны. Герой романа князь, если не смешон, то имеет другую симпатичную черту — он невинен». Затем в дру-



гом плане отмечается: «вдохновенная» речь князя (Дон-Кихот и жолудь). За здоровье солнца».

Таким образом «бедный рыцарь» мог быть подсказан не только стихотворением Пушкина, но и Дон-Кихотом.

Сама работа над материалом романа, трудная и сложная, приводила к ряду чисто технических вопросов. Уже в самой обработке деталей Достоевский в общем следует тому же методу, что и в «Преступлении и наказании» — отбрасывает слишком острые ситуации, сглаживает и смягчает. Если бы он позволил себе руководиться одним только горячечным воображением, то его романов нельзя было бы читать, настолько он в черновиках всюду нарушает допустимую меру чрезмерного. Помимо этого, отдельные замечания указывают на требования чисто, так сказать, артистические, предъявленные к самому искусству изложения. Например: «короче писать. Чтобы было щегольски, симпатично (кратко и все о деле) и занимательно». Или еще раз: «короче писать; одни факты, без рассуждений и без описания ощущений». «Вставить разные эпизоды и развязки историй для занимательности». Генерал Иволгин и отчасти Лебедев несомненно введены с этой целью. Читая это последнее замечание, конечно опять приходится вспомнить Сервантеса и Диккенса и по-новому поставить вопрос о связи комического и трагического в поэтике Достоевского, вопрос до сих пор еще не изученный с должной широтой.

Редакторская работа над «материалами» Достоевского, само собой, потребовала внимательного и напряженного труда. Не все было сделано в этом отношении достаточно предусмотрительно

Материалы к «Идиоту» обработаны правильно с точки зрения удобочитаемости текстов, но, к сожалению, «записные книжки» к «Преступлению и наказанию» изданы по сложной и трудной системе. Редактор расчленил текст, стараясь выделить так называемый «основной», относя позднейшие приписки к примечаниям. Так как эти приписки двойного характера (в самом тексте и сбоку), то пришлось разбить весь текст на три основных группы и, кроме этого, особо выделить зачеркнутые слова. Отсюда огромное количество цифр, необходимость постоянно помнить принятую систему передачи. Чтение поэтому чрезвычайно затруднено и не оставляет цельного впечатления. Все время нужно связывать отдельные строчки, перескакивать от одной мысли к другой. Если к этому прибавить, что издательство пользовалось только одним шрифтом, не прибегая даже к разрядке, то станет ясным, что материалы к «Преступлению и наказанию» рассчитаны на трудолюбивого ученого, а не на обычного читателя. В связи с этим необходимо отметить, что тираж издания (5.000) чрезмерно высок. Издание прежде всего нужно исследователям и, может быть, только им. Рядовые читатели вряд ли будут вникать во все тонкости «записных книжек», вряд ли сумеют сделать из них необходимые выводы. Характер редакционных статей в этом смысле не всегда помогает делу. Статья Гливленко слишком обща, статье Сакулина не хватает выводов и обобщений.

Совершенно бесполезной оказывается статья Нерадова об «Идиоте». Вообще помещение такой слабой статьи в научно-исследовательском издании вызывает недоумение. Ее появление в книге следует объяснить редакционным недосмотром.

### 3. ЛИТЕРАТУРА МОЛОДОЙ ГЕРМАНИИ

Авг. Рашковская

Еще недавно игравшая такую большую роль группа экспрессионистов теперь окончательно сошла с арены общественной и литературной борьбы. Впрочем экспрессионизм не был ни

группой, ни школой. Экспрессионизм был материализацией страдания поколения, сражавшегося на фронтах войны. Это был протест чувствительных и чувствующих мелкобуржуазных интелли-

гентов против ужасов бойни. Это была попытка создания нового гуманизма и нового идеализма.

Это были люди, которые хотели сражаться с реальным злом социальных бедствий недействительными методами морального воздействия и мистических проникновений.

Метафизические блуждания экспрессионистов окончились тупиком. Их моральная проповедь разбилась о каменную стену классовых противоречий. На смену писателям-экспрессионистам пришли в самое последнее время пролетарские писатели. Германия единственная из всех буржуазных стран может предъявить список пролетарских писателей, борющихся за определенную классовую программу. Такие имена, как И. Бехер, А. Шаррер, Л. Турек, Ганс Мархвитца, Ганс Лорбеер, Курт Клебер, широко известны и нашему читателю. «Искусство — это оружие класса в классовой борьбе, — провозглашает Иоганнес Бехер. — Мы не хотим отражать действительность, мы хотим изменить ее».

Но и в буржуазных кругах литературной Германии силы резко размежевались. Разгром армии, 9-е ноября, крушение идеализма и инфляция, голод и моральная опустошенность — таковы факторы, создавшие мелкобуржуазную литературную школу неопредметников (*Neue Sachlichkeit*), возникшую на развалинах экспрессионизма. Искусство было средством или способом обмана, — говорят предметники; нам не нужно больше эстетических теорий; нам не нужны ни лирика, ни метафизика, ни прочие атрибуты буржуазного вздора. В счет идет только то, что осязаемо, ощутимо, весомо. Об'ективизм — вот единственная точка зрения, достойная нашей эпохи. Старшие опьянялись фразой и фантазмами. Младшие грозят свернуть шею красноречию и фразе. Факт без выдумки, действительность без грима, правда без покровов — заповеди неопредметников. Но, с достачной четкостью определив свои литературные позиции, предметники совсем не позаботились выработкой позиций политических. Их об'ективизм безличен и, значит, не действителен. Отлично изучив науку разрушения и отрицания, они не знают, что надо водворить на их место.

Дезориентация, которая единственно их объединяет, конечно не слишком крепкое скрепляющее средство. Их об'ективизм широк и, следовательно, не целеустремлен. И если на одном полюсе влияния предметников может появиться такой писатель, как Анна Зегерс, и такое произведение, как «Восстание рыбаков», то на другом легко возникает «Успех» Лиона Фейхтвангера (автора нашумевшего «*Jüd Süß'a*»), в котором политические события сегодняшнего дня — гитлеровская авантюра — трактуются с безстрастием повествователя о каменном веке.

Симптоматично также появление в современной Германии фашистской литературы. И к списку военных романов Глезера, Ремарка, Шаррера, Людвиг Ренна можно прибавить «Стальные бури» Эрнста Юнгера — типичное порождение милитаристического психоза. Этот не прячется под маской об'ективизма. Он дышит ненавистью. Он пышет пафосом массового убийства. Знаменательна заключительная фраза его книги: «Мы не можем теперь понять героизма мучеников, которые боролись на кровавой арене с экстазом, возносившим их над «всем человеческим» — над жалостью, над страхом, над жизнью и смертью. Вера не обладает сегодня живой силой. И если придет день, когда мы, немцы, не сумеем понять, как человек мог отдать жизнь за родину, это будет конец». Впрочем поражает не столько кровожадность автора, сколько его откровенная тупость. Вряд ли даже книга Ремарка может поспорить в смысле антимилитаристического эффекта, который производит патриотический шок Юнгера.

Что касается предметников, не создавших ни одного крупного произведения, их «конец» был декларирован в январе прошлого года литературным письмом Иосифа Рота в «*Die Literarische Welt*» под названием «*Schluss mit der Neuen Sachlichkeit*» («Довольно предметников!»). Ни одного протестующего голоса не раздалось в ответ, и предметники перестали существовать. Зато с другой стороны несколько молодых писателей сумели порвать цепи, связывающие их с буржуазией.

Эрнст Глезер, Иосиф Брейтбах, Гейнц

Липманн — в числе наиболее смелых, решительных и даровитых.

Наиболее естественен разрыв был для Брейтбаха. Его биография похожа на выдумку Джека Лондона. В 16 лет он поднимает бунт в школе, а затем убегает из дома и бродяжит по всей Германии. В 18 лет в Кобленце во время американской оккупации он наблюдает веселых американских парней, с утра до вечера пьющих виски и упражняющихся в стрельбе (позже он об этом расскажет в «Сентиментальном воспитании»). Затем он поступает в качестве старшего приказчика в большой берлинский магазин и через некоторое время публикует сборник новелл «Rot gegen Rot», где в сатирическом освещении рисует быт и нравы своих коллег и кулисы торгового заведения. Дирекция выставляет его за дверь. Однако Брейтбах не из робких. Он поднимает судебное дело против дирекции за нарушенный контракт. Пресса принимает горячее участие в литературно-коммерческом скандале. «Rot gegen Rot» расходуется в тысячных тиражах. Уроженец Рейнской области Брейтбах стоял лицом к лицу с реальным голодом и видел реальную классовую борьбу. Может быть, именно это заставило его миновать в своем литературном пути зыбкие тропы экспрессионизма и стать на почву здорового реализма, окрашенного иронией. И в этом его особенность. Он говорит о реальных страданиях и реальных недостатках людей, классов, строя.

Гейнц Липманн, которому теперь 26 лет, гораздо более под властью скандинавских и дореволюционно-русских влияний. Его «Беспомощные»

(премия Гарнера 1930 года) перегружены мистическими настроениями. Все персонажи стонут на разные лады: «Мы все виновны». Но в последнем своем романе «Der Frieden brach aus» Липманн уже с гораздо большей уверенностью и силой изображает послевоенный «шабаш» берлинской буржуазии, стоящей еще на «человеческой», а не классовой точке зрения; но он уже далек от того, чтобы взывать к «высшему благу» отречения и искупления, как это он делал в «Беспомощных». Наконец в последнем романе Эриста Глезера имеется настоящее изображение германской революции, иногда достигающее подлинного пафоса и в то же время точности и правдивости. Однако не надо преувеличивать «революционность» Глезера — она не превышает степеней пламенного, но пассивного сочувствия. То, что он ищет в зрелище классовой борьбы, — это прежде всего способа познать себя, свой долг, свое место. Демоны познания владеют им. Однако здесь он с большим напряжением старается схватить политическую сущность современности.

Я не касаюсь здесь пролетарских писателей Германии только потому, что они известны в СССР так же хорошо (если не лучше), как и в Германии. Очевидно, что объединяющих моментов в молодой литературе Германии не так уж много. Поколение «рожденных в 1902», которому посвящен знаменитый уже роман Глезера, дифференцировало свои силы, свои вкусы, свою идеологию. И его будущность определится экономическим положением и исходом классовой борьбы Германии.

# За рубежом

1. Карл РАДЕК. — Брюнинг — паук у пулемета. 2. А. ИВИН. — Борьба двух миров.

## 1. БРЮНИНГ — ПАУК У ПУЛЕМЕТА

Карл Радек

«Это лучший рейхсканцлер после Бисмарка» — такую оценку дал Брюнингу Ольденбург фон Янушау, старый юнкер, собутыльник кронпринца, прославившийся в предвоенное время заявлением, что для разгона парламента ему нужен только поручик и десять солдат.

Брюнинг — идеальный рейхсканцлер старого прусского юнкера — является одновременно «меньшим злом» для германских социал-фашистов, которые оказывают ему поддержку во имя того, чтобы избежать... необходимости поддерживать Гитлера.

Что такое Брюнинг? Революционные рабочие ответят просто: Брюнинг — это уменьшение помощи безработным, это уменьшение помощи инвалидам, это невиданный рост таможенных пошлин, удорожающих жизнь народных масс, Брюнинг — это увеличение репрессий против революционного движения, Брюнинг — это новые налоги, Брюнинг — это диктаторские декреты.

— Брюнинг, — отвечают социал-демократы, — это сохранение парламента, это сохранение легальности «разумного» рабочего движения, это переговоры с социал-демократией и профсоюзами, это отказ от фашистской диктатуры, при которой, по обещанию Гитлера, головы должны лететь на плаху.

Биографии Брюнинга нельзя найти в общих политических справочниках почти до 1928 года. Но когда г. Брюнинг и появился у руля правления, биографы его смогли рассказать о нем только несколько сухих фактов. Но кто знает политическую историю Германии, ее внутренний механизм, для того расшифровка этих фактов даст достаточно материала для политического портрета четвертого рейхсканцлера, которого дала партия католического центра Германии.

Название «центр», т.е. середина, указывает на желание партии, из которой вышел Брюнинг, быть чем-то в роде посредника между полярными силами германской политики.

Центр объединяет помещиков, крупных промышленников с мелкой буржуазией и

миллионным отрядом католических рабочих. Он является единственной открыто буржуазной партией, которая сумела сохранить через все потрясения послевоенной истории не только свои основные кадры, но и свою постоянную периферию. В прошлом католический центр представлял собой компромисс помещичьих и промышленно-капиталистических интересов, все-таки он требовал усмирительной социальной реформы. После войны, оставаясь партией реакции, он не вел монархической агитации, подчеркивал свое примирение с республикой, выдвигая даже своего представителя Маркса как республиканскую кандидатуру, противопоставленную кандидатуре Гинденбурга — представителя старой Германии. А в моменты, когда казалось, что националистические силы Германии идут на штурм, центр принимал участие своим левым крылом в защите буржуазной республики, выдвигая на пост рейхсканцлера Вирта, который клялся, что в боях с контрреволюционной место его — на стороне рабочего класса.

Но «центр» не просто середина буржуазной Германии. Он католическая ее середина. Он представляет собой католическое меньшинство, меньшинство, в прошлом борющееся против протестантского большинства. Меньшинство, представляющее в прошлом центробежные тенденции, отпор против унитаристических, централизующих сил капитализма. Связанный с Римом, с папским престолом, «центр» был в глазах протестантской мешанской массы представителем ультрамонтанных стремлений, т.е. стремлений, которые делали политику его зависимой от интересов, находящихся «за горами», от интересов такой международной организации, какой является папский престол. Поэтому ему очень трудно было играть роль действительного центра германской буржуазной политики. Только тот факт, что центр сохранил — один из всех буржуазных партий — какую-то народную массу, выдвинул его теперь во главу германской буржуазии.

И вот, рейхсканцлер Брюнинг происходит

из буржуазной католической семьи, издавна идущей с католическим центром. Он впитал в себя не только политические традиции этой реакционной партии, но и ее мировоззрение. Изучая общественные науки, он восхищался не только Платоном, которого идеал — правительство мудрецов—он перевел по-своему в правительство попов, но изучал св. Августина и других не менее современных основоположников клерикального мировоззрения.

История католического центра научила многому г. Брюнинга. Объединить учение средневекового отца церкви со службой монополистическому капиталу дело не легкое, но г. Брюнинг учился не только искусству умственной эквилибристики. В мировой войне он принимал участие в качестве командира пулеметного отряда. Школа эта была немаловажной в развитии этого государственного мужа. В ней он, интеллигент, долженствующий презирать «маманизм», современное господство денег, учился во имя любви к ближнему сидеть у пулемета, держать нервы в руках, подпускать врага на расстояние, с которого лучше всего скопит его пулеметным огнем. Служба пулеметчика, а тем более служба пулеметного командира требует больше выдержки, больше хладнокровия, чем служба артиллериста, действующего на дальние расстояния, и чем служба пехотинца, который должен пьянеть, чтобы бросаться в последний рукопашный бой.

Вернувшись с войны, г. Брюнинг занимает руководящий пост в католическом профессиональном движении. Этот пост был всегда очень труден, ибо он требовал умения тонкой защиты интересов капитала при сохранении видимости защиты интересов рабочих. Он был особенно труден в революционное время, когда волна революционных настроений захлестывала даже католических рабочих и заставляла их выдвигать требование социализации. Среди католических рабочих, — писала весной 1919 года «Фоссише цейтунг», — настроение, мало чем отличающееся от настроения коммунистических горячков. Они веломнили все коммунистические места из Ветхого и Нового Завета. Тут положение требовало не просто выждать приближения врага и открыть по нем огонь, тут надо было уметь идти с рабочей католической массой до известной грани и предать ее так, чтобы ее при этом не потерять, суметь в момент предательства повернуть ее. Все искусство умственного лавирования должно было объединиться с искусством пулеметчика на самой высокой ступени, на ступени маневрирования с массами. Стратегия католического попа, снующего свою паутину непрерывно, спокойно вокруг жертвы, объединилась с решительностью командира пулеметного отряда, провозглашающего свое: «Огонь!» в решающий момент.

Паук у пулемета был избран в парламент. Пауки-пулеметчики не любят больших речей, не любят света прожекторов. Г. Брюнинг снует свою паутину за кудиса-

ми германской политики, работает в парламентских комиссиях, принимает участие в переговорах партии. Он первый помощник прелата Кааса, главного вождя католического центра. Прелат Каас не может представлять католической партии в ее роли руководящей партии германской буржуазии. Трудно поставить во главе протестантской Германии католического попа в черной рясе. Но Брюнинг—не просто гражданское орудие церкви, к которому церковь обращается, когда надо сжигать на костре еретика. Он сам по своему мировоззрению человек церкви в сто раз больше, чем юрист, человек параграфов, бывший католический рейхсканцлер Маркс, или чем жизнерадостный, любящий поест, попить и поспекулировать южанин, бывший рейхсканцлер Вирт. Этот молчаливый человек, скрывающий глаза за очками, выслушивающий молчаливо представителей других партий, капиталистических организаций, как поп на исповеди, носит рясу, одетую на душу.

Идеал Брюнинга лежит в прошлом. Понятно, дело идет не о библейском прошлом, а о прошлом господствующим в Германии классов. Все германские контрреволюционеры заявляют, что они не реакционеры, что возврата к прошлому нет.

Даже Гитлер прокламировал не возвращение к вильгельмовской империи, а выдвинул лозунг «Третьей империи».

На деле господство германского фашизма отличалось бы от восстановления господства гогенцоллерновской монархии в основном тем, что революционное рабочее движение было при фашизме лишено той ограниченной свободы движения, которой пользовалось в известной мере в эпоху поднимающегося капитализма, во времена Вильгельма II. Г. Брюнинг поставил себе задачу восстановить старый блок господствовавших в Германии слоев и классов на парламентской почве.

Католическая церковь, имеющая дело с громадными еще народными массами, знает, как опасно полагаться только на силу оружия. Она предпочитает опутать массы паутинной лжи, суеверий, связать их изнутри и прибегает к оружию только при крайней необходимости, видимость парламентского, демократического режима, позволяющего силам капитала, силам реакции делать свое дело, но оставляющего массам иллюзии демократии, католическая церковь и ее партия в Германии ценят высоко. И зачем отказываться от видимости парламентаризма, если блок помещиков, капиталистов и попов позволит создать парламентское большинство для реакционной политики. Наконец католическая церковь, которая не может уже пытаться восстановить господство церкви над государством, за что она боролась в средние века, не хочет признать безусловного подчинения фашистской диктатуре, пытается руководить самостоятельно всеми проявлениями жизни. Поэтому католическая партия

«Популяри» в Италии долго боролась тихой сапой против диктатуры фашизма, за что вождь ее Стурддо находится в изгнании. Победенный итальянским фашизмом, папа римский пошел на капитуляцию, но достаточно было полугода, чтобы стало ясно, что массовая католическая организация «Ацционе католика» ведет тихую работу против фашизма и готовится к роли руководителя буржуазной Италии на случай его провала. В католической Италии пришли снова к открытому конфликту между обоими оружиеми контрреволюции: между фашизмом и церковью. Чего ожидать католическому центру в протестантской Италии, где фашизм сможет опереться на вековые антикатолические предрассудки.

Во главе объединенного блока бывших господствующих партий Брюнинг надеялся поставить в порядке дня ревизию Версальского мира, без потрясений продвинуть вперед дело восстановления германского империализма.



Но как ни хорошо работал католический паук, работа его не увенчалась успехом. Это была очень искусственная работа. Командир пулеметного отряда, фронтовик действовал из-за спины Гинденбурга—идола старой Германии. Тревиранус—морской офицер, доверенный Гинденбурга, получил задачу перетянуть в ряды правительства немецко-национальную партию, партию юнкеров, объединившую вокруг себя при помощи националистической пропаганды значительную часть городской мелкой буржуазии, руководящей «стальной племей»—самой массовой националистической организацией Германии. Высокие аграрные пошлины, проводимые правительством Брюнинга, должны были разжечь аппетиты юнкеров к государственному пирогу.

Эта игра провалилась. Немецко-национальная партия с Гугенбергом во главе отклонила предложения Брюнинга войти в правительственный блок. Если бы она приняла в нем участие, она должна была бы признать Версальский договор и все тяготы, из него вытекающие. Но ведь борьбой против Версальского договора они завоевали миллионные городские мелкобуржуазные массы. Высокие пошлины на сельскохозяйственные продукты? Ведь они их получают потому, что правительство их боится,—Гугенберг отклонил сделку. Отклонившаяся от немецко-национальной партии группа Тревирануса, которая должна была на выборах разбить Гугенберга, сама была наголову бита. Выборы 10 сентября 1930 года дали победу двум крайним крылам: коммунистам, открыто стремящимся к пролетарской диктатуре, и национал-социалистам, стремящимся к финансовой диктатуре.

Г. Брюнинг проиграл сражение. Но он не растерялся. Он уехал в отпуск, чтобы подумать, как быть: идти на сделку с гитлеровцами? Но это означает опасность выз-

вать внешнюю политическую катастрофу, которая может потянуть за собой внутреннюю.

6 миллионов мелких буржуа, тяжело страдающих от экономического кризиса, будут ведь добиваться всяких ярких жестов против Версаля, всяких «нерассудительных» экономических мер, от которых они ожидают улучшения своего положения. Понятно, не так страшен черт, как его малюют,—этот Гитлер. Он скромно кушает из рук Тиссеннов, Штраусов—королей угля и биржи. Но сумеет ли он повернуть идущую за ним мелкобуржуазную массу, сумеет ли он заставить ее отказаться от мелкобуржуазного радикализма и всех других благоглупостей?

Брюнинг пришел к убеждению, что это было бы чересчур опасной игрой. Он, видно, думал, как грубально заявила «Дейче Бергвергсцайтунг» — руководящий орган немецкой тяжелой промышленности, что лучше иметь дело с социал-демократами, которые обломали себе уже рога своего радикализма, опираясь на дисциплинированную массу их избирателей, слушающую своих вождей, чем обучать Гитлера в практической школе ответственности, учить его перестать бросать всякие неответственные требования в массу. Брюнинг решает не впускать в правительство Гитлера и создать себе парламентское большинство из католического центра, народной партии, партии тяжелой промышленности, при поддержке социал-демократии. Эта поддержка, без которой Брюнингу нельзя было бы сохранить видимость парламентского режима, не требует со стороны правительства никаких больших жертв. Социал-демократия пойдет на все мероприятия, требуемые монополистским капиталом, если эти мероприятия не будут носить на себе открытой фашистской эмблемы. Она согласится на ликвидацию, шаг за шагом, социального страхования. Она согласится на самые крутые полицейские меры против народных масс. Ведь социал-демократия воспитала целую династию полицейских директоров и министров внутренних дел—лучших специалистов по применению всех мер насилия против рабочего класса. Ведь никогда же юнкер фон-Ягов при Вильгельме не смел стрелять 1 мая по берлинским демонстрантам, а социал-демократ Цергибель устроил кровавую бойню в сердце рабочего Берлина—в Веддинге.

Г. Брюнинг не достиг своей цели восстановления старого предвоенного правительственного блока из представителей крупного капитала и помещиков. Но он удержался у власти, жертвуя временно парламентской генеральной линией в пользу очень реальной цели сохранения буржуазии от крупных потрясений. В своей политике он получил полнейшую поддержку Гинденбурга, который тоже предпочел бы спасти капитализм, опираясь на парламентскую гвардию своих старых друзей—консервативных юнкеров и националистских заводчиков, чем

на смесь масс, которые состоят из социал-демократии и католического центра. Но, что невозможно, то невозможно,—а ведь и социал-демократы защищают капитализм. То, что от них немного несет запахом бывшей революционной партии, с этим надо мириться.

И началась диктатура Брюнинга. Парламент не собирался, правительство выпускает за подписью Гинденбурга и Брюнинга декреты, регулирующие все и вся, и можно было сказать, варьируя слова Гейне, что если хорошо присмотреться к делу, то оказывается, что Германии нужен парламент и демократия, как собаке пятая нога. Когда парламент собрался, чтобы отклонить или принять в окончательном виде диктаторские декреты Гинденбурга и Брюнинга, социал-демократы собрали парламентскую фракцию и заявили с мрачной миной: не имеем никакой причины любить Брюнинга. Правительство его не только не отвечает нашим идеалам, но совсем наоборот. Но что же вы хотите? Провалит Брюнинга, который оставляет несколько тысяч социал-демократических чиновников на их постах, не трогая никого, и открыть путь к власти Гитлеру? Когда на социал-демократическом съезде делегат «левой» социал-демократической «оппозиции» Экштейн попросил указать ему, чем же отличается правительство Брюнинга от фашистского правительства, когда оно взваливает все экономические тяжести на рабочий класс и мелкую буржуазию, когда оно взялось за ликвидацию всех социальных завоеваний пролетариата, когда оно уничтожило все права парламента, ему ответили: «Оно отличается тем, что вы здесь имете право против него выступать, а Гитлер посадил бы вас в тюрьму». Переведенный на простой язык ответ означает, что социал-демократия согласна с фашистской политикой, если только ей позволят принимать участие в проведении ее в жизнь.

Но растущий экономический кризис, приведший к громадному бюджетному дефициту в 1 миллиард 700 марок, поставивший под знак вопроса возможность уплаты репараций, сразу показал всю неустойчивость брюнинговской диктатуры. Все старания заштопать дыру в бюджете привели к тому, что оказалось нужным взвалить на народные массы новые громадные тяжести. Но еще не успела высохнуть краска, которой напечатаны декреты о новых тяжестях, как положение обострилось так, что правительство Брюнинга должно было подумать об освобождении себя от обязанности уплачивать репарации. Для этого оно нуждалось в поддержке по крайней мере Англии и Америки, ибо ясно, было, что французский империализм использует экономические затруднения германской буржуазии, чтобы отбить у нее охоту не только стремиться, но и говорить о ревизии Версальского договора. Последовало свидание в Чеккерсе, униженное послание Гинденбурга к Гуверу, гуверовское предложение годичной отсро-

ки. Но все это не помогло. То, что сдержало Германию от просьбы предоставить ей мораториум, а именно боязнь потрясения доверия к стабильности германской экономики, наступило в полной мере. Не только иностранный капитал начал отзываться свои деньги, предоставленные Германии в виде краткосрочных займов, но немецкая буржуазия начала лихорадочно обращаться в валюту немецкие деньги и вывозить ее за границу. Затряслись основы германского капитализма.

Экономический механизм этих потрясенный был очень прост. Немецкая промышленность работает с нагрузкой от 30—50 проц. Не выполняя своего промфинплана, она не в состоянии уплатить процентов от основного капитала, представленного ей банками, этими регуляторами монополистического капитализма. Промышленный кризис вызвал таким образом не только кризис финансов и государства, но кризис руководящих банков, то-есть финансовый кризис промышленности. Крах Данатбанка—это первый раскат грома. Другие банки находятся тоже в очень напряженном положении. Попытка спасти положение взваливанием новой тяжести на народные массы ничего не может дать. Общий штурм на положение рабочего класса, ухудшившееся на 30 проц. по сравнению с предвоенным, неминуемо привел бы к революционным событиям. Есть мера терпения народных масс. Поэтому, взваливая все, что можно, на народные массы, связывая их по рукам и ногам, запрещая собрания, уличные демонстрации, закрывая одну коммунистическую газету за другой, Брюнинг должен был искать отдушину за границей. Уже недостаточно было добиваться отсрочки платежей. Дело идет о миллиардах новых долгосрочных займов, без которых немецкому капитализму угрожает крах.

Но тут наступило то, чего надо было ожидать. Франция поставила вопрос о ликвидации всего антверпальского курса националистической части германской буржуазии.—Нельзя одной рукой грозить мечом, а другой просить займов у того, кому грозишь,—писал Зауэрвейн. Франция затребовала не только залогов под одолженные деньги, но и контроля над немецкими финансами. Она затребовала обязательства Германии в продолжение 10 лет не ставить никаких вопросов о ревизии какой бы то ни было части Версальского договора. Поставила ли Франция это требование официально или неофициально, ничуть не меняет положения. Часть этих требований основана объективным положением дел. Если немецкие капиталисты увозят деньги за границу, как можно ожидать, чтобы за граница дала займы, не потребовав залогов? А если иностранный капитал вложит в Германию новые миллиарды, то как же может не увеличиться его влияние на всю внешнюю политику Германии?

В момент, когда мы пишем эту статью, неизвестно, получит ли Германия заем или

нет, неизвестно, чем кончатся переговоры, как будут сформированы требования международного финансового капитала, удастся ли германским дипломатам выторговать одну или другую скидку путем использования противоречий между Америкой, Францией и Англией. Все победы, которые может ожидать германская дипломатия, могут касаться только частных. В основном германская буржуазия стоит перед выбором: или отказаться от займов, или взамен за заем пойти на фактическое ухудшение того положения, которого она добилась после Дауэсовского договора, а тем более за последние годы, когда казалось, что она снова начинает играть самостоятельную роль в политике. Может ли германская буржуазия отказаться хотя бы временно от иностранных займов? Нет, не может, ибо тогда ей пришлось бы выступить на путь инфляции или же поднять внутреннее обложение имущих классов Германии до английских размеров. Путь инфляции понарился бы германским промышленникам, ибо позволил бы им без открытой фронтовой атаки на рабочий класс уменьшить наполнину и так нищую заработную плату и понизить себестоимость продукции, начать при помощи демпинга борьбу за мировой рынок. Но другие капиталистические страны ответили бы на это репрессиями. Путь повышения налогового обложения буржуазии уменьшил бы источники накопления, заставил бы еще более сворачивать промышленность. К концу инфляционного пути и повышения налогового бремени для буржуазии лежит громадное обострение внутренних противоречий. Инфляция свела бы положение немецкого рабочего до положения китайского кули. Сворачивание промышленности удвоило бы безработицу. На этом пути Германия пришла бы к социальному взрыву. Другой путь, путь капитуляции, означает увеличение внутренней тяжести, демонстрация мелкобуржуазной массе, что правительство Брюнинга является правительственным агентом иностранного капитала, выжимающим все сски из германских народных масс для удовлетворения мировой биржи. Этот путь неминуемо обострит не только борьбу рабочего класса с правительством Брюнинга, но и противопоставит Брюнингу националистские массы Германии с такой остротой, какая будет угрожать существованию правительства Брюнинга.

\*\*\*

На двух столбах держится диктатура Брюнинга. На рейхсвере—организованной вооруженной силе германского капитала, задача которого—с оружием в руках держать в повиновении народные массы. Второй столб диктатуры Брюнинга, это—с о ц и а л - д е м о к р а т и я, которая пугает массы тем, что правительство Брюнинга может уступить место еще более плохому

правительству, и этим связывает рождающуюся революционную энергию масс. Путь капитуляции пред иностранным капиталом будет требовать с каждым днем новых жертв от народных масс и поставит перед ними вопрос, могут ли эти жертвы быть еще увеличены другим правительством. Уже теперь умные буржуазные газеты указывают, что буржуазия требует чрезвычайно много от социал-демократов, требуя от нее согласия на те жертвы, которые правительство Брюнинга накладывает на массы. Под новыми тяготами социал-демократия может сломаться, стать непригодной для буржуазии благодаря отходу от нее рабочих масс. Политика капитуляции перед иностранным капиталом взрывает и вторую опору правительства Брюнинга—рейхсвер—изнутри. Рейхсвер—наемная армия. Но было бы смешным думать, что она не связана ни с какими социальными слоями, что она не отражает никаких процессов, происходящих в народных массах. Она была создана как оружие не только борьбы с рабочим классом, но и как оружие борьбы против версальских цепей. В этом духе она воспитывалась. Ее офицерский корпус представляет собой основное ядро немецкого национализма. Она более политически дисциплинирована, чем масса гитлеровцев. Она более, чем эта масса, понимает всю тяжесть нынешнего положения, в котором находится германская буржуазия. Генерал Гренер, военный министр Германии, генерал Экфорт фон-Гаммерштейн, командующий в рейхсвере, генерал Шлейхер, помощник Гаммерштейна, доказали это в 1918 году, принадлежа к ядру офицерства, пошедшего, несмотря на свой монархизм на службу к республике, чтобы спасти буржуазию и создавать оружие для будущей войны-реванш.

Но если они перейдут предел того, что может понять рядовой националистский офицер, явление отказа в повиновении поручика Шерингера, восставшего против старого генералитета во имя национализма, перешедшего из ненависти к Версало на сторону коммунистов,—это явление может охватить значительные слои офицерства.

Смысл политики Брюнинга состоял в попытке восстановления блока господствовавших перед войной классов, возвращения германской политики в старые предвоенные рельсы. Это должно было дать возможность осторожно, но непрерывно развертывать борьбу против Версальского договора. Правительство Брюнинга по очереди ставило в порядок дня вопросы о ревизии польско-немецкой границы, об объединении с Австрией, об усилении германского вооружения, о ликвидации репараций.

Первая цель—восстановление правительственного блока старых господствовавших слоев,—оказалась иллюзией. Если Брюнинг держится поддержкой, хотя бы пассивной, известных масс; то эти массы поставляют ему католический центр и социал-демократия из рядов рабочей аристократии и части мелкой буржуазии.



Помещики борются с правительством Брюнинга, вымогая от него с каждым днем новые уступки. Тяжелая промышленность не решилась играть ва-банк, поставить открыто ставку на гитлеровцев. Но она не доверяет правительству Брюнинга, несмотря на то, что оно делает все, чтобы исполнить ее желания. Вторая цель Брюнинга — организация наступления немецкого капитализма для ликвидации Версальского договора — кончилась грандиозным поражением. Брюнинг является уже банкротом без всякой перспективы выхода из тупика, в котором очутился германский капитализм. Он остается у власти потому, что внешняя обстановка не позволяет кадрам фашизма начать открытую борьбу за власть, и силы пролетарской революции развертываются в этой тяжелой и медленной. В социал-демократической литературе очень часто пробивается мысль, что в период, когда и контрреволюция, и революция чересчур слабы для того, чтобы померяться силами в открытом бою, с надеждой на победу, приходится идти на коалицию контрреволюции и революции.

Правительство Брюнинга показывает, как

в таких положениях может возникнуть диктаторское привительство, не решаясь задушить сил революции и не решаясь дать отпор фашизму. Но это правительство сидит на штыках, которые под ним колеблются. Это правительство есть олицетворение самой большой неустойчивости, какую можно себе представить. Фашист, против которого борется фашистская партия, националист, принужденный калитублировать перед иностранным капитализмом, — вот что представляет собой г. Брюнинг, это олицетворение тупика, в котором находится германская буржуазия.

Будет ли он еще у власти в момент, когда появится эта статья, или не будет, он почти сметен волной событий. Не пересядет ли он открыто на фашистскую лошадь, в этот момент нельзя предсказать.

Но очень характерно, что ничего нельзя сказать о будущих неделях человека, которого значительная часть германской буржуазной печати окружала легендами, как о человеке, признанном историей вывезти буржуазию Германии из тупика. Что она ее из тупика не выведет, это есть единственный факт, не могущий подлежать никакому сомнению.

## 2. БОРЬБА ДВУХ МИРОВ

(К событиям в Китае)

### А. Ивин

Стремительно растущий, крепнущий в боях рабоче-крестьянский советский Китай и столь же стремительно разлагающийся Китай феодально-буржуазный гоминдановский, неразрывными узами связанный с мировым империализмом, — вот основное, с каждым днем становящееся все более осязательным деление всего Китая на два непримиримых лагеря.

Правда, нанкинская клика, продолжающая с разрешения великих держав разыгрывать роль китайского «национального правительства», не только клянется подвигать советское движение, но и, рядясь в антиимпериалистическую тогу, «грозит» уничтожить неравноправные договоры, сломать «милитаристов-феодалов», «завершить объединение страны, водворить мир и приступить к реконструкции». И вот ведутся бесконечные переговоры с представителями империалистических держав, пишутся проекты конституции, созывается пресловутое национальное собрание, вырабатываются «законы по охране труда», готовятся «аграрные реформы», строятся широковещательные проекты «реконструкции» и даже начинаются многозначительные разговоры о пятилетке. Но все это пустая комедия для отвода глаз. Что единственно реально — это предоставление империалистам новых концессий и привилегий, неслыханное хищничество и казнокрадство, все большее и большее завинчивание налогово-

го пресса, отдача на разграбление «национальным армиям» целых провинций, полное равнодушие, а то и спекуляция на стихийных бедствиях, на голоде, косящем буквально миллионы населения.

«Объединение Китая национальным правительством». Об этом было торжественно возведено еще в 1928 г., после занятия Пекина. И то же самое повторялось после каждой очередной войны, после войны с гуансийцами, после первого вооруженного конфликта с Фын Юй-сяном. Наконец осенью прошлого года после войны с северным блоком не заверял ли клятвенно Чан Кай-ши, что это, мол, «последняя война с китайскими милитаристами»? Не прошло однако и года, как призрак новой и вряд ли менее крупной войны опять появляется на горизонте. Мы имеем в виду выступление гуандунской клики во главе с генералом Чен Ци-таном. Дело однако не ограничивается одним Гуандуном. Намечается широчайший чайкайшйский блок, пытающийся объединить самые разношерстные элементы: сторонников Ху Хаю-мина и Ли Ти-сина, гуансийскую группировку, реорганизационистов или вантйвейцев, как и бывших сподвижников Фын Юй-сяна и Ен Си-шаня. Разразится ли война через месяц или полгода — сущность дела от этого не меняется: ни о каком объединении не может быть и речи. Китайская контрреволюция попала в заколдованный круг про-

творечий, разрешить которые она не в силах ни путем оружия, ни путем компромиссов, как не в силах разрешить свои противоречия, смягчить обострение своих взаимоотношений опекающие эту контрреволюцию империалистические державы.

Дело совсем не в том, что Чан Кай-ши повздорил и арестовал гуандунца Ху Ханьмина, а гуандунские генералы и политики вступились за своего земляка и лидера. Эта буря в стакане воды никакого интереса не представляла бы, если бы позади не вырисовывались злоеющие фигуры соперничающих между собой империалистических хищников, в руках которых все эти китайские контрреволюционные группировки и их гоминдановские лидеры являются простыми пешками.

Посмотрим теперь, как обстоит дело с отменой неравноправных договоров. Предоставим слово специальному корреспонденту «Таймса», описывающему любопытную инспекцию, устроенную Чан Кай-ши в помещении своего пресловутого национального собрания на эту животрепещущую тему.

«По собственной инициативе национального собрания была принята резолюция, декларирующая уничтожение неравноправных договоров, и был образован специальный комитет, долженствующий подготовить соответствующий манифест».

«По поводу этого вопроса, — невозмутимо продолжает корреспондент «Таймса», — выступил Чан Кай-ши и указал, что потребуются сверхчеловеческие усилия, чтобы освободить Китай из-под ига неравноправных договоров. Чан Кай-ши, — издевается корреспондент, — благообразно добавил: «Чтобы достигнуть нашей цели, мы должны сначала сделать нашу страну могущественной и независимой. Кричать же «дролый неравноправные договоры» — бесполезно».

Итак, с одной стороны, неравноправные договоры объявляются национальным собранием отмененными, — это для «внутреннего потребления». С другой стороны, благодаря внесенной Чан Кай-ши маленькой поправке, специально предназначенной для «великих держав», эти договоры объявляются в силе вплоть до завоевания Китаем своей независимости!

Но, может быть, дело обстоит серьезнее с проектом китайской конституции, принятым тем же «национальным собранием»?

«Суверенитет Китайской республики, — говорится в этой конституции, — принадлежит китайскому народу как единому целому». Но «китайскому народу» не дается возможности проявлять свой суверенитет. Народ этот подлечит предварительной «тренировке» в течение всего периода «опеки», которая будет продолжаться «вплоть до наступления эры конституционализма».

Словом, конституция уже принята, но эра конституционализма еще не наступила!

Стоит ли после этого подробно останавливаться на «аграрной реформе» и го-

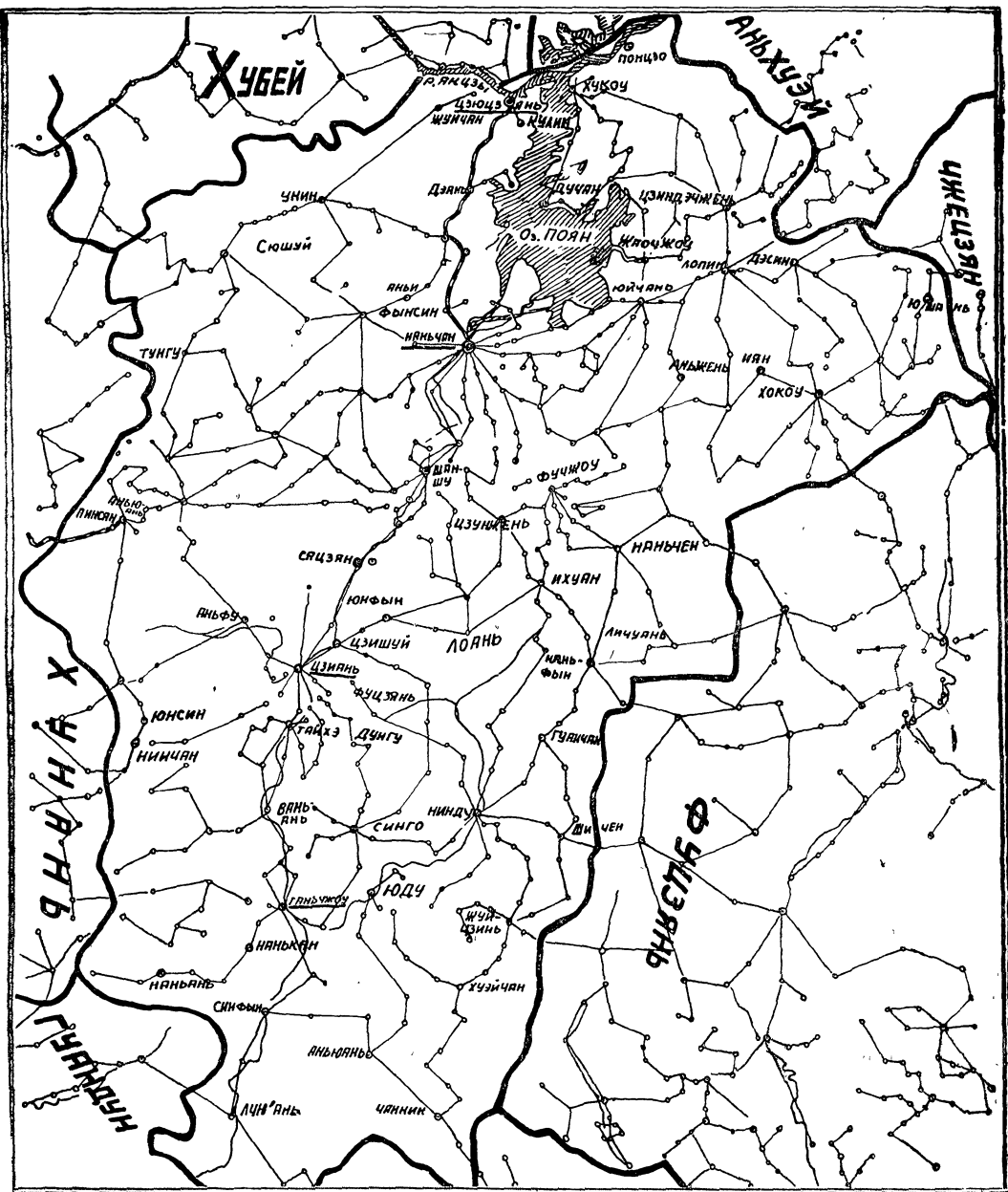
миндановском законодательстве «по охране труда». Целесообразнее сразу остановиться на вносимых Чан Кай-ши поправках.

В то время, когда в Китае свирепствует безработица, когда зарплата — ниже прожиточного минимума, Чан Кай-ши с трибуны того же «национального собрания» рекомендует китайским рабочим, работающим, как общее правило, в ужасающих антисанитарных условиях по 11—14 и 16 часов в сутки, «работать на час больше»!

«Аграрные реформы». Казалось бы наиболее целесообразным начать применять реформы в сфере действия карательных экспедиций, где крестьянство, не ожидая гоминдановских реформаторов, произвело аграрную революцию, сбросило гнет помещиков, джентри и ростовщиков. Между тем гоминдановское реформаторство в этих районах сводится лишь к чистке деревень, т.е. к массовым убийствам, к созданию джентрийских миньтуаний, к введению круговой поруки, да к патетическим воззваниям, в которых китайским крестьянам, китайским арендаторам предлагается «отойти от лжеучения коммунизма», впрячься в старое ярмо, дабы «зажить мирной жизнью, радостно предаваясь своим занятиям» к вышшей пользе эксплуататорской банды помещиков и милитаристов гоминдановцев.

Перейдем теперь к планам «реконструкции». Народное хозяйство Китая переживает, как известно, острейший, граничащий с катастрофой кризис. Целые провинции, как Ганьсу и Шеньси, вымирают от голоду. Китай — земледельческая страна по преимуществу — оказывается вынужденным ввозить на сотни миллионов долларов сельскохозяйственных продуктов. В связи с мировым экономическим кризисом, резким обесцениванием серебряной валюты, невыносимым финансовым гнетом, колоссальной армией, пожирающей все живые ресурсы страны, в связи с непрекращающимися войнами, приведшими к полному расстройству железнодорожный транспорт, наконец в связи с наводнением китайского рынка иностранными товарами и жестокой конкуренцией иностранных промышленных предприятий на самой китайской территории китайская торговля как внешняя, так и внутренняя стремительно падает, китайская промышленность «денационализируется» (переходит в иностранные руки), безработица в городах принимает грозные размеры. Что же предпринимает Нанкин?

Все его «реконструктивные» мечты и помыслы направлены на заключение иностранного займа. Все равно где и на каких условиях, лишь бы крупнее. Ибо, несмотря на огромные суммы, выкачиваемые из страны путем всевозможных налогов и поборов, Нанкин стоит накануне финансового банкротства. Но иностранные займы не даются без соответствующего обеспечения. И вот Нанкин при прямом содействии Лиги наций подготавливает введение в Китае опиумной монополии по образ-



Карта провинции Цзянси.

цу японской Формозы, британского Гонконга и французского Индокитая,—монополии, которая должна дать значительные доходы и явиться гарантией для крупного иностранного займа.

«Нанкинское правительство,—пишет по этому поводу известная американская журналистка А. Смидли,—истощив все другие источники дохода, строит теперь свои планы на опиуме. Другими словами, великие державы, члены Лиги наций, заинтересованные в торговле опиумом, успешно добиваются благодаря нанкинскому правитель-

ству того, чего Англия не могла добиться в результате двух опиумных войн даже от такой разграбленной, выродившейся страны, как Манчжурская, не могла добиться и от последующих милитаристских правительств в Китае, а именно—легализации торговли опиумом, стыдливо именуемой правительственной монополией». По мнению Смидли, эта монополия увеличит нанкинские доходы, но в то же время введение ее может начать открытое признание Китая обычной колонией. Так как опиумная монополия существует только

120. Нанкин  
13. Личин  
14. Чунцин  
15. Сичуань  
16. Хунань  
17. Гуанси  
18. Юньнань  
19. Шанхай  
20. Пекин  
21. Тяньцзинь  
22. Цзинань  
23. Харбин  
24. Манчжурия  
25. Япония  
26. Франция  
27. Англия  
28. Италия  
29. США  
30. Германия  
31. Япония  
32. Франция  
33. Англия  
34. Италия  
35. США  
36. Германия

странах, является одной из отличительных черт колониального рабства. Но нанкинских правителей это мало смущает.—Опиум,—оправдываются они,—даст «национальному правительству» средства заключить через Лигу наций крупный заем, поможет сломить сопротивление «бунтовщиков», ликвидировать красные армии, приступить к работе реконструкции. Что касается опиуманов, то для них, мол, будут построены специальные госпитали.

Дипломатические выступления Чанкина, вся его реформаторская деятельность, как и лихорадочная подготовка к новой борьбе со вновь формирующимся кантонским блоком,—все это как бы «явления на поверхности политической жизни Китая». А позади этой полшутковой инсценировки все грознее и грознее вздымается взволнованный народный океан.

«Обманчивая видимость подъема в дверях Цзянсу... но позади—огромные пространства голодного Китая» — жаловался еще два года назад британский «Норд чайна дейли ньюс», видевший в частности в Северном Китае «все данные, могущие вызвать новое тайпичское восстание». Теперь даже «в дверях Цзянсу», т.е. в Шанхае как и в других промышленных центрах, кратковременный подъем сменился острым кризисом, сопровождающимся неуклонным ростом рабочего движения. В северных провинциях непрекращающийся голод продолжает вербовать новые миллионы в великую армию стремительно зреющего восстания. Что касается Южного и Центрального Китая, то здесь восстание уже в полном разгаре.

Приблизительно ко второй половине прошлого года, к моменту наступления Чу Дэ и Мас Цзе-туна на Наньчан и занятия Пэн Дэ-хуаем Чанши столицы Хунаньской провинции, красное партизанское движение вырастает до размеров подлинной войны. Затянулись милитаристские бои в Хэнане и Шаньдуне еще на несколько месяцев, и все среднее течение Янцзы было бы затоплено бурно поднимающейся революционной волной. Перед лицом грозной опасности, вызвавшей переполох во всем империалистском лагере, Нанкин пошел на все уступки плену, лишь бы добиться компромисса и таким образом получить возможность свои силы на борьбу с «красными», организовать экспедицию».

«Принимая во внимание бесплодность предыдущих операций,—говорит в одном из приказов,—отнюдь не переходить в необдуманное наступление, а ждать, пока каждая армия займет назначенную для нее позицию и пока между всеми этими армиями будет установлена связь». Этим закончилось так называемое «первое наступление» Чан Кай-ши.

Ликвидировать прежде всего 1 и 3 красные армии, к тому же в трехмесячный срок, вот задача, которая в январе 1931 г. была поручена Нанкином военному министру генералу Хо Ин-тину при отезде последнего в Наньчан, откуда он должен был руководить «вторым наступлением».

«Первое наступление» прошло уже свыше 8 месяцев. Что касается главного фронта, южно-цзянсийского, то здесь еще в начале января белые войска получили жестокий урок.

В первые недели «карательной экспедиции» красные части, наступавшие на Наньчан, вынуждены были под давлением превосходящих сил противника эвакуировать ряд городов, в том числе и Цзиань. Но уже во второй половине декабря они прочно закрепляются в обширном горном районе Цзиань—Синго—Нинду—Гуанчан, где на заранее выбранных позициях, неподалеку от Тунгу—админ. центр советского Цзянси—они решили дать бой белой армии генерала Лу Ти-пина.

«В течение значительного времени,—пишет по этому поводу «Чайна таймс»,—Тунгу, лежащий в 200 километрах к югу от Наньчана, являлся главным штабом коммунистов. Вот здесь командующий 9 армией генерал Лу Ти-пин и потерел решительное поражение. Генерал Лу бросил против красных четыре дивизии. 50 дивизия составляла центр, 28—левое крыло и 47—правое, тогда как главная, 18 дивизия, под командой генерала Чжан Хуай-чана находилась в резерве. Коммунисты стали отходить в сторону от Тунгу, увлекая за собой 50 дивизию. Чжан Хуай-чан, видя, что путь свободен, не замедлил занять Тунгу, не встретив никакого сопротивления. Между тем красные, заведя 50 дивизию далеко в горы, вернулись в район Тунгу и у Лукана окружили 18 дивизию. Большинство солдат отказалось сражаться. Офицерству удалось увлечь за собой лишь около 1.000 человек, но все попытки пробиться оказались бесплодными, так как коммунисты заняли стратегические пункты, доминирующие над узкой горной тропинкой, являвшейся единственным путем отступления».

Две бригады со всем своим командным составом, включая самого генерала Чжан Хуай-чана, попадают в плен. Покончив с 18 дивизией, красное командование, «передев часть своих солдат в одежду пленных, врасплох атакует 50 дивизию и уничтожает почти половину ее состава». Немедленным результатом этого поражения явилась полная приостановка наступления со стороны правительственных войск».

«Принимая во внимание бесплодность предыдущих операций,—говорит в одном из приказов,—отнюдь не переходить в необдуманное наступление, а ждать, пока каждая армия займет назначенную для нее позицию и пока между всеми этими армиями будет установлена связь». Этим закончилось так называемое «первое наступление» Чан Кай-ши.

Ликвидировать прежде всего 1 и 3 красные армии, к тому же в трехмесячный срок, вот задача, которая в январе 1931 г. была поручена Нанкином военному министру генералу Хо Ин-тину при отезде последнего в Наньчан, откуда он должен был руководить «вторым наступлением».

Для выполнения порученной ему задачи Хо Ин-тин имел в своем распоряжении более 5 армий: 5-ю, 6-ю, 9-ю, 19-ю и 26-ю, не считая фуцзяньских войск, охранявших западную границу провинции Фуцзянь. В марте месяце вышеназванные армии уже образовали сплошное кольцо, окружившее горный район, занимаемый красными частями.

Однако давно истек назначенный трехмесячный срок, и никаких ослабительных результатов получено не было.

Тогда Нанкин шлет Хо Ин-тину новый приказ, требуя во что бы то ни стало выполнить порученное ему задание до мая, до открытия пресловутого «национального собрания», на котором Чан Кай-ши, метивший тогда в президенты, должен был предстать в роли победителя. Чтобы устыдить белое командование и в то же время поднять сильно павшее моральное состояние белых войск, по всем дивизиям отдается предписание именовать отныне красные части «чифеями», т. е. «красными разбойниками» и ни в коем случае не коммунистами. Но и это не помогает.

Ни 1 ни 3 красные армии самоликвидироваться не желают, а Хо Ин-тин ничего с этим поделаться не может.

«Чифеи, — оправдывается генерал в одном из своих интервью, — имеют свою организацию, свою доктрину, свою политику. Это совсем не то, что обычные разбойники.

Вначале я этого не понимал. Прошло несколько недель, прежде чем это стало для меня ясным. Затем мне пришлось ждать прибытия из Шаньдуна 26 армии генерала Сун Лян-чжуна и с хуань-хубейского фронта 5 армии генерала Ван Тинь-юя. Как только я получил известный вам приказ, я немедленно сообщил, что торопиться нельзя, что ход военных операций предвидеть еще невозможно, но что я все-таки надеюсь к назначенному сроку нанести противнику решительный удар и поколебать его ряды».

Разумеется, никакого удара, тем более решительного, Хо Ин-тину и на этот раз нанести не удалось. И все же положение 1 и 3 красных армий становилось все более и более серьезным. Неприятельское кольцо, правда медленно, но неуклонно суживалось. Блокированные в районе, занимающем всего лишь несколько уездов, красные части, равно как и все энергично поддерживающее их население, начинают испытывать серьезные экономические затруднения. Слабость вооружения, нехватка патронов являются другой серьезной проблемой. А тут еще приходится не только отбивать атаки извне, но и подавлять внутри кулацко-дженгрийскую контрреволюцию, которой одно время удалось захватить резиденцию цзянсийского советского правительства.

Учитывая все эти обстоятельства, белое командование переходит во второй половине мая в решительное наступление.

«2 дивизии 5 армии во главе с Гун Пин-фаном, — оповещали нанкинские телеграм-

мы, — уже несколько дней ведут в районе Тунгу ожесточенный бой с главными силами красных. Сражение развивается с огромным успехом. Падение красного Тунгу ожидается с часу на час».

И вдруг вместо того, чтобы быть в Тунгу, «генерал Гун Пин-фан благополучно вернулся в Цзянь».

«Генерал Гун, — поясняет официальное сообщение, — слишком глубоко зашел и потому, боясь потерять контакт с дружественными войсками, решил вернуться на свою прежнюю базу».

В действительности с генералом Гуном произошло в 20-х числах мая то же самое, что в конце декабря — начале января с заместителем командующего цзянсийской армией генералом Чжаном, при том произошло в районе того же ненавистного для белых Тунгу. Правда, генерал Гун живым прибежал в Цзянь, тогда как генерал Чжан, точнее лишь его генеральская голова была туда торжественно доставлена.

Но Нанкин вновь лишил двух дивизий, при чем из «ударной» 5 армии, и чуть не потерял Цзянь (главный административный центр западного Цзянси), к которому красные части, преследуя остатки разгромленных дивизий, подошли на расстояние 15—20 км.

К сожалению, до нас не дошла еще печать советских районов, которая дада бы возможность полнее ознакомиться с подробностями этих боев. Поэтому приходится пока ограничиться версией, изложенной реакционной китайской газетой «Синьвень бао» о боях на западном участке южного цзянсийского фронта.

«С тех пор, как Пан Дэ-хуай, — сообщает нанчанский корреспондент названной газеты, — захватил Тунгу и возвел сильные укрепления, крестьянство заняло ярко враждебную к нанкинским войскам позицию. На несколько сот «ли» (ли — полкилометра) в окружности крестьяне унесли весь провиант в горы, превратив всю местность в пустыню. В десятых числах мая командир 28 дивизии генерал Гун Пин-фан получил в Цзяне приказ взять во что бы то ни стало «коммунистическую цитадель» — Тунгу. Генерал Гун бросил вверенные ему части в атаку на два сильнейших укрепления, охраняющие подступы к Тунгу. Завязался ожесточенный бой, продолжавшийся около двух суток. Пришлось обратиться за помощью к дивизии генерала Го Хуа-цзуна. Красные части отступили. Но это был лишь стратегический маневр. Когда генерал Гун приблизился к Тунгу, красная гвардия перешла в контрнаступление, в то время как красная армия, зашедшая в тыл белым, тоже бросилась в атаку».

«Вперед! — крестьяне, позади — красноармейцы. Сражение становилось все более и более кровопролитным. Генерал Гун понес огромные потери. Боясь, как бы с ним не случилось того же, что и с 18 дивизией, Гун Пин-фан стал отступать к местечку Фуцзянь. Но это ему не удалось, так как силы красных все росли и росли, стреми-

тельно наступая на Цзиань. В то же время с запада, из уезда Юнсин к Цзианю быстро продвигались красные части Ли Мин-жуя и Цен Пин-чуна, рассчитывая вместе с Пэн Дэ-хуаем одновременно атаковать город с двух сторон. Тогда из Цишуя спешно была брошена на выручку одна бригада из дивизии генерала Тана, ставшая поспешно возводить вокруг Цзианя укрепления. Кроме того, из Тайхэ выступила дивизия Ло Лина. Часть этой дивизии вышла к западу от Цзианя навстречу Ли Мин-жую, другая должна была атаковать Пэн Дэ-хуая с фланга. Сам генерал Ло Лин с оставшимися частями и еще одной бригадой из дивизии генерала Хана засел в Цзиане. Скоро на помощь прибыл генерал Хан, а также дивизия Хо Мын-лина и из Лоаня части армии Сун Лян-чжуна.

Это на юго-западном участке южно-цзян-сийского фронта, защищаемом 3 красной армией Пэн Дэ-Хуая.

Несколько дней спустя, на северо-восточном участке того же фронта, где оперирует 1 красная армия под командой Чу Дэ другие белые генералы, а именно Сун Лян-чжун и Чу Шао-лин, терпят не менее серьезное поражение, хотя и там победа нанкинцев, казалось, была обеспечена.

«17 мая, — гласило официальное сообщение, — части 26 армии Сун Лян-чжуна заняли Лэкоу. 16 мая командующий 6 армией генерал Чу Шао-лян прибыл в Гуанчан, откуда он будет руководить дальнейшим наступлением. Дивизия Мао Пин-вэня энергично преследует отступающего противника. Город Нинду, где помещается генеральный штаб красных, может пасть со дня на день».

«Наша армия, — описывает один белый офицер этот поход, — взяла направление на Дуншань и Локоу. Пришлось пробираться по горным тропинкам. Неприятель то появлялся, то исчезал. Что касается населения проходимых нами местностей, то и старые, и молодые, и женщины, и дети, все поголовно на стороне красных. Никто из солдат и офицеров, отважившихся зайти в деревню, живым не возвращался. Когда мы прибыли по месту назначения, то 26 армия, оказалось, уже эвакуировалась, и мы потеряли с ней связь. Пришлось повернуть обратно в Гуанчан. 27-го на заре красные численностью не менее 30 тысяч человек повели со всех сторон одновременно ожесточенную атаку».

Таким образом и генерал Мао Пин-вэнь тоже «слишком глубоко зашел» и «потерял связь с дружественными войсками».

Белые потерпели новый разгром, во время которого была между прочим совершенно уничтожена дивизия генерала Ху-Цзо-ю. Сам Ху Цзо-ю получил ранение и 3 июня по прибытии в Нанкин скончался.

О данике, создавшейся в результате этих поражений и успешного отступления 5, 6, и 28 армий, можно судить хотя бы по тому, что белое командование срочно вызвало из Хубея 11 и 14 дивизии для обороны Наньчана, столицы провинции Цзянси.

«Только в течение двух недель, — пишет корреспондент «Чайна пресс», подводя итоги майским боям, — коммунисты значительно увеличили свои силы, захватив более 20 тысяч винтовок. Имея, кроме того, около 80 пулеметов и несколько захваченных ими тяжелых орудий, обладая кадрами отчаянных бойцов, они представляют теперь грозную силу, возможно, на 50 процентов возросшую по сравнению с тем, что она представляла при начале антикрасной кампании 8 месяцев назад».

«Это внезапное наступление красных, — пишет с своей стороны британский «Пекин энд тяньцзин таймс», — и внушающие опасения успехи, одержанные ими над правительственными войсками, совершенно меняют положение, делая почти невозможным наступление на Кантон», где новым античанкайшйским блоком уже организовано конкурирующее с Нанкином правительство.

Нанкин и сам теперь прекрасно понимает всю серьезность создавшегося для него положения в результате столь плачевного провала «второго наступления».

Чан Кай-ши мобилизует все свои силы для так называемого «третьего, решающего наступления». В Цзюцзянь, главный портовый город провинции Цзянси, соединенный с Наньчаном железнодорожной линией, в течение уже недель каждые шесть часов приходит один военный транспорт за другим.

«Культурные» иностранные корреспонденты поражаются ужасающим антисанитарным состоянием этих транспортов, набитых до отказа белыми наемными солдатами из Цзянсу, Чжецзяна, Аньхуэя, Хубея и Хэнаня.

Так, мол, не перевозят даже скот.

Еще хуже положение кули, за которыми повсеместно идет охота. Их силой вербуют в качестве вьючных животных, предназначенных обслуживать транспорт белых армий. Они дезертируют целыми толпами. Пробираются, смешиваясь с пассажирами, во все отходящие из Юзюцзяна пароходы китайские и иностранные. Перед отправкой на пароходах каждый раз разыгрываются дикие варварские сцены ловли «дезертиров», с таким «юмором» описываемые теми же «культурными» корреспондентами.

В это время в Наньчане один банкет сменяется другим. То пируют белые генералы, прибывшие со всех антикрасных фронтов на поклон «президенту и генералиссимусу» Чан Кай-ши, устроившемуся в роскошном палатце, охраняемом отрядами войск и целой армией сыщиков. «Президент» и «генералиссимус» проявляет изумительную энергию. Председательствует на банкетах и военных конференциях, принимает десятки депутатий именитых людей, истекает речами, приказами, прекламациями, каждый раз пронзительно громко рыдает на всех торжественных парадных в честь павших в предыдущих боях с красными незадачливых белых генералах.

Он, видимо, уже устал. На фронт решил не ехать, назначив «фронтовым генералиссимусом» генерала Хо Ин-тина. Сам же собирается отправиться на курорт в высокий прохладный Кулин, откуда за сотни километров, с высоты птичьего полета, будет «руководить всеми операциями» и наблюдать за пунктуальным выполнением тщательно выработанного им нового «гениального» плана кампании.

Старый оказался никуда негодным.

«Прежний стратегический план, — телеграфирует специальный корреспондент «Нью-Йорк таймс», — план, заключающийся в том, чтобы со всех сторон окружить красных, отброшен, ибо для осуществления его потребовалось бы более миллиона солдат. Предыдущие попытки окружения каждый раз кончались несчастливо. Коммунисты выбирали наиболее слабое место и, сконцентрировав свои силы, наносили тяжелые потери правительственным войскам.

Новое наступление имеет поэтому своей целью не окружить, а отгеснить красных к границам провинции Гуандунь и тем заставить «бунтовщическое кантонское правительство» повоевать с Чу Дэ и Мао Цзетуню!

План, как видите, довольно остроумный. Весь вопрос только в том, как его осуществить. По этому поводу даже у горячих сторонников Нанкина возникают большие сомнения.

«Коммунистические силы, — читаем мы, — огромны. У коммунистов не менее 300.000 бойцов, 120.000 винтовок и обилие боевых припасов, захваченных в предыдущих боях с отдельными нанкинскими дивизиями. Красные ведут свою партизанскую войну с необычайным искусством. Разумеется, их специальная стратегия имеет успех лишь благодаря фанатической поддержке крестьянства.

Обычно, когда противник наступает, они отводят свои лучшие ударные части. Часто в течение трех-четырех дней правительственным войскам приходится драться только с крестьянами (красной гвардией), вооруженными пиками и другим примитивным оружием. После изнурительного продвижения в беспрепятственных стычках уставшие войска внезапно наталкиваются на «эвэжие, регулярные коммунистические части, обладающие современной военной техникой».

Специальный корреспондент английского агентства «Рейтер» с своей стороны указывает на ряд других трудностей борьбы с красной армией.

«Район, защищаемый красными, — жалуетя он, — представляет собой ряд горных цепей, расположенных одна за другой на протяжении 400 «ли». Во многих

местах армии приходится идти по тропинкам, гредназначенным лишь для одного человека. Иногда же и таких тропинок не существует.

Центр военного снабжения нанкинских войск находится в Ихуане, лежащем в 120 «ли» (около 60 км.) от ближайших позиций. Чтобы снабдить из Ихуана провинцию, достаточным одному полку всего лишь на 1 день, требуется сто кули и два дня времени. И это в хорошую погоду. В дурную погоду регулярное снабжение становится вообще невозможным».

Словом имеется «тридцать шесть причин», заранее «извиняющих» новый провал, несмотря на то, что на этот раз Нанкином сконцентрированы огромные силы.

Недаром вновь назначенный «фронтный генералиссимус» генерал Хо Ин-тин в своем последнем интервью с иностранными журналистами считает необходимым напомнить, что Маньчжурской династии, ее «гениальным полководцам», понадобилось, несмотря на столь же активную поддержку империалистических держав, пятнадцать лет на борьбу с Тайпинами.

Напоминание по существу правильное. Неправильна лишь «историческая параллель».

Стремительно разлагающемуся гоминдановскому режиму историей не отпущено такого неимоверного при современных темпах срока. Через 15 лет молодое поколение советского Китая вероятно только из книг да из рассказов старших будет знать о том, что когда-то существовал кровавый Гоминдан.

Разумеется, было бы неправильно недооценивать трудностей предстоящей перед красной армией новой ожесточенной борьбы.

Удастся ли красной армии столь же успешно отразить это «третье наступление» Чан Кай-ши, как и два предыдущих, или же ей придется в виду огромного численного и технического превосходства противника отступить и перенести временно свои операции в другую область, сказать еще нельзя. Одно лишь несомненно: концентрация Нанкином своих сил на цзянсийском фронте идет за счет ослабления других антикрасных фронтов. В результате в Хунане, в Хубее, Хэнане, Фуцзяне, Аньхуэе и самом Цзянсу красные армии, красные корпуса и красные партизанские отряды переходят, как об этом свидетельствуют все последние сообщения, в наступление и регистрируют один успех за другим.

Создается таким образом положение, таящее в себе огромные возможности, открывающее самые широкие перспективы для дальнейшей консолидации советского Китая.

## Книжное обозрение

1. Альманах „Земля и Фабрика“. 11. Ю. Добряков.—2. ИВАН ШУХОВ „Горькая линия“—Арк. Глаголева.—3. ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ „Путь ветузнаста“. Н. Тарасова—4. ВАЛЕРИЙ ПУШКОВ „Весна трех“. Д.м. Гельмана.—5. ЖЮЛЬ МЭНН „Сокровища града Китежа“. К. Локса.—6. И. ГРИНЕВСКИЙ „Железо и хл.“ Б. Бориса Анибала—7. И. ЭК-СЛЕР „Гренландские гости“. И. Шорна.—8. АЛЬБЕРТ ГОТОВИ „Баркас Ля Г. Ф. 13“. И.н. Оксенова.—9. ТЕОДОР ПЛИВЬЕ „Кули Кайзера“. З. Мура.—10. Л. МЫШКОВСКАЯ „Работа Толстого над произведением“. Н. Монсева.—11. „Поп и мужик“. Н. Прынишкова.

Альманах «Земля и фабрика» № 11. Изд. ГИХЛ, М. 1931. Стр. 300. Ц. 2 р. 50 к.

Одиннадцатый альманах Зиф на две трети заполнен романом М. Иринина «Теория беззащитности».

В «идеологически-благополучном» по внешности романе М. Иринин, не спеша, обстоятельно и интимно (повествование ведется от первого лица) рассказывает о судьбе и переживаниях, особенно о переживаниях, некоего поэтически предрасположенного двадцатичетырехлетнего юноши, который от безработицы, голода, холода и сугубо интеллигентской мечтательной изолированности от общества приходит на завод и раскрывает там свои богатые эмоциональные и интеллектуальные возможности, делаясь полноправным членом заводского коллектива, строителем новой жизни. Внешне все тут как будто благополучно, хотя и не ново: сразу может показаться, что роман представляет один из многочисленных вариантов саморазоблачения кающегося интеллигента, добросовестно желающего шагать в ногу с временем.

На самом деле это не так, на самом деле роман внутренне глубоко чужд нашему времени. Это противоречие благонамеренной тематики, в которой есть вся необходимая аппаратура вплоть до социалистического соревнования и бытовой коммуны, и стиля импрессионистического, рафинадно-эстетского, бессильного и безвольного, делает роман идеологически бесплодным и художественно фальшивым, характерным для одного из видов литературной «аллилуйщины».

Длинные страницы не столько изощренных, сколько в риторической манере поданных пейзажей, в которых, что ни выражение, то метафора, перемешаны с описаниями сновидений, имеющих претензию быть реальнее действительности. Из этих импрессионистических лохмотьев уродливо и неле-

по выступает каркас советской действительности: завод, труд, новые люди. В этой действительности не узнаешь современности, так как в книге нет даже намека на ту подлинную и высокую трагедийность, которой полна наша жизнь с ее героическим и тяжким строительством, с ее небывало ожесточенной классовой борьбой.

Подлинные проблемы времени снимаются и заменяются выдуманной «теорией беззащитности», суть которой состоит в том, «что в нашей стране, в наше время человек беззащитен», что моральное убийство в ней дозволено.

Автор делает пропагандистом этой странной теории насквозь выдуманного провизора, «преступного» резонера, который должен по мысли автора олицетворять буржуазный индивидуализм, но... здоровое пролетарское начало конечно торжествует.

Но что это за здоровое побеждающее начало? Это крайний социальный примитивизм, сводящийся по существу к биологической формуле о законности победы молодого, сильного, здорового над старым, слабым и больным.

Таково центральное произведение альманаха. Остальная проза в нем стоит не выше, но и не ниже идеологического и художественного приличия.

«Технорук Попов» П. Низовой трактует ставшую за последнее время обычной для этого писателя тему о сильном человеке. Но в решении ее П. Низовой избегает объективно враждебного социализму прославления героя-одиночки.

«Камень у моря» Ляшко, облеченный в сказочную форму, рассказ о трех поколениях крестьян, искавших счастье и правду и нашедших их наконец в революции, слишком прекраснодушен для наших суровых дней, а маленький рассказ Черевкова «Уртак» просто слаб.

Среди стихов интересно и с обычной для



этого поэта технической крепостью и изяществом сделано стихотворение Виссариона Саянова. «Встреча друзей». Хорошо стихотворение С. Обрадовича «Девственность» на тему о доисторическом человеке. Два крепких стихотворения и два неплохих, но неострых рассказа, — этого, пожалуй, мало для обемистого в 300 страниц альманаха.

*Ю. Добранов.*

**Иван Шухов.** — «Горькая линия». Роман. Книга первая. Изд. «Федерация». М. 1931. Стр. 268. Ц. 1 р. 85 к., пер. 25 к.

Материал романа — западносибирское казачество и его окружение.

Время действия — от ближайших к империалистической войне лет до февраля включительно. Октябрьскую революцию первая часть данного романа непосредственно не затрагивает.

Основная схема произведения И. Шухова не лишена социальной выдержанности. Казачество предстает перед нами социально дифференцированным. Кулацко-зажиточным, верноподанным «ерамаковцам», обладателям «кровных рысаков», «позументов на бортах полковых мундиров», крестов да грамот» противостоят середняцко-бедняцкие слои казачества — «соколинцы». В план своего повествования автор включает и окружение казачества — национальное население края, киргизов и крестьян — переселенцев из Центральной России. К показу национального населения автор также стремится подойти с классовой точки зрения: он отличает «джетаков» (бедняцкие низы) от «баев».

Конкретная разработка этой схемы однако не блистает большими художественными достоинствами. Повествование не отличается яркими красками. Нет в нем художественной новизны, больших художественных обобщений, крепко остающихся в памяти образов. Все написано старательно, добросовестно, усердно, но без художественной сочности, смелости, оригинальности, — вяловато, серовато, тускловато... Мы достаточно богаты литературно-художественными талантами, и мы поэтому совершенно в праве искать в первых книгах начинающих писателей большей художественной яркости и выразительности, чем это имеет в книге Шухова.

*Арк. Глаголев.*

**Василий Каменский.** — «Путь энтузиаста». Изд. «Федерация» М. 1931. Стр. 270. Ц. 1 р. 60 к., пер. 30 к.

Если под энтузиазмом понимать непосредливость, беготню, легкую восприимчивость к новизне и новинкам, непостоянство, дружеское расположение духа, неожиданную восторженность и пр., и пр., то вся жизнь В. Каменского, со дня рождения его до Октября, предстанет как «путь энтузиаста». Но мы склонны думать, что деятельность может быть названа энтузиастической только в случае какой-либо высокой идейно-общественной направленности. В. Каменский этого положения пови-

димому не разделяет. Иначе он не порхал бы так легко по этапам своей биографии, не проявляя при этом ни малейшего желания свести свою жизнь к какой-либо общей цели и смыслу. На худой конец остается признать за руководящую линию жизни поэта-футуриста его чрезвычайный инфантилизм, которым пропитаны воспоминания от начала до конца. Много пустоцветного, легкомысленного и в то же время приятно-детского и неловкого заключено в его книге воспоминаний. Замечательней всего, что даже теперь, в возрасте, когда дымка воспоминаний обычно корректируется ума холодным наблюдением, В. Каменский теоретически и житейски не осмысливает содержания своей футуристической юности и зрелости. Он по сути дела по-прежнему склонен видеть в раннем футуризме проявления некоего безотносительного, внеклассового «революционного» духа.

Любители занимательного «биографического» чтения, может быть, и зарядятся после ознакомления с книгой ответным «энтузиазмом». Еще бы. Далеко ведь не всякому жителю России в те сидячие годы пришлось испытать столько профессий и пережить увлечений, как это выпало на долю В. Каменского (актер, конторщик, забастовщик, авиатор, хуторянин, охотник, художник, беглец, скиталец, собеседник, футурист, скандалист, энтузиаст...). Не поэтому ли так мало сказано им в книге о себе, как поэте, авторе талантливой «Стеньки Разина» и знаменитого в свое время клича «Сарынь на кичку!»

Бескрайний оптимизм (невольно трогаящий иногда читателя своей чистотой и бескорыстием), выросший в дружеской, сугубо-интеллигентской и юношеской обстановке, направил автора по дорожке успехов, скандалов, богемных радостей и утех. И на этом В. Каменский, сделавший футуризм своей профессией, как бы почил. Но история шутить не любит: старая «новизна» В. Каменского, которую он передает с увлечением необычайным, теперь воспринимается как что-то до последней степени изжитое и давно знакомое. Его книга — выдернутая страница из книги, написанной в старые, триумфальные годы футуризма. Но молодежь найдет в ней однако кое-что интересное, например, воспроизведение стиля и формальных позиций «будетлян» и футуристов, некоторое любопытные подробности из личного бытия, автора, множество имен, как оставшихся в искусстве, так и быстро вышедших в тираж. Есть в книге и документы: письма В. Хлебникова и Д. Бурлюка, портрет автора работы Маяковского. О Маяковском же сказано мало и ничего существенного.

О социологических позициях В. Каменского-мемуариста говорить почти не приходится — они ужасно наивны и опять-таки инфантильны. Восторженность между прочим воспрепятствовала ему прочитать до конца язык воспоминаний (стр. 97, 111, 113, 205). Создать о себе образ странствующего энтузиаста удалось В. Каменскому таким

образом только отчасти: внешние события своей жизни он не пропитал большим содержанием и настроением. Исторические заслуги футуризма и личные заслуги В. Каменского конечно нуждаются в более глубоком художественном и социальном освещении.

*Н. Тарасов.*

**Валерий Пушкин.** — «Весна трех». Изд. «Московское товарищество писателей». М. 1931 г. Стр. 172. Ц. 1 р. 60 к.

Неразрешимые «загадки» и «тайны» пола, порождающие сложные взаимоотношения между представителями различных возрастных и социальных групп, — такова тема рецензируемой книги.

В ней показаны партийцы и комсомольцы, учащиеся, интеллигенты и даже представители новой деревни. Но если изъять без всякого ущерба для книги всю ее советскую расцветку, предстанут повести, рассчитанные на обывательско-мещанские круги читателей.

В повести «Весна трех» комсомолец Арефий Першин, который «классовое чутье впитал с молоком матери», деревенской нищенки, мучается «неодолимым желанием близости» с дочерью преподавателя Инной Краевой. Беспартийная девица, поданная автором в идиллически-мещанских тонах, пред которой «проблемы пола предстали во всем их многообразии и сложности», после длительных размышлений соединяет свою жизнь с Першиным, становящимся по воле автора руководителем сельскохозяйственной коммуны.

Отец Инны, рано овдовевший математик Краев, оказывается бессильным перед чарами весны, пробудившими в нем неутомимую тягу к женщине. Краев теряет работоспособность, совершает одну глупость за другой и наконец благополучно сочетается с изнасилованной им домашней работницей, горбуньей Ольгой, мысль о браке с которой раньше казалась ему дикой.

В другой повести «Равенство» вузовец Дмитрий Хворов, нищезанец советской формации, действует приблизительно в том же роде.

В несложную, несмотря на все потуги автора, любовную интригу персонажей повести «Весна трех» совершенно механически введено длинное повествование, выдержанное в газетных тонах, о политическом положении в районе и об идеальных порядках в коммуне, руководимой Першиным.

Такую же беспомощность проявляет автор при изображении действующих лиц. Его партийцы и комсомольцы — не живые люди, а ходячие схемы. Лобачев в повести «Равенство» выглядит злейшей пародией на «политкаторжанина, работника союзного масштаба, крепко любившего за долгую свою жизнь только дело и партию».

От отдельных высказываний беспартийных персонажей и философско-политических «размышлений» автора отдает исключительной пошлостью и обывательщиной.

Арсенал изобразительных средств В. Пу-

шкова очень ограничен; на всем лежит печать унылого штампа. Любая страница книги это может подтвердить. В общем книгу надо признать пошлой и далекой от действительных задач, стоящих перед современной литературой.

*Д. М. Гельман.*

**Жюль Мэнн.** — «Сокровище града Китежа». Киев. Изд. «Коммуна писателей». Стр. 220. Ц. 75 к.

«Невероятное, но правдивое происшествие с предисловием издательства, примечанием переводчика и послесловием редакции» — таков подзаголовок этой оригинальной книги, рассчитанной, повидимому, на дураков, которых можно забавлять бессмысленными анекдотами. Основной анекдот заключается в том, что некие французы получают концессию на отыскание сокровищ затонувшего града Китежа. Руководит этим предприятием полусумасшедший профессор Туапрео, а финансирует капиталист Бартельс. После года работ по осушке гнилого озера в Рязанской губернии (!) концессионеры находят всего только остатки затонувшей лодки и слешно удирают во Францию. Так как вся эта история до бесконечности глупа, то в конце книги автор, с многозначительным видом подмигивает и сообщает, что «Бартельс — правительственный агент, а вся концессия по изысканию сокровищ града Китежа субсидировалась французским правительством. Для каких целей, мы думаем, вы догадаетесь сами». Признаться, мы не догадались, и было бы неплохо, если бы автор откровенно сообщил нам об этой цели. Обсуждать весь этот «иностранный» вздор нет никакой охоты, и можно только пожалеть, что «Коммуна писателей» не умеет расходовать бумагу по назначению.

*К. Локс.*

**И. Гриневский.** — «Железо и хлеб» (очерки). Изд. «Московское т-во писателей». 1931. Стр. 200. Ц. 1 р. 60 к.

Очерковая литература растет с каждым днем и растет главным образом за счет количества, а не качества. Написать очерк и более или менее добросовестно изложить в нем то, что видел, считает необходимым чуть не каждый, побывавший на крупном предприятии, в колхозе или совхозе.

Однако расчет на то, что самый материал очерка, самые факты, положенные в его основу, заставят забыть несовершенство их изображения и передачи, оказывается ошибочным: неряшливо рассказанный интересный факт тускнеет, неумело связанный с рядом других — теряет и становится незаметным.

Материал очерков Гриневского безусловно интересен, но его отображение оставляет желать лучшего. Автор видел большую организационную работу на заводах и на полях, но сам организовать своего материала не научился. Его очерки растянуты, их действующие лица благонамеренны, добросовестны, однако не убедительны. Не то,

чтобы читатель не верил тому, что они делают и высказывают, нет, он их просто не видит, как живых людей, и забывает, как только автор перестает о них говорить. Остаются факты, но они так неорганизованы, что подходят один на другой. Об этом приходится пожалеть, так как Гриневский видел многое: Краматорский металлургический и машиностроительный завод, Сельмашстрой, зерносовхоз «Гигант».

Издана книга плохо.

*Борис Анибал.*

**И. Экслер.** — «Гренландские гости». ГИХЛ. 1931 г. Стр. 120.

Участник похода ледокола «Седов» к Земле Франца-Иосифа И. Экслер решил показать будни героического корабля и «героя на производстве» «Седова» в зверобойной экспедиции. Гренландские гости, это — тюлени, которые по гипотезам ученых приходят к нам из Гренландии в урло Белого моря.

Страницы небольшой книжки пестрят такими словами: «романтическая соломбала», «полярный рейд в Мурманске», «бледный арктический день», «полярная тишина», «семеро полярных братьев», «капризы Арктики», «ветры Арктики», «арктический радист», «суровость Арктики», «полярный дом», «полярный вечер», «трагический эпос Арктики», «дикий полярный ландшафт» и т. п. Автор явно «переполяривает» и в результате наскучивает читателю.

Прием запугивания читателя полярными страхами также довольно избитый. Белое море исхожено вдоль и поперек в течение столетий, и шторм, который страха ради преподносится читателю книги, напрасно приводит в такой трепет и страх самого автора. В каждом море бывают штормы.

«В конце вторых суток вдруг погас свет, корабль, потерявший свои огни, казался обреченным... Вихрь рвал паруса, которыми были покрыты доски трюмов. Если откроет трюмы, — а уже начало открывать трюм номер первый, — мы пойдем ко дну».

Следует ли страшать ни в чем неповинного читателя только потому, что распята боцман во-время не приготовился к встрече шторма.

«Страшный Мезенский залив», «Ломоносова» третий день неумолимо несло в пучину», «стоянка в тумане в объятиях льдов, близ береговых рифов — очень опасна». «Жутко было слушать это хриплое, изнемогающее «ура»... «Напор льдов опасен»... «Здесь у этого ледяного хаоса каждый год гибнут норвежские шхуны»... «И кажется, будто судьба «Ломоносова» решена. «Эклипс», уже побывавший на коралловом дне полярного моря, неужели снова погибнет».

В конце концов все обходится к общему благополучию, «Ломоносов» остается цел, ледокол «Седов» возвращается с богатым промыслом и доставляет невредимым автора книги.

Претендуют на оригинальность ничего или мало говорящие заголовки очерков в

книге: «Вышла в море эскадра», «Погиб Трифон Прелухин», «Помянул прошлое Клавдий Малыгин», «Фыркнули умные тюленики, заплакали пушистые бельки», «Унесло поморов моржовецкими льдами», «Протанцовал на льду норвежия», «Вырвался корабль в Гольфштрем».

Книга говорит не о гренландских гостах — тюленях, а главным образом о людях промышленяющих зверя, поморах-зверобоях. Рисуя поморов, передавая их рассказы, автор, быть может, того не ведая, простой речью поморов трогает больше читателя, чем всеми своими «литературными» приемами. Следует отметить интересный рассказ Петра Матвеева и замечательное повествование о своей жизни старого помора Клавдия Андреевича Малыгина.

Эпоха полярной романтики уходит в прошлое. Известный полярный исследователь Н. И. Евгенов, участник четырнадцати ледовых походов, безжалостно расправляется с полярной романтикой.

«Пропадает полярная романтика, — пишет Н. И. Евгенов. — Но грохот лебедок в создаваемых портах, завывание парходных сирен в молочных туманах среди полярных льдов, многочисленные огни идущих одно за другим судов, вспышки мигалок, треск радио звучат мощной симфонией нового советского Севера, растущей на нем социалистической стройки». Обо всем этом кое-где лишь обмолвился автор «Гренландских гостей», располагавший повидимому большим и небезынтересным материалом.

*И. Шорин.*

**Альберт Готопп.** «Баркас Ли Г. Ф. 13». Роман. Авторизованный перевод с немецкой рукописи Д. Усова. ГИХЛ. 1931. Стр. 256. Ц. 1 р. 60 к.

Мы уделяем все еще слишком мало внимания развитию пролетарской литературы на Западе и в особенности ее изучению с методологической стороны. Если можно считать твердо установленным, что творческим методом нашей пролетарской литературы (а также и братских западных литератур) должен быть метод диалектического материализма, то, казалось бы, чрезвычайно полезным и поучительным должно явиться исследование творческого метода некоторых произведений западных пролетарских писателей именно в данной плоскости. Между тем в этой области сделано еще слишком мало. Об этом приходится вспоминать, когда встречаешься с крупным художественным явлением западной пролетарской литературы, — таким явлением, которое может в той или иной мере служить образцом или примером и для нашей творческой работы. Таков только-что вышедший в авторизованном переводе с немецкой рукописи роман Альберта Готоппа «Баркас Ли Г. Ф. 13».

Из кратких биографических данных, имеющих в послесловии, написанном Эрихом Мюллером, мы узнаем, что Альберт Готопп — германский коммунист, бывший

матрос торгового флота, обездвиживший многие страны; принимал активное участие в революционной работе, за что и попал в долгие тюремные заключения. Автор нескольких мелких рассказов, известных германскому пролетарскому читателю. «Баркас» — первое крупное по объему произведение Готоппа. Писателю в настоящее время 44 года.

Действие романа происходит на берегах Северного моря в открытом море. Героями «Баркаса» являются германские рыбаки, ведущие борьбу на два фронта — с морской стихией, периодически вырывающей жертвы из их рядов, и с крупными рыбопромышленниками, постепенно забирающими в свои руки все рыбное дело. Малкие производители — рыбаки-«единоличники» — не в силах бороться с капиталистами, предоставляющими им кредит и в то же время опутывающими их сетями денежной кабалы. Рыбаки пытаются догнать современную технику, ставят моторы на свои баркасы, но в результате они все же лишь влезают в долги и идут к разорению. Происходит процесс пролетаризации рыбацкой массы, — процесс превращения мелкобуржуазных производителей в подлинных пролетариев, закабаленных капиталистом. Но лишь немногие из них достигают при этом пролетарского классового сознания: психология мелкого собственника с трудом поднимается на иную, высшую социальную ступень.

Центральная героиня романа — Ли, жена рыбака Гинриксена, — одна из тех, у кого это сознание наконец пробуждается ценою тяжелых переживаний и разочарований. Она переживает гибель мужа и сына и, кроме того, еще одну трагедию, связанную с правом женщины на аборт в капиталистических странах. Это — тот самый § 218 германского уголовного кодекса, на борьбу с которым положил много сил писатель и врач Фридрих Вольф. Желая избавиться от ребенка, — плода связи с рыбопромышленником Иогансенем, — Ли производит себе выкидыш, за что и попадает в тюрьму и под суд. Ложное показание, присланное Иогансеном суду, и вся судебная процедура дают новое направление сознанию Ли. Отбыв наказание, она возвращается к жизни уже с иными, новыми мыслями, еще смутно бродящими в ее голове. Старый моряк, друг ее мужа, указывает ей на восток, — там страна, «откуда придет избавление для всех». Теперь Ли уже на пути к осознанию своего места в рядах борющегося пролетариата.

Уже это краткое изложение сюжета дает представление о социальной ценности романа. Это роман о том, как молот классовой борьбы выковывает сознательных бойцов из полупролетарского человеческого материала. Роман далек от каких-либо дидактических схем. Основная идея «Баркаса» раскрывается в истории его героини, которая представляет собою очень своеобразную и цельную натуру. Развитие психологии Ли показано чисто диалектическим путем — от расчетливой хозяйственности примерной же-

ны до нарастания еще не вполне революционных, но уже явно оппозиционных настроений. Любовная драма Ли, не находящей удовлетворения в своем браке, имеет определенное и немалое значение в развитии социальной тематики романа и вместе с тем характеризует Ли как сложную человеческую личность. Мы должны однако протестовать против лишь одного эпизода, имеющего чисто «пильняковский» оттенок, эпизода, в котором Ли случайно отдается... своему сыну. Этот момент неоправдан и в сюжетном отношении, так как право Ли на аборт и без того представляется ясным, а гибель сына (самоубийство) могла бы быть мотивирована иначе.

Это единственное, хотя и крупное возражение, которое мы должны сделать автору. Роман написан настолько свежо и интересно, фигуры его героев настолько реальны и колоритны (Гинриксен, Иоганнес, Бопман и др.), что дорога этой книги к нашему читателю обеспечена. Роман несомненно заслуживает подробного анализа, которого мы не можем дать в рамках этой заметки. Отметим лишь наш основной вывод. Мы полагаем, что Альберту Готоппу удалось разрешить сложную методологическую задачу современного пролетарского романа путем соединения социально направленного психологизма с углубленным изображением социальных явлений. Близость Готоппа к методу диалектического материализма несомненна, так же как и основная революционно-классовая установка этой интересной и значительной книги, у которой можно кое-чему поучиться и нашим писателям.

*И. И. Оксенов.*

**Теодор Пливье. — «Кули Кайзера».** Роман из жизни германского военного флота. Перевод с нем. Ир. Байкиной и Е. Черняк. Предисловие Д. Уманского ГИХЛ. М.—Л. 1931. Стр. 327. Ц. 2 руб.

В этом популярном романе, который перекочевал на сцену и должен, кажется, перекочевать на экран, дано добросовестно выполненное изображение жизни немецкого военного флота во время войны. Профессия военно-морских «кули», людей, обреченных на смерть; «кули», гибнущие сотнями («смерть в сожженной башне, без трупов»), голод, бунт, восстание.

Стараясь написать не просто военно-морской роман, но показать развал грозной машины флота, автор внимательно следит за брожением среди матросов. Получается нечто, напоминающее начало восстания на «Потемкине»; дурная пища, «стервятина», голод сыграли и здесь большую роль. Пливье с восхищением и удивлением рассказывает о победе матросов над офицерами. Так прочно сидело на «кули» ярмо германской дисциплины, что они, с первого же дня настроенные против войны, измученные голодным пайком и каторжной жизнью, раздраженные роскошным «отельным» существованием командного состава, все время готовые к бунту, за несколько дней до революции думают не о том, как бы приструнить офицеров, жаждущих «наперекор»

грядущему перемирию повести флот на почетную смерть, а о том, как бы сбежать. И только из борьбы с упорным, надменно кроважным офицерем вырастает восстание, — вместо военных флагов поднимаются швабры и красные флаги.

Роман Пливье интересен не только потому, что он посвящен войне на море, но и потому, что он написан не мелкобуржуазным пацифистом, а рабочим, знающим цену империалистической войне и империалистическому миру.

### 3. Мур.

**Л. Мышковская.** — «Работа Толстого над произведением». Создание «Хаджи-Мурата». Изд. «Федерация». М. 1931. Стр. 164. Ц. 2 р.

Не приходится сомневаться в полезности работы Л. Мышковской, особенно теперь, когда критика и литературоведение упорно избегают работать над фактическим материалом.

Психологизм Толстого, который является и по сию пору для многих некритическим исповеданием веры, в этой добросовестной работе теряет последние лепестки объективности и превращается в ярк выраженный, направленный в обличительную сторону идеологизм очень сложного происхождения. Собственно говоря, автор книги этого вовсе не утверждает и даже сторонится делать какие-либо обобщающие выводы на этот счет, но вся работа Толстого над созданием «Хаджи-Мурата», вскрытая автором, об этом говорит достаточно красноречиво. Не менее наглядно предстают здесь и другие особенности толстовского овладения материалом, как-то: упорный труд, обдуманность, сугубый рационализм и даже своеобразная математичность в комбинировании художественных слагаемых. По этому поводу можно, не преувеличивая, сказать, что «вол» поэзии был у Толстого в почете.

Л. Мышковская, не чуждаясь способов исследования, известных под именем «творческих историй» отдельных произведений, высказала обстоятельное знакомство с многочисленными рукописными вариантами «Хаджи-Мурата», впервые восстановила в полном виде так называемый Самардинский список повести, произвела, повторив тут прием Шкловского, сличение источников (мемуаров, этнографических записей) с текстами Толстого и пр. Обнаружились характернейшие совпадения многих мест повести с источниками. На долю «вымысла» осталось сравнительно немного текста.

Но в чем же «тайна» превращения материала, «сырья» в изобразительную ткань, великие образцы которого имеются в повести Толстого, где начинается знаменитое толстовское «чуть-чуть», когда факт становится образом? В ответе на этот вопрос и должно, собственно, заключаться оправдание исследования, подобных рецензируемому. К сожалению, автору тут нехватило глубокого понимания вопроса. Выписывания примеров детализации, драматизации

и пр., к которым прибегает Л. Мышковская, оказалось совершенно недостаточным, чтобы можно было прощупать внутренние и социально обусловленные импульсы художника при выборе им тех или иных деталей того или иного материала. Надо было попытаться классовым чутьем, научным наведением, догадкой, — вовсе не чуждой исследованию, как жанру, — проникнуть в эту лабораторию. Оценочный критицизм (без него автор все равно не обошелся), опирающийся на марксистское мировоззрение, и на богатый вещественный материал книги, мог бы дать очень много. Например вскрылись бы автобиографичность Бутлера и бессилие Толстого окончательно преодолеть дворянскую романтическую традицию изображения туземцев и пр. Значительно лучше справилась Л. Мышковская с анализом идейно-композиционной структуры повести (двухрядное расположение персонажей по классовым признакам, постепенная идеализация «разбойничьих» и предательских черт самого Хаджи-Мурата, сугубое подчеркивание отрицательных качеств на другом классовом полюсе и т. д.). Здесь много социологически интересного и убеждающего. Но некоторая оторванность анализа повести от других произведений того же периода написания («Воскресение», «Божеское и человеческое») обескровливает убедительность именно такого, а не иного создания произведения.

«Хаджи-Мурат» писался, надо полагать, с разбегом на большой роман. Об этом говорят как разбросанная, типично толстовская множественная композиция повести, так и большое количество эпизодов, глав и действующих лиц (среди них есть два намеченные и просто упомянутые). Глава восьмая — на родине солдата Авдеева — например совершенно выпадает даже из общей композиции повести. Автор книги однако совсем не уделяет этим архитектурным несовершенствам никакого внимания. Наоборот, он полон безоговорочного пиетета перед любой строкой Толстого. Для него каждый позднейший вариант безусловно выше всех предыдущих, хотя это не всегда так. Он не замечает, что нарастание обличительных темпов в повести далеко не всегда способствует художественной правде. Пристрастие Л. Мышковской очень сказывается и в предпочтении любого текста Толстого любому тексту источников, «сырья», между тем некоторые места мемуаров Полторацкого никак нельзя назвать сырьем, да и к тому же Толстой черпал из них полной пригоршней. Тезису книги об одушевлении Толстым документального языка едва ли может соответствовать допущенный великим писателем (и замеченный автором) прием снижения поэтического языка горцев или факт пересказа (Лорис-Меликов). Во всяком случае невыпуск Толстым повести при жизни объясняется и ее художественной незавершенностью. Апелляция к авторской осторожности помогла бы несомненно Мышковской несколько снизить свою восторженность. Научное исследование в восторгах

не нуждается. Ради «беспристрастия» не лишне было бы остановиться хотя бы вскользь и на погрешностях текста повести: «Это был тот самый лес, в котором ждились его его мюриды»; при разговоре Лорис-Меликова с мюридами Толстой вдруг забыл, что Гамзало «вышел из комнаты» и не мог поэтому продолжать в комнате беседу; перед самым бегством вдруг возникает пятый мюрид Курбан, тогда как их все время было четыре.

Справедливость обязывает отметить, что Л. Мышковской в главе о социальной функции языка внесен ряд ценных дополнений в проблему о единстве философии и искусства Толстого. При всех недостатках труд Мышковской надо признать положительным явлением в современном литературоведении. Автору впредь только следует не бояться производить выводы и быть более самостоятельной в оценке разных художественных частей произведения.

*Н. Моисеев.*

**«Поп и мужики». Русские народные сказки.** Под редакцией и с предисловием Ю. М. Соколова. Изд. Academia. М.—Л. 1931 г. Стр. 212. Ц. 1 р. 50 к., перепл. 80 к.

В знаменитом письме Белинского к Гоголю по поводу книги последнего «Выбранные места из переписки с друзьями» есть между прочим такие строки: «Неужели бы искренно от души пропели гимн гнусному русскому духовенству?... неужели вы в самом деле не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? — Про попа, попадью, попову дбчу и работника. Не есть ли поп на Руси для всех русских представитель обжорства, скупости, низкопоклонства, бесстыдства?»

Рецензируемый сборник — великолепная иллюстрация к этому месту знаменитого письма. Если оно могло «проскочить» в печать еще в 1905 г. (изд. «Светоч»), то сборник антипоповских сказок мог появиться в свет только теперь, после Октябрьской революции; прежде же публикация подобных сказок проходила с большими трениями даже в чисто научных изданиях. Любопытно, что при этом приходилось преодолевать сопротивление не только административно-полицейской, но и академической среды, т. е. той среды, в интересах которой в первую очередь и производились подобного рода публикации. Редактор сборника рассказывает в предисловии, как в 1915 г. ему с братом (недавно умершим фольклористом Б. М. Соколовым) пришлось при издании «Сказок и песен Белозерского края» «пережить немало неприятностей из-за резких нападок со стороны охранительно настроенной части академической среды. Дело дошло до того, что хотя сборник... был издан Академией наук, пришлось изъять его из продажи. Академия была принуждена ограничиться только рассылкой ученым лицам и

учреждениям... Сборник был пущен опять в продажу только после революции». Свежо предание, а верится с трудом: в начале XX в. ученое издание, заглававшее в себе элементы антипоповского фольклора, сразу же попадало в число «отреченных» книг, и если такова была судьба ученого фолианта, достаточно забронированного от большой публики уже своей академической тяжеловесностью, то нечего было и думать об издании специально подобранного антипоповского сборника-хрестоматии, предназначенного для широкого читателя. Будучи напечатан до революции, этот сборник уже тогда блестяще подтвердил бы всю правоту гневной тирады неистового Виссариона и послужил бы убийственным ударом для многих славянофильствующих и богоискательствующих интеллигентов, в ком был силен предрассудок о так называемой «святой Руси».

Отдельные представители этого вымирающего типа, если только таковые сохранились (скорее всего — в эмиграции), могли бы, пожалуй, для дискредитации сборника указать на его тенденциозную односторонность, на нарочитость подбора, но решительный и беспощадный отвод подобным подозрениям делает сам редактор сборника — видный знаток сказочного репертуара: «Любопытно, — пишет он в предисловии, — что крестьянских сказок и пословиц, сочувственно обрисовывающих попа, совершенно нет, и это, несмотря на чрезвычайную благоприятные в свое время условия для собирания и опубликования таких рассказов, если бы они в действительности существовали».

Кстати о пословицах. Естественно, что и сказки, и пословицы — оба эти жанра, порожденные одной и той же социальной средой, трактуют попа одинаково. Совпадение настолько близко и точно, что напр. сказки из раздела «Жадный поп» кажутся как бы нарочито составленным беллетристическим комментарием к общеизвестным пословичным тезисам («У попа глаза завидующие, руки заgreбушие» и пр.). Это единство в показаниях различных фольклорных жанров сугубо свидетельствует о том, что духовное сословие было скомпрометировано в сознании народных масс задолго до революции, которой оставалось в этом отношении лишь ставить точки над «и» и делать соответствующие «оргвыводы». Рубрика «Глупый поп» показывает, что культурное убожество, интеллектуальная нищета русского духовенства чувствовались даже в народных низах. Рубрика «Поп на службе» обнаруживает, что для этих низов не составлял секрета и религиозный индифферентизм поповской массы, нередко переходивший в прямую издевку над обрядами и предметами культа.

Собственно «похабные» сказки собраны в рубрике «Поп-любовник», но любителей пикантного чтения нужно сразу же разочаровать: они не найдут здесь особенно большой наживы. В полном соответствии с физиологическим здоровьем создавшей его

крестьянской среды этот «мужичкий декамерон» при всей его грубоватости довольно скуп на эротические подробности. Сказки этого рода отнюдь не задерживаются на чисто сексуальных моментах, обычно ограничиваясь лаконическим констатированием самого факта прелюбодеяния (напр. «жили муж с женою, а к жене ходил поп» — и все!) и беря этот факт исходным пунктом для построения более или менее забавной ситуации, в которой поп или иной клирик (от пономаря до архиерея включительно) оказывается неизменно одураченным.

Вообще нужно сказать, что сборник в целом носит гротескно-комедийный характер, и почти в каждой сказке поп фигурирует в роли комического неудачника. В этом отношении особенно показателен раздел «Поп и работник»: вопреки реальному соотношению ролей работник в этих сказках берет неизменный реванш над своим долговоловым хозяином. Здесь мы подходим к резко обнаженной классовой природе сборника, представляющего с этой стороны чрезвычайно интересный для современного литературоведения с его проблемами классового генезиса и классовой целеустремленности. Мужик мужику рознь, и с точки зрения генезиса сказки сборник отнюдь не кулацкий эпос, поскольку кулак был и есть союзник попа, а несомненно эпос бедняцко-батрацкий. Что же касается функции, то она была не только развлекательной, но и классово-боевой, направленной своим острием против эксплуататора в рясе.

Для литературоведа сборник интересен еще и тем, что помогает вскрыть фольклорные истоки соответствующей струи в творчестве Пушкина (сказка «О попе и работнике его Балде»), отчасти Некрасова и особенно Д. Бедного.

Немаловажную цену имеет сборник и для дела антирелигиозной пропаганды. Тут впрочем нужна оговорка: антипоповское еще не есть антирелигиозное.

В недавно вышедших интересных воспоминаниях «Из истории моего бытия» автор их, С. Канатчиков, вспоминая о своем отце-крестьянине, сообщает: «Он был человеком верующим, но не суеверным — не верил ни в чертей, ни в домовых, ни в заговоры, смеялся над деревенскими бабками и знахарями и не любил попов».

А на заводе «Густав Лист», где когда-то работал мемуарист и где один модельщик вел среди рабочих революционную и антирелигиозную пропаганду, «нередко завязывались жаркие ожесточенные политические или богословские споры... Первое место в рассказах и анекдотах всегда занимали попы. К рассказам о похождениях попов даже старики отнеслись снисходительно. Но дело принимало совсем другой оборот, когда речь заходила о святых или о боге: тут шуму, крику, взаимным оскорблениям не было конца». Отрицание попа таким образом еще не влечет за собой непременно отрицания бога, и это наблюдается как в народных низах, так и в интеллигентных верхах. Мы знаем, что величайший антиклерикал Вольтер был все же деистом, а Лютер, начавший со страстных обличений римской курии, кончил созданием новой веры. С другой стороны, русское и украинское сектанство питается в значительной мере неприятием православного духовенства, да и в наших сказках на ряду с уничтожающей сатирой на земную иерархию отношение к иерархии небесной — самое лояльное. Но если таким образом между антипоповством и антирелигиозностью нет очевидной логической связи, зато есть связь психологически-генетическая, нужно только уметь ею пользоваться. И как для автора вышецитированных мемуаров антипоповские разговоры в модельной мастерской послужили в конце концов началом его «богоотступничества», так в опытных руках антирелигиозника наших дней рецензируемый сборник может послужить эффективным и эффективным средством антирелигиозной пропаганды среди остатков верующих.

Для широкого же читателя, уже освободившегося от религиозных предрассудков, книга может быть очень хорошим закрепляющим чтением. Жаль только, что цена книги очень высока, а приложенный к ней «Словарь местных и технических слов» очень мал для не-специалиста. (Не вошли также диалектизмы, как «отрепчи» (87), «пеленюшка» (41), «обраться» (63) и др.).

Зато в предисловии дан исчерпывающий анализ сказок со стороны содержания и формы.

*Н. Прюшников.*

## Книги, поступившие на отзыв

### ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗД-ВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Бехер, Иоганнес. Р.** Пою пятилетку. Поэма. Предисл. Л. Авербаха. Перев. с немецкой рукописи А. Ромм. Стр. 14. Ц. 10 коп.
- Безыменский, А.** Трагедийная ночь. Поэма. Стр. 63. Ц. 60 коп.
- Безыменский, А.** Стихи делают сталь. Стр. 91. Ц. 80 к.
- Бедный, Демьян.** Шайтан — арба. Ред. и примеч. А. Ефремина. Стр. 47. Ц. 30 к.
- Бедный, Демьян.** Темпы. Ред. и примеч. А. Ефремина. Изд. 2-е. Стр. 71. Ц. 60 коп.
- Арагон Луи.** Красный фронт. Поэма. Перевод с франц. С. Кирсанова. Стр. 16. Ц. 15 к.
- Вылегжанин, П.** Гуды заводские. Стихи. С предисл. и под ред. А. Жарова. Стр. 28. Ц. 30 коп.
- Кудрейко, Анатолий.** Сердце мира (Стихи). Стр. 61. Ц. 90 коп., пер. 25 коп.
- Острогорский, Н.** Выдвиженцы. Рассказы. Стр. 62. Ц. 15 коп.
- Ильенков, В.** Сноха. Рассказы. Стр. 147. Ц. 85 коп.
- Кочин, Н.** Записки селькора. Стр. 126. Ц. 80 коп.
- Абчук, А.** Герпш Шамай. Пер. с еврейского Митхо Брук. Стр. 197. Ц. 80 коп.
- Экслер, И.** Гренландские гости. Стр. 120. Ц. 95 коп.
- Киш, Э. Э.** Эгон Эрвин Киш имеет честь представить вам американский рай. Авториз. перевод с немецкого А. Ариан. Стр. 400. Ц. 2 р. 80 коп., пер. 25 коп.
- Полонский, Вяч.** О Маяковском. Стр. 68. Ц. 70 коп.
- Горький, Максим.** Роллан, Ромэн. О цинизме. Ответ корреспонденту.—С кем же вы? Ответ на статью Г. Рид. Стр. 32. Ц. 12 к.
- Иванов, Всеволод.** Путешествие в страну, который еще нет. Роман. Собр. соч., том седьмой. Стр. 330. Ц. 2 р. 60 к.
- Москвин, Николай.** Гибель реального. Роман - хроника. 1912 — 1919 гг. Стр. 304. Ц. 2 р. 40 к.
- Евдокимов, Иван.** Победа. Роман (Собр. соч., том IV). Заозерье (книга третья и последняя). Стр. 301. Ц. 2 р. 40 к., пер. 40 к.
- Гурштейн, А.** Вопросы марксистского литературоведения. Популярный очерк. Стр. 95. Ц. 50 к.
- Малахов, С.** Переверзевщина на практике. Критика теории и практики. Стр. 85 к. Ц. 70 коп.
- Сборник татарской литературы.** (Дореволюционный). Под ред. П. Радимова, с предисл. П. Когана. Стр. 157. Ц. 1 р. 25 к.
- Современная армянская поэзия.** Вступит. статья И. Кузикьяна. Стр. 108. Ц. 2 р. 20 к.
- Травен.** Сборники хлопка. Пер. с нем. Э. Грейнер-Гекк. Стр. 190. Ц. 1 р. 40 к.
- Февральский, А.** Десять лет театра Мейерхольда. Стр. 99. Ц. 1 р.
- Ширяев, Петр.** Четверг Натальной жизни. Избранные рассказы. Стр. 207. Ц. 1 р. 30 коп.
- Кольцов, М.** Гений, но кустарь. С рис. В. Козьминского. Стр. 71. Ц. 50 коп.
- Папченко, П. и Шпирт, А.** Мобилизованные строки. Рис. С. Рябикова. Стр. 102. Ц. 85 коп.
- Олеша, Ю.** Вишневая косточка. Стр. 96. Ц. 1 р.
- Жабров, Алексей.** В облаках. Рассказы. Стр. 128. Ц. 1 р.
- Кобец, Т.** Гута. (Завод). Пьеса в 3-х действиях. Авториз. перевод И. Пикулева. Стр. 116. Ц. 1 р.
- Третьяков, С.** Месяц в деревне. Оперативные очерки. Стр. 255. Ц. 1 р. 50 к., пер. 20 к.
- Чернявский Евг.** Кампания. С рис. автора. Стр. 158. Ц. 90 к.
- Ассанов, Н.** День начинается в семь утра. Стр. 170. Ц. 1 р. 20 к.
- Рудин, Илья.** Дикие. Стр. 263. Ц. 1 р. 80 к., пер. 20 к.
- Серафимович, А.** Железный поток. Ред. и предисл. Г. Нерадова. (Полное собрание сочин. Том X). Стр. 281. Ц. 1 р. 80 к., пер. 30 к.
- Шухов, И.** Горькая линия. Роман. Книга 1-я. Стр. 268. Ц. 1 р. 85 к., пер. 25 к.

### ИЗД-ВО «ФЕДЕРАЦИЯ»

- Освобожденный труд.** Литературно - художественный сборник. Стр. 204. Ц. 2 руб.
- Никитин, Н.** Линия огня. Пьеса в 4-х действиях и 8 картинах. Стр. 101. Ц. 1 руб.
- Моренко, А.** Слово лейтенанта Пино. Драмат. этюд. в одном действии. Стр. 16. Ц. 10 коп.
- Езерский, Милий.** Золотая баба. Стр. 323. Ц. 2 р., пер. 25 коп.
- Бабушкин, Виктор.** С ружьем по лесам и болотам. Рассказы. Стр. 267. Ц. 1 р. 50 коп., пер. 20 к.
- Жид, Андре.** Путешествие по Конго. Пер. с франц. Стр. 347. Ц. 1 р. 80 коп., пер. 20 коп.
- Игин, Вивиан.** Выход к морю. Очерки. Стр. 224. Ц. 1 р. 20 коп., пер. 20 коп.
- Каменский, В.** Путь энтузиаста. Стр. 269. Ц. 1 р. 60 коп., пер. 30 коп.

### ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОММУНА ПИСАТЕЛЕЙ»

- Мэни, Жюль.** Сокровища града Китежа. Невероятное, но правдивое происшествие, с предисл. изд-ва, примечаниями переводчицы и послесловием редакции. Стр. 221. Ц. 75 коп.

### ИЗДАНИЕ МАРИИ БУРЛОК

- Поступальский Игорь.** Литературный труд Давида, Д. Бурлока. Стр. 16.

Издатель «Известия ЦИК СССР  
и ВЦИК».

Редакционная  
коллегия:

И. М. Гронский.  
А. Г. Малышкин.  
В. П. Полонский.  
В. И. Соловьев.

Отв. редактор

В. П. Полонский.